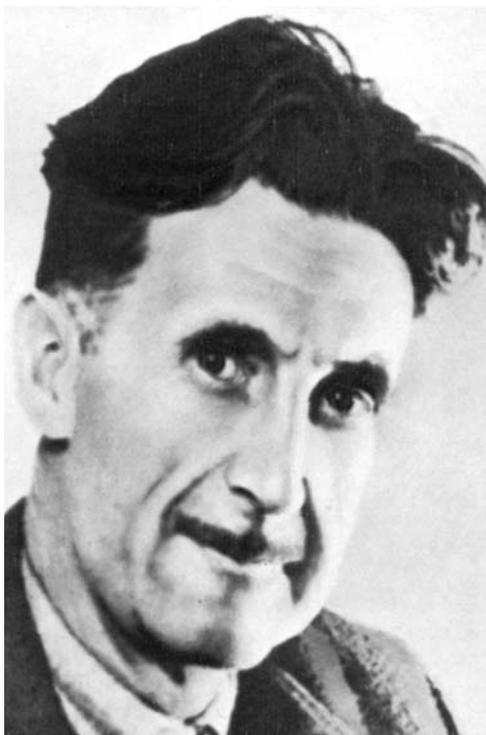


КУЛЬТУРА ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИЯ



Московская школа  
политических  
исследований



*Джордж Оруэлл*

Джордж Оруэлл

# Лев и Единорог

Эссе, статьи, рецензии

Составление В. Голышева



Московская школа  
политических исследований

Москва 2003

*Культура политика философия*

Серия основана в 2000 году Московской школой  
политических исследований и издается под общей редакцией  
Ю.П. Сенокосова

*Издание осуществляется при поддержке  
Совместной программы Европейской Комиссии и Совета Европы*

**Оруэлл Дж.**

О 704 Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии. (Перевод осуществлен по изданию: *George Orwell. The Collected Essays, Journalism and Letters. Vol. 1–4.* — London: Penguin Books in association with Martin Secker & Warburg.) — М.: Московская школа политических исследований, 2003. — 480 с.

ISBN 5-93895-045-7

В 2003 году мировая общественность отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося английского писателя и публициста Джорджа Оруэлла.

За свою короткую жизнь (1903–1950) Джордж Оруэлл успел написать несколько романов, сотни публицистических статей, литературных исследований, эссе.

Предлагаемая читателю книга, большинство статей в которой на русском языке публикуется впервые, — это своего рода сжатый курс лекций о человеческом достоинстве, чувстве долга и главное — независимости и свободе.

**ББК 84(4) Великобритания**

© Penguin Books, 1970  
© В. Голышев, составление, 2003  
© Московская школа  
политических исследований, 2003

ISBN 5-93895-045-7

---

**От редакции**

Путь художника всегда сопряжен с испытаниями для его личности. Мужество иметь не только нравственную позицию, но и отстаивать ее, аргументированно и достойно — поистине высокий дар.

В 2003 году мировая общественность отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося английского писателя и публициста Джорджа Оруэлла.

Широкому кругу читателей Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр) знаком по знаменитой антиутопии «1984», переведенной на 200 языков. Задержанная на десятилетия стараниями наших «старших братьев» и «министерств правды» из-за пророчеств, которые сбываются до сих пор, книга эта пришла в Россию, тем не менее, вовремя.

За свою короткую жизнь (1903–1950) Джордж Оруэлл успел написать несколько романов, сотни публицистических статей, литературных исследований, эссе. Этот англичанин, обладавший блестящим литературным дарованием и несгибаемой силой духа, по праву входит в число людей, без которых немислима человеческая цивилизация.

Тридцатые годы прошлого столетия, когда Оруэлл сформировался как личность и как художник, были трагическим перекрестком истории для многих наций.

Разочаровавшийся в дискредитированных «левыми» идеалах, он оставался, тем не менее, социалистом, но не наивного толка, а понимая под социализмом некую сумму здравых мировоззренческих принципов, которую нация должна проработать в себе, как зерна будущего нормального, а не патологического раз-

---

вития общества. Когда читаешь его статьи, сомнений в его объективности не остается. Он как бы поднимался над событиями, не будучи, подобно многим его современникам, загнипнотизированным собственным рецептом спасения человечества.

О чем бы ни писал этот замечательный человек: о национализме или «зашоренности» литературного языка, «новоязе», псевдоискусстве или Гражданской войне в Испании — все это звучит вне времени, ибо проблемы, как и темы, выстраданные писателем, не имеют границ и национальной принадлежности.

Настоящий художник всегда одинок. Но одиночество это — не болезнь и не трагедия. Это мир с самим собой и сознание своего призвания. Это и есть позиция европейца, дух европеизма, характеризующий, в том числе, и творчество Оруэлла.

Предлагаемая читателю книга, большинство статей в которой на русском языке публикуется впервые, — это своего рода сжатый курс лекций о человеческом достоинстве, чувстве долга и, главное, — независимости и свободе.

«Нельзя постичь мотивов писателя, — утверждал Оруэлл в статье «Почему я пишу», — не зная ничего о том, с чего начиналось его становление... <Мои> мотивы таковы:

1. *Чистый эгоизм.* Жажда выглядеть умнее, желание, чтобы о тебе говорили, помнили после смерти... Лицемерием было бы не считать это мотивом...

2. *Эстетический экстаз.* Восприятие красоты мира или, с другой стороны, красоты слов, их точной организации. Способность получить удовольствие от воздействия одного звука на другой, радость от крепости хорошей прозы, от ритма великолепного рассказа. Желание, наконец, разделить опыт человечества, который считаешь ценным и который, с твоей точки зрения, не должен пропасть...

3. *Исторический импульс.* Желание видеть вещи и события такими, каковы они есть, искать правдивые факты и сохранять их для потомства.

4. *Политическая цель.* Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить мысли людей относительно того общества, к какому они должны стремиться.

...Хорошая проза подобна оконному стеклу. Я не могу сказать с уверенностью, какой из моих мотивов к творчеству является самым сильным, но я знаю, какому из них мне надо следовать».

---

## Рецензия на книгу «Герман Мелвилл» Льюиса Мамфорда

Эта превосходная книга справедливо именуется биографией, но главная ее тема — анализ мелвилловского интеллекта или, по словам самого Мамфорда, «его идей, его чувств, побуждений и его видения жизни». Здесь достаточно деталей, чтобы дать представление о гнетущих буднях, поработивших Мелвилла после того, как закончились его плавания. Мы видим гениального человека, утомленного непосильной работой, живущего среди людей, которым он представляется скучным, непонятым неудачником. Нам показывают, как нищета, угрожавшая ему даже тогда, когда он писал «Моби Дика», поселила в нем такое одиночество и горечь, что почти совсем разрушила его талант. Мамфорд не позволяет нам забыть об этих тягостных обстоятельствах, но цель его — критика, разъяснение и — неприятное, но неизбежное слово — интерпретация.

Этой целью и обусловлен единственный серьезный изъян книги. Критика, нацеленная на истолкование — вскрытие глубинного смысла и причины каждого действия — вполне приемлема, когда относится к человеку, но когда речь идет о произведении искусства, это — опасный метод. Если такой критик до конца последователен, искусство исчезает. Поэтому, когда Мамфорд растолковывает самого Мелвилла, анализируя его философию и психологию, его религию и сексуальную жизнь, он великоле-

---

пен, но затем он начинает толковать поэзию Мелвилла — и здесь он не так удачлив. «Истолковать» стихотворение можно лишь, сведя его к аллегории — это все равно, что съесть яблоко ради семечек. Как в старой легенде о Купидоне и Психее иногда разумнее всего принять вещи как есть, не посягая на знание.

В результате Мамфорду меньше всего удается разбор «Моби Дика». С энтузиазмом отдавая должное достоинствам книги, он вместе с тем слишком пытливо доискивается ее глубинного смысла. Фактически, он предлагает нам видеть в ней, прежде всего, аллереорию и только потом поэму:

«“Моби Дик”... в основе своей — парабола о загадке зла и злобном произволе вселенной. Белый кит символизирует жестокую энергию существования... Ахав — дух человека, маленького и слабого, но целеустремленного, противопоставившего свою крохотность этому исполину и свою цель — пустой и бессмысленной мощи...»

Этого никто не станет отрицать, жаль только, что Мамфорд доводит аллереорию до крайней точки. Китобойный промысел, продолжает он, это символ трудового существования, обыкновенные киты (в отличие от Моби Дика) — послушная природа, команда «Пекода» — человеческие расы, и так далее... Старая ошибка — желание слишком много прочесть между строк. Вот пример интерпретации совсем уже глубокомысленной:

«В... Гамлете бессознательное желание инцеста лишает героя способности жениться на той, чьей руки он искал...»

Очень тонко — но насколько лучше было бы этого не говорить! Вспоминаются духи из филдингова загробного мира, допытывавшиеся у Шекспира, что значит его строка: «Задую свет, потом задую свет»<sup>1</sup>. Шекспир сам забл — да и не все ли равно, что это значит? Это чудесный

---

<sup>1</sup> «Отелло». Здесь и далее — примечания переводчика. Примечания, обозначенные звездочкой, принадлежат автору.

---

стих, и довольно. То же — «Моби Дик». Лучше было бы просто порассуждать о его форме, которая есть материя поэзии, а «значение» оставить в покое.

На этом изъяне пришлось несколько задержаться, но книгу он серьезно не портит, поскольку Мамфорд исследует сознание Мелвилла в целом, а не только его художественное мастерство. И для этой цели аналитический метод, интерпретация подходят как нельзя лучше. Первые распутаны странные противоречия в характере Мелвилла. Ясно, что был он человеком гордым, как Люцифер, восстававшим против богов подобно его Ахаву, и, вместе с тем, по природе радостным, органически радовавшимся жизни, хотя и видевшим ее жестокости. Он был аскетом и сластолюбцем, дисциплинированным и нечеловечески целомудренным и при этом падким до всякой прелести, встречавшейся на его пути. Он обладал не просто силой, а тем, что составляет подлинную силу — страстной чувствительностью: море для него было глубже, а небеса просторнее, чем для других людей, и так же — реальнее красота и мучительнее боль и унижения. Кто, кроме Мелвилла, увидел бы красоту и ужас в таком нелепом животном, как кит? И кто еще мог бы изобразить такие сцены, как сцена притеснения Гарри в «Редберне» или комической и жуткой ампутации в «Белом Бушлате»? Так писать может только человек, чувствующий острее, чем обыкновенные люди — настолько же, насколько коршун видит лучше крота.

Лучшие главы книги Мамфорда — те, где он соотносит Мелвилла с его временем и показывает, как формировал и калечил его меняющийся дух века. Очевидно, что Мелвилл многим обязан американской свободе или, возможно, традиции свободы, американскому буйному духу, выразившемуся, хотя и по-разному, в «Жизни на Миссисипи» и в «Листьях травы». Мелвилл прожил тяжелую жизнь, большей частью в бедности и тревоге, но, по крайней мере, за плечами у него была расточительная юность. Он не воспитывался, как многие европейцы, в респекта-

---

бельности и отчаянии. Америка до гражданской войны была, наверное, неудобным местом для культурного человека, но едва ли таким, где приходится голодать. Молодым людям не обязательно было приковывать себя к надежной работе, они могли бродяжничать — и молодость у многих американских художников XIX века выдалась такой же шершавой, безответственной и полной приключений, как у Мелвилла. Позже, когда хватка индустриализма стала чувствоваться все сильнее, вместе со временем увяло что-то и в духе Мелвилла. Страну развращал «прогресс», негодяи процветали, созерцательность и вольная мысль сдавали позиции — и, неизбежно, чахла в нем в эти годы радость и убывала творческая сила. Но прежняя, более вольная Америка, сказала в «Моби Дике» и еще больше, с неповторимой свежестью, в «Тайпи» и «Редберне».

Книга Мамфорда должна поспособствовать репутации Мелвилла настолько, насколько это в возможностях критики. Тот, кого не мутит от страха в присутствии силы, всегда будет любить Мелвилла, и такой читатель отдаст должное энтузиазму Мамфорда и его пронизательности. Сомневающегося его книга не обратит в новую веру (да и какая книга на это способна?), но поклонникам Мелвилла она откроет многое и, несомненно, убедит их продолжить знакомство с его сочинениями, кроме тех двух или трех, которыми он больше всего известен.

*март-май 1930 г.*

---

## Кое-что из испанских секретов

Испанская война, вероятно, породила больше лжи, чем любое другое событие со времен мировой войны 1914–1918 годов, но я сомневаюсь, что при всех этих истреблениях монахинь, насилюемых или распинаемых на глазах у репортеров «Дейли мейл», наибольший вред принесли фашистские газеты. Понять истинный характер борьбы помешали британской публике, прежде всего, левые газеты, «Ньюс кроникл» и «Дейли уоркер», прибегавшие к более тонким методам искажения.

Они старательно затемняли тот факт, что испанское правительство (включая полуавтономное каталонское) гораздо больше боится революции, чем фашистов. Теперь почти ясно, что война закончится каким-то компромиссом, и есть основания сомневаться в том, что правительство, сдавшее Бильбао, не шевельнув пальцем, хочет одержать победу, — и уж совсем нет никаких сомнений в усердии, с каким оно громит своих революционеров. Режим террора — подавление политических партий, удушающая цензура прессы, беспрестанное шпионство и массовые аресты без суда — набирает силу. В июне, когда я покинул Барселону, тюрьмы были переполнены — обычные тюрьмы давно уже переполнились, и заключенных рассовывали по пустым магазинам и любым помещениям, которые можно было превратить во временную тюрьму. Важно от-

---

метить, что заключенные — не фашисты, они там не потому, что держатся слишком правых взглядов, а наоборот — слишком левых. И сажают их те самые страшные революционеры, при имени которых Гарвин<sup>1</sup> дрожит мелкой дрожью, — коммунисты.

Между тем, война с Франко продолжается, но кроме бедняг в окопах никто в официальной Испании не считает ее настоящей войной. Настоящая борьба идет между революцией и контрреволюцией, между рабочими, тщетно пытающимися удержать то немного, чего они добились в 1936 году, и блоком либералов и коммунистов, успешно у них это отбирающим. К сожалению, очень немногие в Англии поняли, что коммунизм теперь — контрреволюционная сила, что коммунисты повсюду вступили в союз с буржуазными реформаторами и используют всю свою мощную машинерию, чтобы раздавить или дискредитировать всякую партию, настроенную сколько-нибудь революционно. Отсюда нелепый спектакль: коммунистов поносят как злобных «красных» те самые интеллектуалы, которые по существу с ними согласны. Уиндем Льюис<sup>2</sup>, например, должен был бы любить коммунистов — пока что. В Испании коммунистически-либеральный альянс одержал почти полную победу. От того, чего добились для себя в 1936 году рабочие люди, почти ничего не осталось: несколько коллективных аграрных хозяйств и какое-то количество земель, захваченных в прошлом году крестьянами. Вероятно, пожертвуют и крестьянами, чуть погодя, когда не будет нужды их умасливать. Чтобы понять, как возникла нынешняя ситуация, надо вспомнить начало войны.

Франко попытался взять власть, не так, как Гитлер и Муссолини, — был военный мятеж, сравнимый с иностранным вторжением, а потому не имевший массовой поддержки, хотя с тех пор Франко пытается ее получить.

---

<sup>1</sup> Дж. Л. Гарвин — редактор газеты «Обсервер» с 1908 по 1942 г.

<sup>2</sup> Уиндем Льюис (1884–1957) — английский художник и писатель. Основатель вортицизма.

---

Главными его сторонниками, кроме некоторых представителей крупного капитала, были земельная аристократия и громадная паразитическая церковь. Очевидно, что такой мятеж должен восстановить против себя разнообразные силы, во всем остальном между собой не согласные. Крестьянин и рабочий ненавидят феодалов и клерикалов — так же и «либеральный» буржуа, который несколько не возражал бы против более современной формы фашизма, по крайней мере, пока он не называется фашизмом. «Либеральный» буржуа действительно либерален — до тех пор, пока не затронуты его личные интересы. Он за прогресс, заключенный во фразе «la carrière ouverte aux talents»<sup>3</sup>. Ибо у него явно нет шансов развить свое дело в феодальном обществе, где рабочие и крестьяне слишком бедны, чтобы покупать товары, где промышленность задавлена громадными налогами, которые идут на наряды епископов, и где всякое доходное место автоматически достается другу любовника внебрачного герцогского сына. Поэтому перед угрозой такого отъявленного реакционера, как Франко, рабочий и буржуа, по природе смертельные враги, какое-то время сражаются бок о бок. Этот неустойчивый союз известен под именем «Народного фронта». Жизнеспособности у него и права на существование не больше, чем у двухголовой свиньи или еще какого-нибудь монстра из коллекции Барнума и Бейли.

В критический момент противоречия внутри «Народного фронта» неизбежно дадут себя знать. Хотя рабочий и буржуа вместе воюют против Франко, воюют они не за одно и то же: буржуа воюет за буржуазную демократию, то есть за капитализм, рабочий же, насколько он понимает суть дела, — за социализм. И в начале революции испанские рабочие отлично понимали эту суть. В областях, где фашисты потерпели поражение, рабочие не довольствовались изгнанием мятежных войск: они захватывали землю и фабрики, устанавливали подобие рабочей

---

<sup>3</sup> Карьера открыта талантам (*франц.*).

---

власти — в виде местных комитетов, рабочих добровольческих отрядов, полицейских сил и т. д. Однако они допустили ошибку (может быть, потому, что большинство активных революционеров составляли анархисты, не доверявшие никаким парламентам), оставив номинальную власть республиканскому правительству. Несмотря на разнообразные перемены в составе, все сменявшие друг друга правительства, в общем, сохраняли буржуазно-реформистский характер. Вначале это казалось неважным, потому что правительство, особенно в Каталонии, было почти бессильно, и буржуазии пришлось затаиться или даже (это происходило еще и в декабре, когда я прибыл в Испанию) прикидываться рабочими. Позже, когда власть выскользнула из рук анархистов и перешла к коммунистам и правым социалистам, правительство воспряло, буржуазия перестала скрываться, и восстановилось деление общества на богатых и бедных, почти в прежнем виде. С этих пор все шаги, за исключением тех немногих, которые диктовала военная необходимость, направлены были к уничтожению всего, завоеванного в первые месяцы революции. Приведу лишь один из многих примеров: роспуск рабочих ополчений, которые были организованы на подлинно демократических принципах — офицеры и рядовые получали одинаковое жалование и общались друг с другом как равные — и замена ополчений «Народной армией», организованной, насколько это было возможно, как обычная буржуазная армия — с привилегированной офицерской кастой, колоссальной разницей в жаловании и т. д., и т. п. Излишне говорить, что выдавалось это за военную необходимость, и боеспособность армии, наверное, увеличилась, по крайней мере, на короткое время. Но подлинной целью реорганизации был удар по эгалитаризму. Подобная политика проводилась во всех областях жизни, и в результате всего через год после начала войны и революции фактически сложилось обычное буржуазное государство, с дополнением в виде террора, призванного сохранить статус-кво.

---

Возможно, этот процесс не зашел бы так далеко, если бы не иностранное вмешательство. Но военная слабость правительства сделала его неизбежным. Столкнувшись с иностранными наемниками Франко, правительство вынуждено было обратиться за помощью к России, и, хотя количество поставленного ею оружия сильно преувеличивалось (за первые три месяца в Испании я увидел всего одно русское изделие — один единственный пулемет), сам факт этих поставок привел к власти коммунистов. Начать с того, что русские самолеты и пушки и высокие боевые качества Интернациональных бригад (не обязательно коммунистических, но контролируемых коммунистами) сильно подняли престиж коммунистов. И, что еще важнее, поскольку Россия и Мексика были единственными странами, открыто поставлявшими оружие, русские смогли не только получать деньги за свое оружие, но и навязывать свои условия. В самом грубом виде условия выглядели так: «Поддавите революцию или больше не получите оружия». Поведение русских принято объяснять тем, что если в действиях России усмотрят подстрекательство к революции, франко-советский пакт (и желанный союз с Великобританией) окажется под угрозой; кроме того, возможно, что зрелище подлинной революции в Испании отозвалось бы нежелательным образом в самой России. Коммунисты, конечно, отрицают, что русское правительство оказывало прямое давление. Но это, даже если оно и так, дела не меняет: коммунистические партии всех стран, можно считать, следуют политике русских, и совершенно очевидно, что испанская коммунистическая партия, совокупно с правыми социалистами, которых она контролирует, и коммунистическая пресса всего мира использовали всё свое громадное и непрерывно возрастающее влияние в интересах контрреволюции.

В первой половине этой статьи я утверждал, что настоящая борьба в республиканской Испании идет между революцией и контрреволюцией; что правительство, хоть

---

и желает избежать поражения в войне с Франко, еще больше озабочено тем, чтобы ликвидировать завоевания революции, сопутствовавшей началу войны.

Всякий коммунист отвергнет это утверждение как ошибку или преднамеренную ложь. Он скажет вам, что разговоры о желании испанского правительства раздавить революцию — нелепость, поскольку никакой революции не было, и что наша задача сегодня — победить фашизм и защитить демократию.

В связи с этим очень важно понять, как именно работает коммунистическая антиреволюционная пропаганда. Ошибочно думать, что это не имеет значения для Англии, где коммунистическая партия мала и сравнительно слаба. Значение этого мы поймем очень быстро, если Англия вступит в союз с СССР, а может быть, и раньше, потому что влияние коммунистической партии будет усиливаться — уже заметно усиливается — по мере того, как всё больше и больше капиталистов станут осознать, что коммунизм наших дней играет им на руку.

Вообще говоря, коммунистическая пропаганда нацелена на то, чтобы запугать людей (вполне реальными) ужасами фашизма. Подразумевается — хотя и не говорится открыто, — что фашизм не имеет ничего общего с капитализмом. Фашизм — просто бессмысленная злоба, помрачение ума, «массовый садизм», как если бы выпустили на волю целую больницу кровожадных маньяков. Изобразите фашизм в таком виде, и вы мобилизуете против него общественное мнение, по крайней мере, на время, не возбудив при этом революционных настроений. Вы противопоставите фашизму «буржуазную демократию», то есть капитализм. Но при этом вам надо избавиться от надоедливой личности, которая твердит, что фашизм и «буржуазная демократия» — два сапога пара. Для начала вы объявляете его пустым фантазером. Вы говорите ему, что он запутывает вопрос, что он вносит раскол в антифашистские силы, что сейчас не время для революционной фразеологии, сейчас мы должны драться с фашизмом, не

---

слишком вникая в то, за что мы деремся. Потом, если он отказывается замолчать, вы меняете тон и объявляете его изменником. Точнее, вы объявляете его троцкистом.

А что такое троцкист? Это страшное слово — сейчас в Испании тебя могут бросить в тюрьму и держать там сколько угодно без суда на основании одного лишь слуха, что ты троцкист — и оно только еще начинает гулять по Англии. Мы его еще слушаемся. Словом, «троцкист» (или «троцко-фашист») обозначают обычно переодетого фашиста, который выдает себя за ультра-революционера, чтобы расколоть левые силы. Особая действенность этого слова объясняется тем, что смысл у него тройкий. Оно может означать того, кто, подобно Троцкому, желает мировой революции; или же члена организации, возглавляемой Троцким (единственное правильное употребление слова); или же вышеупомянутого переодетого фашиста. Эти три значения можно соединять произвольным образом. Первое значение может включать в себя или не включать значение № 2, а значение № 2 почти неизменно несет в себе значение № 3. Таким образом: «Слышали, что Х одобрительно говорил о мировой революции; следовательно, он троцкист; следовательно, он фашист». В Испании, а до некоторой степени, и в Англии, всякий, кто открыто говорит о революционном социализме (который еще несколько лет назад исповедовала коммунистическая партия), подозревается в том, что он троцкист на жаловании у Франко или Гитлера.

Обвинение весьма тонкое, потому что в каждом конкретном случае — если достоверно не известно обратное, — оно может оказаться верным. Фашистский шпион, вероятно, *станет* выдавать себя за революционера. В Испании каждый, чьи убеждения левее коммунистических, рано или поздно разоблачается как троцкист или, по крайней мере, изменник. В начале войны РОУМ<sup>4</sup>, оппозиционная комму-

---

<sup>4</sup> Partido Obrero de Unificacion Marxista (*ucn.*) — Марксистская объединенная рабочая партия.

---

нистическая партия, приблизительно соответствующая английской независимой рабочей партии, была признанной партией и имела своего министра в каталонском правительстве; позже ее вывели из правительства, затем объявили троцкистской; затем запретили, и всех ее членов, до кого могла добраться полиция, бросили в тюрьму.

До последних месяцев говорилось, что анархо-синдикалисты «лояльно работают» вместе с коммунистами. Затем анархо-синдикалистов вытеснили из правительства; затем оказалось, что они не работали лояльно; теперь они превращаются в изменников. Потом придет очередь левого крыла социалистов. Кабальеро, левый социалист и бывший премьер, до мая 1937 года идол коммунистической прессы, пребывает в небытии — троцкист и «враг народа». Так игра и идет. Логический исход ее — режим, при котором все оппозиционные партии и газеты запрещены, и все сколько-нибудь заметные инакомыслящие — в тюрьме. Такой режим, конечно, будет фашистским. Это будет не тот фашизм, какой пришел бы вместе с Франко, он будет лучше франкистского, настолько, что за него стоит сражаться, — но это будет фашизм. Хотя, устроенный коммунистами или либералами, он будет зваться как-то по-другому.

А намерено ли всерьез правительство выиграть войну? Проиграть оно не желает, это точно. С другой стороны, полная победа, с бегством Франко и изгнанием итальянцев и немцев, чревата серьезными проблемами — некоторые из них настолько очевидны, что о них не стоит и говорить. Настоящих доказательств у меня нет, и судить можно только по фактам, но подозреваю, что правительство рассчитывает на компромисс, и в результате его военная ситуация сохранится. Все прорицания ошибочны, ошибочным будет и это, но рискну предположить, что независимо от того, кончится ли война скоро или будет длиться годами, завершится она разделением Испании — либо фактическими границами, либо на экономические зоны. Конечно, объявить такой компромисс своей победой сможет любая из сторон или обе.

---

Всё, что я здесь написал, в Испании самоочевидно, а может быть, и во Франции. В Англии же, несмотря на острый интерес к испанской войне, очень немногие слышали о напряженной борьбе, происходящей на правительственной территории. И это, разумеется, не случайно. Имеет место вполне продуманный заговор (я мог бы привести в подтверждение конкретные примеры) с целью скрыть от публики испанскую ситуацию. Неглупые люди втянулись в кампанию лжи, оправдываясь тем, что, если скажешь об Испании правду, она будет использована фашистской пропагандой.

Легко понять, к чему ведет подобная трусость. Если бы британской публике дали правдивый отчет об испанской войне, она могла бы понять, что представляет собой фашизм, и как с ним можно бороться. Но пока что прочна как никогда версия «Ньюс кроникл»: фашизм как маниакальная жажда убийства, обуревающая тупых вояк, которые жужжат в экономическом вакууме. И мы на шаг ближе к большой войне «против фашизма» (с 1914 года — «против милитаризма»), которая позволит фашизму британской разновидности сесть нам на шею в первую же неделю.

*29 июля и 2 сентября 1937 г.*

---

## Рецензия на книгу Юджина Лайонса «Командировка в утопию»

Чтобы понять всю меру нашей неосведомленности относительно того, что на самом деле происходит в СССР, попробуем перевести на язык английских реалий самое сенсационное российское событие последних двух лет — троцкистские процессы. Введем необходимые поправки, поменяем местами правых и левых и получим примерно следующее.

Мистер Уинстон Черчилль, высланный в Португалию, лелеет планы разрушения Британской империи и установления в Англии коммунистического строя. Пользуясь неограниченной денежной поддержкой русских, он сумел построить разветвленную черчеллистскую организацию, в которую входят члены парламента, директора фабрик, католические епископы и практически вся «Лига подснежника»<sup>1</sup>. Почти ежедневно вскрываются чудовищные акты вредительства — то подготовка к взрыву Палаты лордов, то заражение ящуром королевских конюшен. Восемьдесят процентов стражников Тауэра разоблачены как агенты Коминтерна. Один из руководителей Министерства почт нагло признался в хищении почтовых переводов на сумму в 5 миллионов фунтов, а также в оскорблении Его величества путем подрисовывания на почто-

---

вых марках усов. В ходе семичасового допроса у мистера Нормана Биркетта лорд Наффилд<sup>2</sup> признался, что с 1920 года подстрекает к забастовкам на собственных заводах. Газетная хроника пестрит сообщениями о еще пятидесяти черчеллистах-овцекрадах, застреленных в Вестморленде, о хозяйке деревенской лавки в Котсволлских холмах, сосланной в Австралию за то, что обсасывала леденцы и клала их обратно в баночку. Между тем черчеллисты (или черчеллисты-хармсвортовцы<sup>3</sup>, как их стали именовать после казни лорда Ротермира) продолжают твердить, что именно они являются истинными защитниками капитализма, и что Чемберлен и его банда — не что иное, как переодетые большевики.

Всякий, кто следил за русскими процессами, поймет, что это — едва ли пародия. Возникает вопрос: могло ли произойти что-либо подобное в Англии? Очевидно, не могло. С нашей точки зрения, вся эта история невероятна не только как заговор, но и как оговор. Это просто мрачная тайна, из которой можно извлечь лишь один достоверный факт, тоже вполне зловещий: что здешние коммунисты считают это хорошей рекламой коммунизма.

Между тем, правда о сталинском режиме, если бы мы могли до нее добраться, имеет первостепенное значение. Социализм это или особо отвратительная форма государственного капитализма? Все политические споры, которые последние два года отравляли жизнь, вращаются вокруг этого вопроса, хотя сам он по нескольким причинам редко выносится на передний план. Поехать в Россию трудно, а там провести сколько-нибудь тщательное расследование невозможно, и все свои соображения об этом

---

<sup>2</sup> *Норман Биркетт* — английский юрист, дважды — член парламента от либеральной партии, лорд-судья по апелляциям. Участвовал в составлении приговоров на Нюрнбергском процессе. Виконт *Наффилд* (*Уильям Моррис*) — английский промышленник и филантроп, глава автомобильной компании «Моррис Моторс Лимитед».

<sup>3</sup> *Гарольд Хармсворт*, первый виконт Ротермир, — английский издатель и политик.

---

<sup>1</sup> *Primrose League* — политическая организация консерваторов.

---

предмете ты вынужден строить на книгах, которые либо безоглядно «за», либо столь же яростно «против», так что и от тех, и от других за километр разит предвзятостью. Книга мистера Лайонса — определенно из категории «против», но производит впечатление более достоверной, чем большинство остальных. По манере его письма видно, что он не вульгарный пропагандист, и в качестве корреспондента агентства «Юнайтед пресс» он долго жил в России (1928–1934), будучи послан туда по рекомендации коммунистов. Как многие другие, отправившиеся в Россию с надеждой, он постепенно разочаровался, но в отличие от некоторых решил, в конце концов, рассказать о ней правду. Жаль, что всякую враждебную критику нынешнего русского режима склонны рассматривать как пропаганду *против социализма*; все социалисты это осознают, и это не способствует честной дискуссии.

Годы, проведенные мистером Лайонсом в России, были годами ужасных лишений, апогеем которых стал в 1933 году голод на Украине, где, по некоторым оценкам, от него умерло не менее трех миллионов людей. Теперь, после успешного завершения второй пятилетки, физические условия наверняка улучшились, но нет никаких оснований думать, что сильно изменилась общественная атмосфера. Система, которую описывает мистер Лайонс, судя по всему, мало отличается от фашизма. Вся реальная власть сосредоточена в руках двух или трех миллионов людей, у городского пролетариата — теоретически, наследника революции — отнято даже элементарное право на забастовку; а совсем недавно, с введением паспортной системы, он низведен до статуса почти крепостных. ГПУ повсюду, все живут в постоянном страхе преследования, свобода речи и печати подавлена до такой степени, которую нам трудно вообразить. Террор идет волнами — то «ликвидация» кулаков или нэпманов, то какой-то чудовищный государственный процесс, когда людей, просидевших месяцы или годы в тюрьме, вдруг вытаскивают в суд для невероятных признаний, а их де-

---

ти пишут в газеты: «я отрекаюсь от моего отца, как от троцкистской гадины». Тем временем, невидимого Сталина восхваляют в словах, которые заставили бы покраснеть Нерона. Такую — пространную и полную деталей — картину рисует мистер Лайонс, и я не думаю, что он искажает факты. Заметны, правда, признаки того, что его озлобило пережитое и увиденное, и мне кажется, что он, возможно, преувеличивает размеры недовольства в среде самих русских.

Однажды ему удалось проинтервьюировать Сталина, и тот показался ему человеческим, простым и приятным. Стоит отметить, что то же самое говорил Г. Дж. Уэллс, и в кино, по крайней мере, у Сталина, действительно, приятное лицо. Но разве не известно также, что Аль Капоне был примернейшим мужем и отцом, а Джозефа Смита (топившего в ванне жен после свадьбы) искренне любила первая из семи жен, и он всегда возвращался к ней после очередного убийства?

июнь 1938 г.

---

## Рецензия на книгу Ф. Дж. Шид «Коммунизм и человек»

Эта книга — опровержение марксистского социализма с католических позиций — замечательна своим благожелательным тоном. Она свободна от оскорбительных передержек, ныне обычных во всякой важной дискуссии, и честнее излагает идеологию марксизма и коммунизма, чем большинство марксистов — католическую идеологию. Если она не вполне удалась или, по крайней мере, не так интересна к концу, как в начале, то, вероятно, потому, что автор менее склонен следовать ходу собственных мыслей, чем ходу мыслей оппонентов. Коренное различие между христианином и коммунистом он верно усматривает в вопросе о личном бессмертии. Либо эта жизнь — подготовка к другой, в каком-то случае самое важное — индивидуальная душа, либо загробной жизни нет, и в этом случае индивид — всего лишь заменяемая клетка в общем теле. Эти две теории непримиримы, и основанные на них политические и экономические системы неизбежно будут антагонистами.

Однако мистер Шид не склонен признать, что католическая позиция предполагает определенное согласие с нынешними несправедливостями общества. Он готов утверждать, что подлинно католическое общество будет содержать в себе большую часть того, к чему стремится социалист, — а это уже напоминает попытку усидеть на двух стульях.

---

Индивидуальное спасение предполагает свободу, для католических писателей всегда распространяющуюся на право частной собственности. Но на нынешней стадии промышленного развития право частной собственности означает право эксплуатировать и мучить миллионы ближних. Социалист поэтому возразит, что собственность можно защищать, только если ты более или менее безразличен к экономической справедливости.

Ответ католика на это не слишком убедителен. Не в том дело, что церковь смотрит сквозь пальцы на несправедливости капитализма — наоборот. Мистер Шид справедливо замечает, что некоторые папы осуждали капиталистическую систему очень решительно, и что социалисты об этом обычно забывают. Но, в то же время, церковь отказывается от единственного решения, которое позволит действительно всё изменить. Частная собственность должна сохраниться, отношения наниматель—нанимаемый должны сохраниться, даже категории «богатые» и «бедные» должны сохраниться, но должна быть справедливость и честное распределение. Другими словами, богатого не экспроприируют, ему только скажут, чтобы вел себя хорошо.

«[Церковь] не видит в людях, прежде всего, эксплуататоров и эксплуатируемых, а в эксплуататорах — людей, которых она обязана ниспровергнуть... с ее точки зрения богач, как грешник, есть предмет ее самой нежной заботы. Там, где другие видят сильного человека на вершине успеха, она видит бедную душу, которой грозит ад... Христос сказал ей [церкви], что душам богатых грозит особая опасность, а забота о душах — ее первый долг».

Возразить ему можно тем, что *на практике* это ничего не меняет. Богатого призывают к покаянию, но он никогда не кается. В этом плане капиталист-католик не отличается заметно от остальных.

Ясно, что любая экономическая система работала бы справедливо, если бы можно было рассчитывать на хорошее поведение людей, но долгий опыт показывает, что в

---

вопросах собственности лишь ничтожное меньшинство людей будут вести себя лучше, чем их к тому принудят. Это не значит, что позиция католиков в вопросах собственности несостоятельна, но означает, что ее очень трудно совместить с экономической справедливостью. На практике принять католическую точку зрения — значит, принять эксплуатацию, бедность, голод, войну и болезнь как часть естественного порядка вещей.

Представляется поэтому, что если католическая церковь желает восстановить свое духовное влияние, ей придется определить свою позицию более четко. Либо она изменит свое отношение к частной собственности, либо ясно скажет, что царство ее не от мира сего, и что питание тел очень мало значит по сравнению со спасением душ. На самом деле, нечто подобное она и говорит, но смущенно, поскольку не такой вести ждет от нее современный человек. В результате церковь уже не первый день находится в двусмысленном положении, символом которого может послужить тот факт, что папа почти одновременно осуждает капиталистическую систему и награждает генерала Франко.

А в общем, это интересная книга, написанная просто, и на редкость свободная от злобы и дешевого остроумия. Если бы все апологеты католичества были такими, как мистер Шид, врагов у церкви было бы меньше.

*27 января 1939 г.*

---

## Не считая черных

Лет десять назад всякого, кто предсказал бы нынешний политический расклад, сочли бы сумасшедшим. И, однако, нынешнюю ситуацию — не в деталях, конечно, а в общих чертах — следовало бы предвидеть еще в золотой век до Гитлера. Как только безопасность Британии подверглась серьезной угрозе, нечто подобное должно было произойти.

В благополучной стране и, прежде всего, в стране империалистической, левая политика — всегда отчасти надувательство. Не может быть реальной перестройки, которая не привела бы, по крайней мере, на время к падению уровня жизни в Англии — иначе говоря, большинство левых политиков и публицистов это люди, которые зарабатывают на жизнь, требуя того, чего на самом деле не хотят. Пока всё идет хорошо, они — пламенные революционеры, но при всяком серьезном осложнении немедленно выясняется, что это — притворство. Малейшая угроза Суэцкому каналу, и «антифашизм» и «защита британских интересов» оказываются синонимами.

Было бы очень легкомысленно и несправедливо утверждать, что в так называемом «антифашизме» нет ничего, кроме беспокойства за британские дивиденды. Однако же политические непристойности последних двух лет, какая-то чудовищная арлекинада, когда все прыгают по сце-

---

не с картонными носами, — квакеры требуют большей армии, коммунисты размахивают Юнион Джеком, Уинстон Черчилль изображает демократа — были бы невозможны, если бы не виноватое чувство, что все мы в одной лодке. Во многом против своей воли британский правящий класс был вынужден занять антигитлеровскую позицию. Не исключено, что он еще найдет возможность ее покинуть, но сейчас он вооружается в ожидании войны и почти наверняка будет драться, когда дело дойдет до того, что ему придется отдать часть собственного имущества, а не имущества чужих народов, как до сих пор. А оппозиция, между тем, вместо того, чтобы пытаться остановить сползание к войне, рвется вперед, готовит почву, стараясь предотвратить возможную критику. Пока, насколько можно видеть, английский народ все еще крайне враждебен идее войны, но в том, что он постепенно с ней примиряется, повинны не милитаристы, а «антимилитаристы» пятилетней давности. Лейбористская партия лицемерно ворчит по поводу воинской повинности, и в то же время ее пропаганда делает всякую реальную борьбу против призыва невозможной. С заводов потоком идут пулеметы Брена, из типографий потоком книги типа «Танки в будущей войне», «Газ в будущей войне» и т. п., а воители из «Ньюстейтсмен» прячут это за дымовой завесой фраз вроде «Силы мира», «Фронт мира», «Демократический фронт» и вообще изображают человечество в виде комбинации из овец и козлиц, четко разделенных национальными границами.

В связи с этим стоит присмотреться к наделавшей шума книге Кларенса Стрейта «Союз сегодня». Как и сторонники «мирного блока», мистер Стрейт желает, чтобы демократии объединились против диктатур, но книга его выделяется из ряда подобных по двум причинам. Во-первых, он идет дальше многих других и предлагает план, пусть озадачивающий, но конструктивный. Во-вторых, несмотря на наивность в духе американской наивности 20-х годов, у него мышление порядочного человека. Ему

---

действительно ненавистна мысль о войне, и он не опускается до лицемерных утверждений, будто любая страна, посулами или угрозами втянутая в британскую орбиту, мгновенно становится демократией. Поэтому его книга может послужить своего рода эталоном. Тут теория овец и козлиц представлена в наилучшем виде. Если вы не можете принять ее в такой форме, то подавно не примете в той форме, в какой ее проповедует Книжный клуб левых.

Вкратце, мистер Стрейт предлагает, чтобы демократические страны, начиная с пятнадцати конкретно поименованных, добровольно объединились в союз — не лигу, а именно союз, наподобие Соединенных Штатов, с общим правительством, общими деньгами и полной свободой внутренней торговли. Первые пятнадцать государств это, разумеется, США, Франция, Британия, самоуправляющиеся доминионы Британской империи и более мелкие европейские демократии, без Чехословакии, которая еще существовала, когда писалась книга. Позже в союз могут быть приняты другие страны, если «покажут себя достойными». Подразумевается, что союз мира и благосостояния столь завиден, что остальные только и мечтают к нему присоединиться.

Надо заметить, что проект этот не так фантастичен, как кажется. Конечно, он не осуществится — ничто, рекомендуемое благонамеренными литераторами, никогда не осуществляется, — и некоторые трудности мистер Стрейт оставляет без внимания; но в принципе нечто подобное *могло бы* осуществиться. Географически США и западно-европейские демократии ближе друг к другу, чем, например, части Британской империи. Торгуют они по большей части друг с другом, на своих территориях располагают всем необходимым, и мистер Стрейт, вероятно, прав, утверждая, что ввиду большого превосходства сил нападение на них будет делом безнадежным, даже если в союзе с Германией выступит СССР. Так почему же с первого взгляда видно, что в этом проекте что-то не так? Чем от него пахнет? А пахнет от него безусловно.

---

Пахнет от него, как обычно, лицемерием и самодовольством. Сам мистер Стрейт не лицемер, но кругозор его ограничен. Взглянем еще раз на этот список овец и козлиц. На козлиц пялиться излишне (Германия, Италия и Япония), это козлица несомненные. Но присмотримся к овцам! США, может, и пройдут осмотр, если не слишком приглядываться. Но Франция? Но Англия? Или даже Бельгия и Голландия? Как и все, принадлежавшие к этой школе мыслителей, мистер Стрейт хладнокровно поместил огромную Британскую и Французскую империи — по сути, не что иное, как механизмы для эксплуатации дешевого труда цветных, — в рубрику «демократии»!

Там и сям в книге, хотя не часто, упоминаются страны, «зависимые» от демократических государств. «Зависимые» означает подвластные народы. Объясняется, что они останутся зависимыми, что их ресурсы волеются в ресурсы союза, а их цветное население не будет иметь голоса в делах союза. Пока не заглянешь в статистические таблицы, в голову не придет, о каком *числе* людей идет речь. Индии, например, где обитает больше народу, чем во всех «пятнадцати демократиях», взятых вместе, уделено в книге мистера Стрейта всего полторы страницы, и то — с единственной целью объяснить, что Индия не готова к самоуправлению, и статус-кво должен сохраняться. Здесь начинаешь понимать, что произойдет на самом деле, если станет осуществляться проект мистера Стрейта. Британская и Французская империи, с их шестьюстами миллионами бесправных обитателей, просто получают полицейское подкрепление; ограбление Индии и Африки поддержит громадная мощь США. Мистер Стрейт выдает себя, но и все фразы, вроде «Блок мира», «Фронт мира» и т. п. наводят на ту же мысль: все подразумевают укрепление существующей структуры. Не произносится вслух каждый раз одно: «не считая черных». Ибо как мы можем «решительно противостоять» Гитлеру, если ослабим себя внутри? Другими словами, можем ли мы «сражаться с фашизмом» иначе, как усугубив несправедливость?

---

А ее, конечно, станет больше. Мы всегда забываем, что подавляющее большинство британского пролетариата живет не в Британии, а в Азии и в Африке. Гитлер, например, не в силах установить заработную плату рабочему пенс в час; в Индии же это в порядке вещей, и мы очень стараемся сохранить этот порядок. О реальных отношениях Англии с Индией можно судить по тому, что годовой доход на душу населения в Англии равняется примерно 80 фунтам, а в Индии — примерно 7. Нет ничего необычного в том, что нога индийского кули тоньше руки среднего англичанина. И это не расовое различие, ибо сытые представители тех же рас обладают нормальным сложением; это — попросту результат голода. Это — система, в которой мы продолжаем жить, и которую осуждаем, когда не опасаемся, что она будет изменена. Но сегодня первой обязанностью «хорошего антифашиста» стало лгать об этом и способствовать ее сохранению.

Чего же будет стоить урегулирование на этих принципах? Что оно означало бы, даже если бы нам удалось разрушить гитлеровскую систему, дабы стабилизировать нечто гораздо большее и на свой манер не менее скверное? Но, по-видимому, из-за отсутствия реальной оппозиции именно это и будет нашей целью. Остроумные идеи мистера Стрейта не осуществляются, но нечто, напоминающее «Мирный блок», осуществиться может. Британское и русское правительства все еще торгуются, канители и глухо угрожают перейти на другую сторону, но обстоятельства, вероятно, сведут их вместе. И что тогда? Союз, без сомнения, отсрочит войну на год или два. Затем Гитлер сделает ход: ударит по слабому месту в неожиданный момент; нашим ответным ходом будет — больше вооружений, большая милитаризация, больше пропаганды, больше воинственности и так далее, с возрастающей скоростью. Сомнительно, что длительная подготовка к войне в нравственном отношении лучше самой войны; не исключено, что она даже чуть хуже. Какие-нибудь два-три года, и мы можем почти без сопротивления скатиться до какой-

---

то местной разновидности австро-фашизма. И может случиться так, что еще через год или два в качестве реакции на него возникнет то, чего еще никогда не было у нас в Англии, — настоящее фашистское движение. И поскольку у него хватит смелости говорить открыто, оно соберет под свои знамена тех самых людей, которым полагалось бы с ним бороться.

Дальнейшее предвидеть трудно. Сползание происходит потому, что почти все социалистические лидеры в решающий момент оказываются всего лишь оппозицией Его Величества, а кроме них, никто не знает, как воззвать к порядочности английского народа, с которой сталкиваешься повсюду, когда разговариваешь с людьми, а не читаешь газеты. Вряд ли что спасет нас, если в ближайший год или два не возникнет действительно массовая партия, которая пообещает помешать войне и исправить имперские несправедливости. Но если такая партия сейчас и существует, то только в качестве возможности — нескольких крохотных зернышек, лежащих там и сям в неорошаемой почве.

*июль 1939 г.*

---

## Мысли в пути

Читая блистательную и гнетущую книгу Малькольма Маггериджа «Тридцатые», я вспомнил, как однажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекли душу, а он долго — пожалуй, лет двадцать — этого просто не замечал.

Отсечь душу было совершенно необходимо. Было необходимо, чтобы человек отказался от религии в той форме, которая ее прежде отличала. Уже к девятнадцатому веку религия, по сути, стала ложью, помогавшей богатым оставаться богатыми, а бедных держать бедными. Пусть бедные довольствуются своей бедностью, ибо им воздается за гробом, где ждет их райская жизнь, изображавшаяся так, что выходил наполовину ботанический сад Кью-гарденз, наполовину ювелирная лавка. Все мы дети Божьи, только я получаю десять тысяч в год, а ты два фунта в неделю. Такой вот или сходной ложью насквозь пронизывалась жизнь в капиталистическом обществе, и ложь эту подобало выкорчевать без остатка.

---

Оттого и наступил долгий период, когда едва ли не каждый думающий человек становился в каком-то смысле бунтарем, а часто безрассудным бунтарем. Литература преимущественно вдохновлялась протестом и разрушением. Гиббон, Вольтер, Руссо, Шелли, Байрон, Диккенс, Стендаль, Сэмюэл Батлер, Ибсен, Золя, Флобер, Шоу, Джойс — в том или ином отношении — все они изничтожают, подрывают, саботируют. Два столетия мы тем одним и занимались, что подпиливали да подпиливали сук, на котором сидим. И вот с внезапностью, мало кем предвиденной, наши старания увенчались успехом — сук рухнул, а с ним и мы сами. К несчастью, вышло маленькое недоразумение. Внизу оказалась не мурава, усыпанная лепестками роз, а выгребная яма, затянутая колючей проволокой.

Впечатление такое, словно за какой-то десяток лет мы откатились к временам каменного века. Вдруг ожили человеческие типы, казалось бы, вымершие давным-давно: и пляшущий дервиш, и разбойничий атаман, и Великий Инквизитор, — причем, сегодня они отнюдь не пациенты психиатрической лечебницы, а властители мира. Видимо, нельзя жить, полагаясь исключительно на могущество машин и на обобществленную экономику. Сами по себе они только помогают воцариться кошмару, в котором мы принуждены существовать, — этим бесконечным войнам и бесконечным лишениям из-за войн, и колючей проволоке, за которой оказались народы, обреченные на рабский труд, и лагерным баракам, куда гонят толпы исходящих криком женщин, и подвалам, где палачи убивают выстрелами в затылок, не слышными через обитые пробкой стены. Ампутация души — это, надо полагать, не просто хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться.

Смысл книги Маггериджа поясняют два места из Екклесиаста: «Суета сует, — сказал Екклесиаст, — суета сует, всё суета!»; «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека». Теперь смысл этот стал очень близок многим, кто всего несколько лет назад

---

высмеивал его. Мы существуем среди кошмара именно по той причине, что пытались создать земной рай. Мы верили в «прогресс», в то, что нами под силу руководить простым смертным, воздавали кесарям Богово — примерно так принимаются рассуждать.

Сам Маггеридж, увы, тоже не дает повода допустить, что он верит в Бога. По крайней мере, исчезновение этой веры в человеке для него, очевидно, аксиома. Тут он, не приходится сомневаться, прав, а если считать действительными только санкции, исходящие свыше, ясно, что из этого следует. Нет иной мудрости, кроме страха перед Богом, однако никто не страшится Бога, а значит, никакой мудрости не существует. Человеческая история заключается лишь в подъемах и крушениях материальных цивилизаций — одна вавилонская башня вслед другой. А если так, можно с уверенностью представить, что нас ждет. Войны и снова войны, революции и контрреволюции, гитлеры и сверхгитлеры — вниз, вниз, в пропасть, куда страшно заглянуть, хотя, подозреваю, Маггеридж зачарован такой перспективой.

Прошло уже лет тридцать с той поры, как Хиллар Беллок<sup>1</sup> в своей книге «Государство рабов» на удивление точно предсказал происходящее в наши дни. К сожалению, ему нечего было предложить в качестве противодействия. У него все свелось к тому, что вместо рабства необходимо вернуться к мелкой собственности, хотя ясно, что такого возвращения не будет и что оно невозможно. Сегодня практически нет альтернативы коллективистскому обществу. Вопрос лишь в том, будет ли оно держаться силами добровольного сотрудничества или силой пулеметов. Решительно ничего не вышло из идеи Царства Божьего на земле, как оно прежде мыслилось, но, впрочем, еще и до того, как явился Гитлер, стало понятно, насколько далека эта идея от реального будущего, которое нас ожидает. То, к чему мы идем сейчас, имеет более всего сходства с испанской инквизицией; может, будет и еще хуже —

---

<sup>1</sup> Хиллар Беллок — английский романист, историк и поэт.

---

ведь в нашем мире плюс ко всему есть радио, есть тайная полиция. Шанс избежать такого будущего ничтожен, если мы не восстановим доверие к идеалу человеческого братства, значимому и без размышлений о «грядущей жизни». Эти размышления и побуждают неискушенных людей вроде настоятеля Кентерберийского собора всерьез верить, будто Советская Россия явила образец истинного христианства. Разумеется, они пали жертвами пропаганды, однако исповедуемый марксистами «реализм» тоже не оправдался, какими бы материальными достижениями он ни располагал. Получается, что нет альтернативы, кроме той, от которой нас так заботливо предостерегают Маггеридж, Ф. Войт<sup>2</sup> и думающие в сходном духе: эта альтернатива — столько раз осмеянное Царство земное, иными словами, общество, в котором люди, памятуя, что они смертны, стремятся относиться друг к другу как братья.

Значит, у них должен быть общий отец. И поэтому часто говорят, что ощущения братства у людей не будет, пока их не сплотит вера в Бога. На это можно ответить, что большинство из них полусознанно уже прониклись таким ощущением. Человек — не особь, он лишь клеточка вечносущего организма, и смутно он это осознает. Иначе не объяснить, отчего человек готов погибнуть в бою. Нелепо утверждать, что он так поступает исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целые армии, невозможной сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь из-за абстракций, именуемых честью, долгом, патриотизмом и т. д., — разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору.

Означает это лишь одно: они отдают себе отчет в существовании какой-то живой связи, которая важнее, нежели они сами, и простирается как в будущее, так и в прошлое, давая им чувство бессмертия, коль скоро они ее ощутили. «Погибших нет, коль Англия жива» — звучит вы-

---

<sup>2</sup> *Фредерик Огастес Войт* (1892–1957) — английский журналист и публицист, критик тоталитаризма.

---

сокопарной болтовней, но замените слово «Англия» любым другим по вашему предпочтению, и вы убедитесь, что тут схвачен один из главных стимулов человеческого поведения. Люди жертвуют жизнью во имя тех или иных сообществ — ради нации, народа, единоверцев, класса — и постигают, что перестали быть личностями, лишь в тот самый момент, как засвистят пули. Чувствуй они хоть немного глубже, и эта преданность сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстракция.

«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли был превосходным шаржем, запечатлевшим гедонистическую утопию, которая казалась достижимой, заставляя людей столь охотно обманываться собственной убежденностью, будто Царство Божье тем или иным способом должно сделаться реальностью на Земле. Но нам надлежит оставаться детьми Божьими, даже если Бог из молитвенников более не существует.

Иной раз это постигали даже те, кто старался динамитом взорвать нашу цивилизацию. Знаменитое высказывание Маркса, что «религия есть опиум народа», как правило, вырывают из контекста, придавая ему существенно иной, нежели вкладывал в него автор, смысл, хотя подмена едва заметна. Маркс — по крайней мере, в той работе, откуда эта фраза цитируется, — не утверждал, что религия есть наркотик, распространяемый свыше; он утверждал, что религию создают сами люди, удовлетворяя свойственную им потребность, насущность которой он не отрицал. «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира... Религия есть опиум народа». Разве тут сказано не о том, что человеку невозможно жить хлебом единым, что одной ненависти недостаточно, что мир, достойный людского рода, не может держаться «реализмом» и силой пулеметов? Если бы Маркс предвидел, как велико окажется его интеллектуальное влияние, возможно, то же самое он сказал бы еще не раз и еще яснее.

6 апреля 1940 г.

---

## Рецензия на книгу Франца Боркенау «Тоталитарный враг»<sup>1</sup>

Хотя эта книга не лучшая у доктора Боркенау, содержащаяся в ней исследование природы тоталитаризма заслуживает и даже требует того, чтобы ее прочло сейчас как можно больше народа. Мы не сможем бороться с фашизмом, если не хотим его понять, а этим грешны и левые, и правые — прежде всего потому, что не осмеливаются.

До русско-германского пакта и те, и другие полагали, что нацистский режим несколько не революционен. Национал-социализм считали просто разнуздавшимся капитализмом; Гитлер — марионетка, а Тиссен — кукловод, такова была официальная теория, проповедовавшаяся в брошюрах мистера Джона Стрейчи и молчаливо признанная газетой «Таймс». И твердолобые, и члены Клуба левой книги приняли ее целиком, будучи кровно заинтересованы в игнорировании реальных фактов. Имущие классы, естественно, желали верить, что Гитлер защитит их от большевизма, а социалистам была непереносима мысль, что человек, истребивший их товарищей, сам социалист. Отсюда неистовые усилия с обеих сторон замазать все более очевидное сходство между немецким и русским режимами. Наконец, пакт между Гитлером и Сталиным открывает нам глаза. И тут, отбросы человечества и кровавый палач рабочих (ибо так

они характеризуют друг друга) шагают рука об руку, их дружба «скреплена кровью», как радостно выражается Сталин. Тезис Стрейчи и твердолобых оказался несостоятельным. Национал-социализм — действительно форма социализма, подчеркнута революционная, действительно давит собственника так же, как рабочего. Два режима, начавшие с противоположных концов, стремительно перерастают в одну и ту же систему — некий олигархический коллективизм. И в данный момент, как указывает доктор Боркенау, Германия движется в сторону России, а не наоборот. Поэтому нелепо говорить о том, что если падет Гитлер, Германия «станет большевистской». Германия становится большевистской *благодаря* Гитлеру, а не вопреки ему.

Вопрос заключается не столько в том, как нацисты станут спасать мир от большевизма и в итоге сделаются большевиками, сколько в том, как они могут сделать это, не утратив силы или уверенности в себе. Доктор Боркенау называет две причины — экономическую и психологическую. В соответствии с первой, целью нацистов было превратить Германию в военную машину, подчинив этой цели всё остальное. Но страна, особенно, бедная страна, которая ведет «тотальную» войну или готовится к ней, должна быть в каком-то смысле социалистической. Когда государство полностью берет под свой контроль промышленность, так называемый капиталист низводится до положения управляющего, и, когда потребительские товары в дефиците или строго нормируются, так что, даже получая большой доход, вы не можете его истратить, тогда вы имеете, по существу, сложившуюся структуру социализма плюс некомфортное равенство военного коммунизма. В погоне за военной эффективностью нацисты экспроприировали и устраняли тех самых людей, которых намеревались спасти. Это их не волновало, потому что их целью была просто власть, а не какая-то особая форма общества. Они готовы быть хоть красными, хоть белыми, лишь бы остаться наверху. Если первый шаг — разгромить социалистов под шум антимарксистских ло-

---

<sup>1</sup> Франц Боркенау (1900–1957) — немецкий социолог и политолог.

---

зунгов — отлично, громи социалистов. Если следующий шаг — разгромить капиталистов под шум марксистских лозунгов — отлично, громи капиталистов. Это борьба без правил, единственное правило — победить. Россия с 1928 года демонстрирует точно такие же повороты в политике при неизменном стремлении правящей клики удержаться у власти. Что касается кампаний ненависти, беспрестанно разжигаемых тоталитарными режимами, они вполне реальны, пока длятся, но каждый раз продиктованы потребностями момента. Евреи, поляки, троцкисты, англичане, французы, чехи, демократы, фашисты, марксисты — кто угодно может оказаться Врагом Общества номер один. Ненависть можно обратить в любом направлении по первому знаку, как огонь паяльной лампы.

Рассуждая о стратегических аспектах войны, доктор Боркенау не так убедителен. Он слишком оптимистически оценивает возможную позицию Италии, возможные военные последствия русско-германского пакта, солидарность внутри нашей страны и, самое главное, способность нынешнего правительства выиграть войну и выиграть мир. В принципе, он понимает — и говорит об этом, — что нам надо навести порядок дома: противопоставить более гуманную, более свободную форму коллективизма варианту, основанному на чистках и цензуре. Мы можем сделать это быстро, почти без труда, но только наивный глаз увидит такую способность у нынешнего правительства.

Я надеюсь, что доктор Боркенау напишет на ту же тему более пространную и более хорошую книгу. Эта же, несмотря на некоторые блестящие куски, кажется написанной наспех и неудачно организованной. Тем не менее, доктор Боркенау — один из самых ценных подарков, преподнесенных Англии Гитлером. Сегодня, когда чуть ли не все книги о современной политике начинены ложью и глупостью, или и тем, и другим, его голос — один из многих трезвых у нас, и пусть он звучит подольше.

*4 мая 1940 г.*

---

## Моя страна, правая она или левая

Вопреки распространенному мнению, прошлое не богаче событиями, чем настоящее. А впечатление такое создается потому, что когда оглядываешься на события, разделенные годами, они сдвигаются, и потому что очень немногие твои воспоминания приходят к тебе в девственном виде. В основном из-за этого кажется, что книгам, фильмам и мемуарам, вышедшим в период между войной 1914–1918 годов и нынешним днем, свойственна некая грандиозная эпичность, которой лишено настоящее.

Но если вы жили во время той войны, и если вы очистите свои подлинные воспоминания от позднейших наростов, окажется, что волновали вас в то время чаще всего не какие-то крупные события. Не верю, например, что битва на Марне воспринималась в таких мелодраматических тонах, которыми окрасилась потом. Насколько помню, саму фразу «битва на Марне» я услышал лишь много лет спустя. Просто немецкие войска стояли в тридцати пяти километрах от Парижа — и это было страшно, особенно после рассказов о зверствах в Бельгии, — а потом почему-то отступили. Когда началась война, мне было одиннадцать лет. Если я честно переберу мои воспоминания и отброшу то, что узнал позже, то должен буду признать, что ни одно из событий войны не тронуло меня так глубоко, как гибель «Титаника» за несколько лет до

---

этого. Сравнительно мелкая катастрофа потрясла весь мир, и потрясение это до сих пор не совсем забылось. Я помню ужасные, подробные отчеты, читавшиеся за завтраком (в те дни было принято читать газету вслух). И помню, что из всех ужасов больше всего меня поразило то, что под конец «Титаник» вдруг встал торчком и ушел носом вниз, так что люди, собравшиеся на корме, были подняты на тридцать с лишним метров вверх, прежде чем погрузиться в бездну. У меня что-то опускалось в животе, и даже сейчас я это почти ощущаю. В связи с войной такого ощущения я не испытывал.

От начала войны у меня осталось три ярких воспоминания — мелкие и несущественные, они не преобразены тем, что я узнал позже. Одно из них — карикатура на германского императора (ненавистное имя «кайзер» еще не приобрело такого хождения), появившаяся в конце июля. Люди были слегка шокированы таким глумлением над августейшей особой («и мужчина интересный!»), хотя мы стояли на пороге войны. Другое — о том, как в нашем городке армия реквизировала всех лошадей, и извозчик плакал на рыночной площади, когда у него уводили лошадь, служившую ему много лет. И еще одно — о толпе молодых людей на железнодорожной станции, бросившихся за вечерними газетами, которые только что прибыли с лондонским поездом. Помню кипу горохового цвета газет (некоторые тогда еще были зелеными), стоячие воротнички, узкие брюки и котелки — помню гораздо лучше, чем названия грандиозных битв на французской границе.

Из середины войны мне запомнились больше всего квадратные плечи, выпуклые икры и звенящие шпоры артиллеристов, чья форма мне нравилась гораздо больше пехотной. А из заключительного периода — если меня попросят честно сказать о главном воспоминании, — ответу просто: маргарин. Это пример жуткого детского эгоизма: к 1917 году война почти уже не затрагивала нас, кроме как через желудок. В школьной библиотеке висела огромная

---

карта Западного фронта, и на ней зигзагом на канцелярских кнопках тянулась красная шелковая нить. Иногда нить сдвигалась на сантиметр в ту или другую сторону, каждое перемещение означало гору трупов. Я не обращал внимания. Я учился в школе среди мальчиков, развитых выше среднего, и, однако, не помню, чтобы хоть одно крупное событие того времени было воспринято нами в его истинном значении. Русская революция, например, ни на кого не произвела впечатления, кроме тех немногих, чьи родители вкладывали деньги в России. Среди самых юных пацифистская реакция возникла задолго до конца войны. Расхлябанное поведение на парадах Корпуса офицерской подготовки и отсутствие интереса к войне считалось признаком просвещенности. Молодые офицеры, приезжавшие с фронта, закаленные ужасными испытаниями, возмущались таким отношением молодежи, для которой их опыт ничего не значил, и отчитывали нас за мягкотелость. И конечно, ни одного их довода мы не способны были понять. Они могли только рявкать: война — «хорошее дело», она «закаляет», «делает мужчиной» и т. д., и т. п. Мы только хихикали. Пацифизм наш был близорукий, такой распространен в защищенных странах с сильным флотом. Многие годы после войны интересоваться военными вопросами, разбираться в них и даже знать, из какого конца винтовки вылетает пуля, считалось подозрительным в «просвещенных» кругах. Мировую войну списали со счетов как бессмысленную бойню, а погибших в этой бойне вдобавок еще считали виноватыми. Я часто смеялся, вспоминая патристический плакат вербовщиков: «Что ты сделал на Великой войне, папа?» (спрашивает ребенок у пристыженного отца), и о людях, клонувших на эту приманку, а впоследствии презираемых собственными детьми за то, что не отказались по «этическим соображениям».

Но мертвые, в конце концов, взяли реванш. Когда война ушла в прошлое, мое поколение, которое было «слишком молодо», стало осознавать, какого колоссаль-

---

ного опыта оно лишилось. Пять лет, с 1922 по 1927-й, я провел в основном среди людей чуть старше меня — прошедших войну. Они говорили о ней беспрестанно, с отвращением, конечно, но и с постепенно возраставшей ностальгией. Эту ностальгию ты прекрасно чувствуешь в английских книгах о войне. Кроме того, пацифистская реакция была лишь фазой, и даже «слишком молодых» всех обучали для войны. Большинство среднего класса обучают для войны с колыбели, не технически, а морально. Первый политический лозунг, который я помню — «Нам нужны восемь (восемь дредноутов), и мы не будем ждать». В семь лет я был членом Морской лиги и носил матросский костюмчик с надписью «Неуязвимый» на фуражке. В моей закрытой школе еще до Корпуса офицерской подготовки я состоял в кадетском корпусе. С десятилетнего возраста я периодически носил винтовку, готовясь не просто к войне, но к войне особого рода, где гром пушек достигает чудовищного оргазма, и в назначенную минуту ты вылезаете из окопа, обламывая ногти о мешки с песком, и, спотыкаясь, бежишь по грязи, на колючую проволоку, сквозь пулеметный огонь. Убежден, люди приблизительно моих лет были так зачарованы гражданской войной в Испании отчасти потому, что она очень напоминала мировую войну. Франко иногда удавалось наскрести достаточно самолетов, чтобы довести войну до современного уровня, и это были переломные моменты. В остальном она была скверной копией позиционной траншейной войны 1914–1918 годов, с артиллерией, вылазками, снайперами, грязью, колючей проволокой, вшами и гнилью. В начале 1937 года тот отрезок Арагонского фронта, где я находился, был, наверно, очень похож на неподвижный сектор французского в 1915-м. Не хватало только артиллерии. Даже в тех редких случаях, когда все орудия в Уэске и окрестностях палили одновременно, их едва хватало на то, чтобы произвести прерывистый, невыразительный шум, какой бывает в конце грозы. Снаряды 150-миллиметровых пушек Франко рвались достаточно громко, но их

---

никогда не бывало больше десятка за раз. К тому, что я испытывал, когда артиллерия начинала стрелять, как говорится, сгоряча, определенно примешивалось разочарование. Как же это отличалось от оглушительного беспрерывного грохота, которого двадцать лет ожидали мои чувства!

Не могу сказать, в каком году я впервые ясно понял, что надвигается нынешняя война. После 1936 года это было понятно уже всем, кроме идиотов. В течение нескольких лет грядущая война была для меня кошмаром, и я даже писал брошюры и произносил речи против нее. Но в ночь накануне того, как объявили о заключении русско-германского пакта, мне приснилось, что война началась. Не знаю, как истолковали бы мой сон фрейдисты, но это был один из тех снов, которые иногда открывают тебе подлинное состояние твоих чувств. Он объяснил мне, во-первых, что я просто испытаю облегчение, когда начнется давно и с ужасом ожидаемая война, и, во-вторых, что я в душе патриот, не буду саботировать или действовать против своих, буду поддерживать войну и, если удастся, воевать. Я сошел вниз и прочел в газете сообщение о прилете Риббентропа в Москву\*. Итак, война приближалась, и правительство, даже правительство Чемберлена могло быть уверено в моей лояльности. Нечего и говорить, что лояльность эта была и остается всего лишь жестом. Как и почти всех моих знакомых, правительство наотрез отказалось использовать меня в каком бы то ни было качестве, даже в качестве писца или рядового. Но это не меняет моих чувств. К тому же рано или поздно ему придется нас использовать.

Если бы мне пришлось доказывать, что война нужна, думаю, что я смог бы. Реальной альтернативы между сопротивлением Гитлеру и капитуляцией перед ним нет. И как социалист я должен сказать, что лучше сопротив-

---

\* Риббентроп был приглашен в Москву 21 августа 1939 года, а 23-го подписал с Молотовым пакт.

---

ляться; во всяком случае, я не вижу доводов в пользу капитуляции, которые не обесмыслили бы сопротивления республиканцев в Испании, сопротивления китайцев Японии и т. д. Но не буду притворяться, будто этот вывод основан на эмоциях. Я понял тогда во сне, что долгая патриотическая муштровка, которой подвергается средний класс, свое дело сделала, и, если Англия попадет в тяжелое положение, саботаж для меня неприемлем. Только пусть не поймут меня превратно. Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. Это преданность чему-то изменяющемуся, но по какой-то таинственной причине ощущаемому как неизменное — подобно преданности бывших белогвардейцев России. Быть верным и чемберленовской Англии, и Англии завтрашнего дня, казалось бы, невозможно, но с этим сталкиваешься каждый день. Англию может спасти только революция, это ясно уже не первый год, а теперь революция началась и возможно, что будет развиваться быстро, если только мы сможем отбросить Гитлера. За два года, может быть, и за год, если сможем продержаться, мы увидим изменения, которые удивят близоруких идиотов. Могу думать, что на улицах Лондона прольется кровь. Пусть прольется, если иначе нельзя. Но когда красное ополчение разместится в отеле «Ритц», я все равно буду чувствовать, что Англия, которую меня так давно учили любить — и совсем за другое, — никуда не делась.

Я рос в атмосфере с духом милитаризма, а потом пять скучных лет прожил под звуки горнов. По сей день у меня возникает легкое ощущение святотатства оттого, что не встаю по стойке смирно, услышав: «Боже, храни короля». Это детство, конечно, но по мне лучше быть так воспитанным, чем уподобиться левым интеллектуалам, настолько «просвещенным», что они не могут понять самых обыкновенных чувств. Именно те люди, чье сердце ни разу не забило при виде британского флага, отшатнутся от революции, когда придет ее пора. Сравните стихотворение Джона Корнфорда, написанное незадолго до гибели

---

(«Перед штурмом Уэски»), со стихотворением сэра Генри Ньюболта «Все затихло на площадке»<sup>1</sup>. Если отвлечься от технических различий, обусловленных эпохой, станет ясно, что эмоциональный заряд этих двух стихотворений почти одинаков. Молодой коммунист, который героически погиб, сражаясь в Интернациональной бригаде, был чистым продуктом привилегированной закрытой школы. Он присягнул другому делу, но чувства его не изменились. Что это доказывает? Только то, что кости самовольного консерватора могут обрасти плотью социалиста, что лояльность к одной системе может претвориться в совсем другую, что для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано.

*осень 1940 г.*

---

<sup>1</sup> Руперт Джон Корнфорд (1915–1936) — английский поэт и эссеист. Генри Ньюболт (1862–1938) — английский прозаик, поэт. Здесь речь идет о его стихотворении «Vital Lampada».

---

## Во чреве кита

### I

Роман Генри Миллера «Тропик Рака», вышедший в свет в 1935 году, знатоки хвалили с некоторой осторожностью, опасаясь, очевидно, прослыть поклонниками порнографии. Среди похваливших были Т.С. Элиот, Герберт Рид<sup>1</sup>, Олдос Хаксли, Джон Дос Пассос, Эзра Паунд — в общем, писатели, которые теперь не очень в моде. Само содержание книги, а в какой-то мере, и ее духовный настрой принадлежат скорее 20-м, нежели 30-м годам.

«Тропик Рака» — роман, написанный от первого лица, или автобиография в форме романа, как бы вы к этой книге ни относились. Миллер настаивает, что написал именно автобиографию, но по ритму и способу повествования это роман. Это история американского Парижа, но не совсем обычная, потому что изображенные в книге американцы — люди без денег. В разгар бума, когда доллар был всемогущ, а франк немощен, Париж заполонила толпа художников, писателей, ученых, дилетантов, любителей достопримечательностей, дебоширов и отъявленных бездельников — ничего подобного свет еще не видел. В некоторых кварталах так называемых художников набиралось больше, чем рабочего люда, — подсчитано, что в конце 20-х годов в Париже проживало едва ли не 30 тысяч

<sup>1</sup> *Герберт Рид* (1893–1968) — английский искусствовед, художественный критик, поэт.

---

живописцев, по большей части самозванных. Парижане до того свыклись с этой публикой, что хриплоголовые лесбиянки в вельветовых бриджах и юноши в древнегреческих и средневековых одеяниях могли разгуливать по улицам, не привлекая ни малейшего внимания, а по набережным Сены у Нотр-Дам было не пройти из-за мольбертов. Это было время «темных лошадок» и непризнанных гениев; все твердили одно и то же: «*Quand je serai lancé*»<sup>2</sup>.

Но вышло так, что никто не вкусил этого «*lancé*»: разразился кризис — под стать новому ледниковому периоду, разноязыкая толпа художников схлынула, и просторные кафе на Монпарнасе, где недавно до утренней зари толклись всякие бахвалы и позеры, превратились в сумрачные склепы, покинутые даже привидениями. Этот мир — изображенный многими, например Уиндемом Льюисом в его «*Tarre*», — и живописует Миллер, показывая, впрочем, лишь его оборотную сторону, последних люмпенов, выстоявших потому, что они были либо истинными художниками, либо законченными проходимцами.

Среди них есть и непризнанные гении, параноики, постоянно твердящие, что «вот завтра» примутся за роман, который обратит книги Пруста в ничтожные побрякушки, но гениальны они лишь в те редкие минуты, когда нет необходимости выключивать у кого-то на обед. Миллер описывает в основном кишачие клопами каморки в пролетарских ночлежках, драки, запои, дешевые бордели, русских беженцев, нищих, аферистов, тех, кто живет на заработки от случая к случаю. Здесь царит атмосфера беднейших парижских кварталов, какими их должен видеть чужестранец, — булыжные мостовые переулков, тошнотворная вонь помоек, засаленные стойки и истертые полы бистро, зеленая вода Сены, голубые плащи республиканских гвардейцев, треснутые чугунные писсуары, сладковатый запах на станциях метро, сигареты, крошащиеся в

<sup>2</sup> «Вот когда у меня пойдут дела» (*франц.*).

---

пальцах, голуби Люксембургского сада — все это есть на его страницах, во всяком случае, есть эта атмосфера.

Вроде бы трудно вообразить более скучную материю. «Тропик Рака» появился в тот момент, когда итальянцы вторглись в Абиссинию и уже росли, как грибы, гитлеровские концлагеря. Повсюду в мире интеллектуалы пристально присматривались к Риму, Москве, Берлину. Уж какой там в эту пору может быть роман, да еще выдающийся, о бездельниках-американцах, выпрашивающих на выпивку в Латинском квартале. Споры нет, романист не обязан писать о важнейших общественных событиях напрямую, но если он попросту игнорирует эти события, значит, он ничтожество, а то и просто идиот. Из пересказа «Тропика Рака» большинство людей было бы вправе заключить, что это, наверное, всего лишь шалость в духе ушедших 20-х годов. Но почти все, кто эту книгу прочел, сразу поняли: ничего подобного, на самом-то деле книга замечательная. Чем она замечательна, почему? На такие вопросы всегда нелегко ответить. Лучше начну с того, какое впечатление «Тропик Рака» произвел на меня самого.

Когда я впервые открыл роман и увидел, что он изобилует непечатными словами, первой реакцией было нежелание этому изумляться. Думаю, большинство читателей отреагировало бы на роман так же. Но прошло время, и атмосфера книги, не говоря уже о бесчисленных выразительных подробностях, на удивление прочно отложилась у меня в памяти. Спустя год вышла вторая книга Миллера, «Черная весна». «Тропик Рака» уже присутствовал в моем сознании куда более непосредственно, чем сразу после того, как я его прочел. Сначала у меня сложилось впечатление, что «Черная весна» удалась меньше, и действительно, второй книге недостает целостности, присущей первой. Но минул еще год, и многие места из «Черной весны» тоже укоренились в памяти. Ясно, это такие книги, которые как бы оставляют свой особенный запах, — что называется, книги, «создающие свой собственный мир». Такие кни-

---

ги — не обязательно хорошая литература, есть ведь и хорошие *плохие* книги, как «Хлам»<sup>3</sup> или «Записки о Шерлоке Холмсе», а также извращенные, болезненные книги, вроде «Грозового перевала» или «Дома с зелеными ставнями»<sup>4</sup>. Но время от времени появляется роман, открывающий совершенно новый мир не в неведомом, а в хорошо знакомом. Например, «Улисс» замечателен именно банальностью материала. Конечно, в «Улиссе» есть и много другого, ибо Джойс к тому же еще и своего рода поэт, и тяжеловесный педант, но его подлинное достижение — это то, что он сумел передать самое обыденное. Он осмелился — а смелости здесь потребовалось не меньше, чем мастерства, — выразить всю глупость, отличающую сокровенные человеческие помыслы, тем самым открыв Америку, хотя она располагалась прямо у нас под носом. Предстал целый мир, состоящий из вещей, которые мы считали непередаваемыми по самой их природе, и вот нашелся человек, сумевший их выразить.

Джойс разбивает, пусть на короткое мгновение, скорлупу одиночества, в которую заключено любое человеческое существо. Читая «Улисса», вы местами чувствуете, что ваше сознание слилось с сознанием Джойса, и он знает про вас все, хотя никогда о вас не слышал, и есть мир вне времени и пространства, в котором он и вы соединяетесь воедино. Пусть между Генри Миллером и Джойсом мало сходства — в этом они близки. Правда, не всегда — творчество Миллера очень неровно, порой, особенно в «Черной весне», он предается пустословию и вязнет в топком болоте сюрреализма. Но прочтите пять, десять страниц — и вы испытаете особое чувство радости, даруемое не тем, что понимаете прочитанное, а тем, что вас понимают. «Он все знает обо мне, — озаряет вас, — он написал это специально для меня». Вам словно слышится голос, обращающийся именно к вам, дружелюбный, чистосердечный го-

---

<sup>3</sup> Роман английского писателя Эрнеста Хорнунга (1866–1921).

<sup>4</sup> Роман английского писателя Джорджа Брауна (1869–1902).

---

лос американца, который не собирается читать вам мораль, но исподволь вселяет в вас ощущение, что все мы очень похожи друг на друга. На какое-то мгновение вы свободны от обмана и упрощений, от вымученности, отличающей розовую беллетристику и даже вполне добротную литературу, которую, однако, населяют марионетки, а не живые люди, и перед вами раскрывается истинный опыт настоящих, неподдельных людей.

Но что это за опыт? И что за люди? Миллер пишет о человеке с улицы, и очень жаль, что на этой улице полно борделей. Это расплата за разлуку с родной землей. Покинув ее, оказываешься там, где корням недостает плодородной почвы. Для романиста разлука с родиной, видимо, опаснее, чем для живописца и даже поэта, потому что он утрачивает связь с нормальной жизнью и горизонт его творчества становится узким — улица, кафе, церковь, бордель да стены кабинета. В книгах Миллера мы читаем главным образом о людях, влачащих жизнь изгнанников, пьющих, болтающих, созерцающих, совокупляющихся, а не о тех, кто трудится, женится, растит детей; какая жалость — ведь он вполне мог бы писать и о том, и о другом. В «Черной весне» есть чудесная ретроспекция, когда мы переносимся в Нью-Йорк времен О'Генри, по которому слоняются толпы ирландцев, но парижские сцены все равно лучше, и пусть все эти пьяницы да попрошайки вполне никчемны, они выведены с таким проникновением в суть социального типа, с таким пониманием характеров и изощренным мастерством, до которых не дотягивает ни один роман, появившийся в последние годы. Каждый из героев не только достоверен, но и хорошо нам знаком; возникает чувство, что все с ними происходящее пережито лично вами. И ведь ничего удивительного с ними и не приключается. Генри получает работу и знакомится с меланхоличным студентом-индусом, потом подвергается другой работе — в кошмарной французской школе, где нужники зарастают льдом, когда на улице мороз; пьет запоем в Гавре со своим дружкой Коллинзом, ка-

---

питаном судна, шляется по борделям, общаясь с восхитительными негритянками, ведет беседы с другим дружкой, Ван Норденом, писателем, замыслившим роман, который поразит весь мир, но еще не севшим писать. Его друг Карл, только что не умирающий от голода, сходится с состоятельной вдовой, которая помышляет женить его на себе. Опять нескончаемые гамлетовские разговоры — Карл никак не решит, что лучше: голодать или спать со старухой. Он с множеством подробностей описывает посещения вдовы; он надел свой лучший костюм, когда они ходили в ресторан, а однажды, собираясь к ней, забыл наведаться в уборную, промучился весь вечер, и прочее в том же духе. В конце концов, все это оказывается сплошной выдумкой, даже никакой вдовы не существует — Карл просто все выдумал, чтобы прибавить себе значительности. Более или менее в таком вот ключе написана вся книга. Отчего же эти чудовищные банальности столь занимательны? Да оттого, что нам досконально знакома вся атмосфера, и нас ни на минуту не покидает чувство, что все это происходит с нами. А чувство это возникает потому, что нашелся человек, отбросивший дипломатические условности обыкновенного романа и обратившийся к реальности человеческой души, которая представлена на всеобщее обозрение. Миллер не столько исследует при этом механизмы сознания, сколько просто изображает обыденные события, обыденные чувства. Ведь и на самом деле многие люди, возможно, даже большинство обыкновенных людей ведут себя именно так, как изображает Миллер. Зачерствелая грубость, с которой изъясняются персонажи «Тропика Рака», редка в литературе, но в жизни она заурядна; сколько раз я слышал такие разговоры в компании людей, даже не отдававших себе отчета, что их речь груба. Примечательно, что автор «Тропика Рака» далеко не юноша. Ко времени выхода романа Миллеру было уже за сорок, и хотя потом появилось еще четыре его книги, ясно, что первой он жил не один год. Книга эта из тех, что медленно вызревают, пока автор обретается в без-

---

вестности и нищете, и вынашивают их люди, знающие, в чем их предназначение, и умеющие терпеливо ждать. Повествование удивительно, а проза «Черной весны» местами еще лучше. Жаль, что нельзя цитировать, то и дело натыкаешься на нецензурные слова. Но найдите «Тропик Рака», найдите «Черную весну» и прочтите, особенно первую сотню страниц. Вы поймете, чего можно достичь в английской прозе даже сегодня. Там тот английский, на котором действительно говорят, причем без страха, то есть, не боясь ни риторики, ни экзотичных или поэтических слов. После десятилетнего изгнания в язык вернулось прилагательное. Это плавная, насыщенная, ритмичная проза, нечто совсем другое, чем модный сегодня жаргон посетителей закусочной или плоская, избегающая всякого риска официальная речь.

Вполне естественно, что при появлении такой книги, как «Тропик Рака», люди в первую очередь замечают, что она непристойна. При наших представлениях о приличии в литературе отнестись беспристрастно к книге, полной нецензурных слов, далеко не просто. Такая книга вызывает либо шок и отвращение, либо смертельный испуг, либо твердое нежелание поддаваться сильным эмоциям. Чаще всего встречается последнее, и в результате книги, которые невозможно публиковать в подцензурных издательствах, зачастую не привлекают того внимания, которого заслуживали бы. Стали даже модными разговоры, что нет ничего проще, чем написать непристойную книгу, и пишут их лишь для того, чтобы добиться известности, заработать, и прочее. О том, что это вовсе не так, говорит сам факт явной незаурядности произведений, которые должны быть названы непристойными в полицейском смысле. Если бы грязными словами легко было наживать деньги, этим занималось бы куда больше людей. Но «непристойные» книги появляются не так уж часто, поэтому наметилась тенденция сваливать их в одну кучу — как правило, без всяких на то оснований. «Тропик Рака» соотносят с «Улиссом» и «Путешествием на

---

край ночи»<sup>5</sup>, эти ассоциации смутны и в действительности между ними мало общего. Миллер походит на Джойса тем, что они одинаково не стыдятся показывать бессмысленность и низость повседневного существования.

Если оставить в стороне различия в характере изображения, сцена похорон из «Улисса», например, вполне естественно выглядела бы в «Тропике Рака»; вся эта глава — нечто вроде исповеди, обнаруживающей страшную внутреннюю зачерствелость человека. Но этим сходство исчерпывается. Как роман «Тропик Рака» сильно уступает «Улиссу». Джойс — художник, каким Миллер не является, да, наверное, и не пожелал бы быть, и устремления Джойса простираются гораздо дальше. Он исследует различные формы человеческого сознания — сон, грезы («бронзово-золотая глава»), опьянение и прочие — и сводит их в единый сложный узор, отчего возникает нечто вроде «фабулы» в викторианском смысле слова. Миллер же — просто издавший виды человек, повествующий о жизни, обыкновенный американский бизнесмен, наделенный смелым умом и чувством слова. Характерно, что и выглядит он именно так, как мы представляем себе типичного американского бизнесмена. Если же сравнивать роман Миллера с «Путешествием на край ночи», то такое сравнение еще произвольнее. Обе книги изобилуют непристойностями, обе в некоторой мере автобиографичны — но вот и все, что их сближает. «Путешествие на край ночи» написано с определенной целью, и цель эта — протест против ужаса и бессмысленности современной жизни, да и жизни вообще. Это вопль крайнего отвращения, голос, доносящийся из клоаки. «Тропик Рака» — нечто едва ли не противоположное. Как это ни необычно, ни противоестественно даже, но это книга, созданная счастливым человеком.

Такова и «Черная весна», хотя и в меньшей степени, ибо в ней часто чувствуется ностальгия. Столько лет прожив в люмпенской среде, изведав голод, бродяжничество,

---

<sup>5</sup> Роман французского писателя Луи Селлина (1894–1961).

---

грязь, неудачи, ночуя без крыши над головой, вытерпев схватки с эмиграционными чиновниками, закалившись в нескончаемой борьбе за медный грош, Миллер убеждает-ся, что все это доставляет ему наслаждение. Как раз те стороны жизни, которые вызывают у Селина ужас, оказываются для него привлекательными. Он очень далек от того, чтобы протестовать, — напротив, он приемлет. И уже само это слово подсказывает нам, с кем его в действительности связывает духовная близость, — это тоже американец, Уолт Уитмен.

Это своеобразно — быть Уитменом в 30-е годы XX века. Вряд ли, живи он в наши дни, Уитмен написал бы что-нибудь даже отдаленно напоминающее «Листья травы». Ведь он и вправду говорит: «Я приемлю», но между «приемлю» тогда и сегодня пролегает пропасть. Уитмен творил во времена невиданного процветания и, что еще важнее, в стране, где свобода была не просто словом. Демократия, равенство, товарищество, о которых он без усталости толкует, — не отдаленный идеал, все это было у него перед глазами. В Америке середины XIX века люди ощущали себя свободными и равными, они и были таковыми — насколько это возможно в обществе, где не восторжествовал чистый коммунизм. Существовала бедность, существовали даже классовые различия, но постоянно угнетаемого класса не было, исключая негров. В каждом человеке жило и составляло ядро его личности убеждение, что он в силах добиться достойной жизни и для этого ему не придется вылизывать чьи-то сапоги. Твеновские плотогоны и лоцманы с Миссисипи, золотоискатели с Дикого Запада Брет Гарта сегодня более далеки от нас, чем каннибалы каменного века. Причина проста: они свободные люди. То же ощущение пронизывает и мирную, обустроенную жизнь восточных штатов Америки, изображенную в таких книгах, как «Маленькие женщины»<sup>6</sup>, «Дети Элен», «По доро-

---

<sup>6</sup> «Маленькие женщины» — роман американской писательницы Луизы Олкотт (1832–1888).

---

ге из Вендора». До того кипучая, беззаботная жизнь, что, читая эти книги, ловишь себя на чувстве, будто физически ее ощутил. Вот ее и воспевают Уитмен, хотя делает он это очень плохо, потому что он из числа писателей, сообщающих нам, что мы должны чувствовать, вместо того, чтобы такие чувства в нас пробудить. Думая о его верованиях, приходишь к мысли, может быть, хорошо, что он умер, не увидев, как ухудшилась жизнь в Америке вместе с ростом индустрии и эксплуатации дешевого труда иммигрантов.

Взгляды Миллера глубоко родственны взглядам Уитмена, и мимо этого не прошел почти никто из его читателей. «Тропик Рака» и заканчивается совершенно по-уитменовски: после всего распутства, махинаций, потасовок, запоев, после всех совершенных им глупостей герой спокойно созерцает бегущие мимо него воды Сены, как бы мистически приемля всё, как оно есть. Только что же он приемлет? Прежде всего, не Америку, а это древнее нагромождение костей — Европу, где каждая крупинка земли есть плоть от плоти бесчисленных человеческих тел. Во-вторых, не эпоху расцвета и свободы, а эпоху страха, тирании и запретов. Сказать «я приемлю» в век, подобный нашему, означает приятие концентрационных лагерей, резиновых дубинок, Гитлера, Сталина, бомб, военных самолетов, пицци из концентратов, пулеметов, путчей, чисток, лозунгов, противогазов, подводных лодок, шпионов, провокаторов, цензуры, тайных тюрем, аспирина, Голливуда, политических убийств. Не только этого, конечно, но и этого тоже. Генри Миллер в целом к такому приятию готов. Правда, не всегда, ибо моментами он ощущает ностальгические чувства, которые так обычны в литературе. В первой части «Черной весны» пространно восхваляется средневековье, причем эти страницы можно отнести к числу самых замечательных в прозе последних лет, хотя по тональности они мало чем отличаются от написанного Честертоном. В «Максе и белых фагоцитах» (опубликовано в 1935 году) осуждается современная американская цивилизация (го-

---

товые завтраки, целлофан и прочее) с точки зрения, обычной для литераторов, ненавидящих индустриализацию. Но в целом он готов «проглотить все целиком». Отсюда и кажущееся чрезмерным увлечение непристойностями и грязью оборотной стороны жизни. Кажущееся, ибо истина заключается в том, что обыденность куда больше изобилует ужасами, чем готовы признать беллетристы. Тот же Уитмен «принимал» многое такое, чего не отваживались назвать вслух его современники. Ведь он пишет не только о прериях, он слоняется по городским улицам, подмечая раздробленный череп самоубийцы, «серые, больные лица онанистов», да только ли это? Но нет сомнений, что наше время, по крайней мере, в Западной Европе, более болезненно, более безнадежно, чем то, в которое творил Уитмен. В отличие от Уитмена, мы живем в угасающем мире. «Демократические дали» увенчались для нас колючей проволокой. Все реже замечаем мы созидание и рост, все реже чувствуем вечное покачивание колыбели — вместо нее нам уготован вечно свистящий чайник. Принять цивилизацию, как она есть — фактически означает примириться с разложением. Мужество сменилось пассивностью, даже «декадентством», если это слово обладает каким-то смыслом.

Но именно благодаря тому, что Миллер в определенном смысле пассивен перед жизнью, ему удается подойти к обыкновенному человеку ближе, чем это получается у писателей, ставящих перед собою некую цель. Ведь обыкновенный человек тоже пассивен. В сфере мелочного (дом, возможно, профсоюз, локальные политические заботы) он чувствует себя хозяином своей судьбы, но перед лицом крупных событий он беззащитен, как под ударами стихии. Он и не помышляет воздействовать на будущее, он безвольно сникает и покоряется ходу вещей. Последние десять лет литература все глубже втягивалась в политику, и в итоге в ней осталось меньше места для обыкновенного человека, чем когда-либо за два истекшие столетия. Эту перемену легко почувствовать, сравнив книги о гражданской войне в Испании с книгами о войне

---

1914–1918 годов. Сразу бросается в глаза, до чего скучны и попросту плохи книги об испанской войне, по крайней мере, те из них, что написаны по-английски. Но еще существеннее, что почти все они, будь их автор «правым» или «левым», написаны завзятыми политиками, которые уверены в своей правоте и навязывают вам собственный образ мыслей, тогда как о мировой войне писали простые солдаты или младшие офицеры, даже не делавшие вид, будто постигли происходящее. Такие книги, как «На Западном фронте без перемен», «Огонь», «Прощай, оружие!», «Расставаясь с этим навсегда»<sup>7</sup>, «Воспоминания офицера пехоты»<sup>8</sup>, «Субалтерн на Сомме»<sup>9</sup>, написаны не пропагандистами, а жертвами. В сущности, говорят они все об одном: «Да что же это творится? Одному Богу известно. Нам остается лишь терпеть». И Миллеру, хотя он не описывает войну, как, в общем-то, и тягость жизни, эта позиция куда ближе, чем всеведение тех, кто теперь в моде. «Бустер», быстро прекративший существование журнал, соредактором которого он был, рекламировал себя как орган «не политический, не образовательный, не прогрессивный, не наставляющий, не этический, не литературный, не содержательный, не современный»; творчество самого Миллера можно охарактеризовать почти так же. Это голос из толпы, голос отверженных, голос из вагона третьего класса, голос обыкновенного, далекого от политики, чуждого морализма, пассивного человека.

Я обращаюсь с понятием «обыкновенный человек» несколько вольно, не сомневаясь, что таковой существует, хотя сегодня некоторые отрицают это. Вовсе не хочу сказать, что люди, о которых повествует Миллер, составляют большинство, и, тем более — что он пишет о пролетариях. Серьезных попыток такого рода пока не предпринимал ни

---

<sup>7</sup> Автобиографический роман английского поэта и прозаика Роберта Грейвса (1895–1985).

<sup>8</sup> Автобиографический роман английского поэта Зигфрида Сассуна (1886–1967).

<sup>9</sup> Книга английского поэта Макса Плаумена (1883–1941).

---

один английский или американский романист. Персонажи «Тропика Рака» не вполне обыкновенны в том смысле, что ведут праздную жизнь, обладают скверной репутацией и отчасти принадлежат к «артистической» среде. Как я уже говорил, это прискорбный, но неизбежный итог жизни вне родины. «Обыкновенный человек» Миллера — это не работяга, не домовладелец из пригорода, а изгой, деклассированный элемент, авантюрист, лишенный корней американский интеллигент без гроша в кармане. Но бытие даже такого персонажа имеет много общего с жизнью заурядных людей. Миллеру удалось извлечь максимум из этого довольно скудного материала, так как он нашел в себе смелость с ним слиться. И обыкновенный человек, «средний индивид», подобно валаамовой ослице, обрел дар речи.

Правда, все это устарело или, по крайней мере, вышло из моды. «Средний индивид» уже не в моде. Не в моде и пристальное внимание к сексу, к откровениям внутренней жизни. Не в моде американский Париж. В наше время такая книга, как «Тропик Рака», должна выглядеть либо скучной претенциозностью, либо чем-то совершенно необычным, и думаю, что большинство из читавших не станут относить ее к первой категории. Постараемся же разобраться, что означает знаменное ею неприятие сегодняшней литературной моды. Но для этого нужно увидеть книгу Миллера на фоне всего развития английской литературы за двадцать лет после мировой войны.

## II

Когда писателя называют модным, почти всегда имеют в виду, что он нравится тем, кому еще не исполнилось тридцати. В начале периода, о котором я говорю, во время войны и после нее, властителем юных умов был, конечно, Хаусмен<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Альфред Хаусмен (1859–1936) — английский поэт, филолог.

---

Среди тех, чья юность пришлась на 1910–1925 годы, влияние Хаусмена было огромным, и сейчас это уже не так просто объяснить. В 1920 году — мне тогда было семнадцать лет — я знал на память всего «Парня из Шропшира». Интересно, произведет ли теперь «Парень из Шропшира» впечатление на юношу того же возраста и примерно того же склада ума? Он наверняка слышал об этом цикле, может быть, даже заглядывал в него, и стихи показались ему ловко скроенными, но пустоватыми — вот, думаю, и все. А ведь мои сверстники и я без устали твердили эти стихи наизусть, испытывая своего рода экстаз, сравнимый с тем, который охватывал предыдущие поколения, упивавшиеся «Любовью в долине» Мередита, «Садом Прозерпины» Суинберна и так далее.

Разлука сердце гложет,  
Со мною нет друзей —  
Красавиц белокожих  
И молодых парней.

Впадает в реку боли  
Ручей пролитых слез;  
Уснули девы в поле  
Среди увядших роз<sup>11</sup>.

Вроде поэзьякивания колокольцев, не больше. Но в 1920 году я бы ни за что такого не сказал. Почему мыльный пузырь обязательно лопается? Чтобы ответить на этот вопрос, надо принять во внимание внешние условия, благодаря которым становятся популярными те или иные авторы. Поначалу стихотворения Хаусмена не привлекли к себе внимания. Что же оказалось в них столь близким именно для поколения, родившегося на рубеже веков?

Прежде всего, Хаусмен «сельский» поэт. Его стихи наполнены очарованием заброшенных деревень, носталь-

---

<sup>11</sup> Перевод этого стихотворения Хаусмена и других стихотворных произведений, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежит А. Кабалкину.

гией, вызываемой именами всех этих Клантонов, Кланбе-ри, Найтонов, Ладлоу, «Венлок Эдж», «Раз летом на Бре-доне», соломенными крышами и кузнечными горнами, разливами цветочных лугов, «голубизной холмов дале-ких». Вся английская поэзия 1910–1925 годов, если не считать стихов о войне, обращена к деревне. Причина, не-сомненно, в том, что наемный люд навсегда утрачивал действительно живую связь с землей; но тогда в гораздо большей степени, чем сейчас, были распространены сно-бистские взгляды, требовавшие похвалиться близостью к деревне и презрением к городу. Англия того времени вряд ли была более сельской страной, чем сегодня, но легкая промышленность еще не начала расползаться, и считать страну сельской было легче. Большинство ребят из сред-него класса росли неподалеку от фермы, и естественно, им была близка живописная сторона сельской жизни — пашни, страда, молотьба и прочее. Пока сам этим не зани-маешься, трудно почувствовать, какая это нудная и тяже-лая работа — полоть турнепс или доить в четыре часа у-тра коров, у которых задубело вымя. Время непосредствен-но перед войной, сразу после нее, да и время войны тоже было золотым веком «певцов природы», zenитом славы Ричарда Джеффриса<sup>12</sup> и У. Г. Хадсона<sup>13</sup>. «Грентчестер» Ру-перта Брука<sup>14</sup>, стихотворение, гремевшее в 1913 году, бы-ло всего лишь бурным всплеском любви к природе, водо-падом названий деревень, словно извергшимся из автора. Как поэтическое произведение «Грентчестер» не просто никчемно — значительно хуже, но это ценный документ, иллюстрирующий мир чувств думающей молодежи тог-дашнего среднего класса.

Однако поэзия Хаусмена не исчерпывается сенти-ментальным воспеванием розочек в духе субботних вдох-новений, отличавшем Брука и остальных. Деревенский

<sup>12</sup> *Ричард Джеффрис* (1848–1887) — английский натуралист, романист.

<sup>13</sup> *Уильям Генри Хадсон* (1841–1915) — английский натуралист, писа-тель.

<sup>14</sup> *Руперт Брук* (1887–1915) — английский поэт.

мотив, постоянно присутствующий в ней, — это только фон. В его стихах чаще всего есть нечто вроде героя, эта-кого идеализированного селянина, осовремененного пер-сонажа из Стрефона и Коридона. Уже одно это располага-ло к его стихам. Опыт свидетельствует, что люди, пропи-тавшиеся городской цивилизацией, любят почитать о селянах (ключевое понятие — «близкие к земле»), ибо во-ображают, что те примитивнее и непосредственнее, чем они сами. Отсюда и приземленный роман Шейлы Кей-Смит<sup>15</sup>, и многое другое. Молодой человек того времени, с его сельскими пристрастиями, охотно отождествлял себя с теми, кто трудится на земле, и никогда — с обретающи-мися в городе. Сколько юношей воображали себе лишен-ного всяких пороков пахаря или кочевника, охотника, лесника, — это непременно дикий, свободный весельчак, непоседа, жизнь которого заполнена ловлей кроликов, петушиными боями, скачками, пивной и любовными приключениями. «Вечная благодать» Мейсфилда<sup>16</sup>, еще одно ценное свидетельство эпохи, пользовавшаяся среди юнцов громадной популярностью во втором десятиле-тии нашего века, знакомит нас с той же картиной, но вы-полненной грубыми мазками. Однако Морисов и Терен-сов Хаусмена можно было принимать всерьез, чего не скажешь о Соле Кейне Мейсфилда; в этом смысле Хаус-мен — тот же Мейсфилд, но с примесью Феокрита. Да и тематика у него юношеская — убийство, самоубийство, несчастная любовь, ранняя смерть. Он описывает обык-новенные, легко понятные невзгоды, создавая чувство, что прикоснулся к коренным явлениям жизни:

Под жарким солнцем на лугу  
Густая кровь блестит;  
Мой нож у Мориса в боку  
По рукоять сидит.

<sup>15</sup> *Шейла Кей-Смит* (1888–1956) — английская романистка.

<sup>16</sup> *Джон Мейсфилд* (1878–1967) — английский поэт, драматург и рома-нист.

---

Или:

Теперь мы в Шрусберской тюрьме,  
И поезда всю ночь  
Гудят, горюя обо мне,  
Не в силах мне помочь.

Один и тот же мотив с незначительными вариациями. Все рушится: «В тюрьму отправят Нэда, а Дика — на погост». Обратите внимание на острую жалость к себе («меня никто не любит»):

Под стать алмазам росы  
На луговой траве,  
Как утренние слезы —  
Да только не по мне.

Плохо дело, старина! Можно подумать, что стихи предназначались специально для подростков. Их неизменный пессимизм в том, что касается дел сердечных (девушка либо умирает, либо выходит замуж за другого), казался подлинной мудростью парням, изнывавшим в постылых интернатах и смотревшим на женщин, как на недостижимые существа. Сомневаюсь, чтобы Хаусмен столь же сильно притягивал и девушек. В его стихах чувства женщины полностью игнорируются, она в них не более чем нимфа, сирена, не столько человек, сколько коварный эльф-поводырь, которому доверяешься, не зная, что он исчезнет на полдороге.

Но Хаусмен не оказался бы столь глубоко созвучен мироощущению тех, кто был молод в 1920 году, если бы не еще одно свойство его поэзии — неожиданным образом она предстает кощунственной, антиномийной и не лишеной цинизма. Традиционный антагонизм поколений особенно обострился в конце мировой войны, — отчасти из-за самой войны, отчасти под косвенным воздействием русской революции интеллектуальные баталии сделались напряженными. Благодаря спокойствию и надежности,

---

присущим английской жизни, всерьез не потревоженной даже войной, многие из тех, чье мировоззрение сформировалось в 80-х годах предыдущего века, а то и раньше, сохранили его в неприкосновенности до 20-х годов нашего столетия. В сознании же молодого поколения официальные догмы рушились, как замки на песке. Религиозность, например, убывала на глазах. За несколько лет трения между молодыми и старшими переросли в нескрываемую ненависть. Остатки прошедшего войну поколения, выжившие в боине, обнаружили, что старшие продолжают верить в лозунги 1914 года, а младших, совсем юнцов, удушают учителя-холостяки, изъеденные пороком. Именно их и захватил Хаусмен, в чьих стихах им виделся сексуальный бунт и личные счеты с Богом. Да, в этих стихах был патриотизм, но безвредный, старомодный, цвета мундиров королевской гвардии, а не стальных касок, на мотив «Боже, храни королеву», а не «Кайзера на виселицу». Они были в должной степени антихристианскими — Хаусмен воспевал некое озлобленное, дерзкое язычество, убежденный в том, что жизнь коротка, и боги не на нашей стороне, а это полностью отвечало преобладающему настроению молодежи; к тому же восхитительная хрупкость строк, состоящих почти из одних односложных слов...

Я говорю о Хаусмене так, будто он был заурядным пропагандистом, слагавшим сентенции и строки для последующего цитирования. Конечно, в нем было не только это. Не станем недооценивать его теперь только потому, что его переоценивали несколько лет назад. Пусть сегодня это вызовет возражения, но кое-каким стихам Хаусмена («Вползает в сердце гибель» или «Пашет ли упряжка») не суждено долго пребывать в забвении. Но, в сущности, приязнь или неприязнь к автору всегда зависит от направленности его творчества, от его «цели», от выраженного им «смысла». Лучшее свидетельство этому — насколько трудно обнаружить литературные достоинства в книге, которая всерьез покушается на ваши убеждения. Да ни одна книга и не бывает вполне нейтральной. Та или

иная тенденция всегда различима, будь то в поэзии или в прозе, пусть даже она исчерпывается выбором формы и образности. С поэтами же, добившимися, подобно Хаусмену, широкой популярности, дело обстоит проще простого — ведь они, как правило, отчетливо афористичны.

После войны, после Хаусмена и «певцов природы», возникла группа писателей совершенно иного направления — Джойс, Элиот, Паунд, Лоуренс, Уиндем Льюис, Олдос Хаксли, Литтон Стрейчи<sup>17</sup>. В середине и в конце 20-х годов они составили «движение» в той же степени, в какой группа Одена–Спендера<sup>18</sup> является «движением» в последние годы. Правда, не все одаренные писатели этого периода могут быть отнесены к одной и той же категории. Скажем, Э.М. Форстер<sup>19</sup>, написавший свою лучшую книгу в 1923 году или около того, принадлежал довоенной эпохе, ни один из периодов творчества Йейтса также не отмечен характерной печатью 20-х годов.

Такие жившие в ту пору писатели, как Мур, Конрад, Беннет, Уэллс, Норман Дуглас<sup>20</sup>, сказали все, что могли еще до того, как разразилась война. Кроме того, к этой группе следовало бы отнести и Сомерсета Моэма, хотя в строго литературном смысле он ей не принадлежит. Конечно, даты тут приблизительны; большинство этих писателей публиковали книги и до войны, но к послевоенным их можно причислить с не меньшим основанием, чем к послекризисным — более молодых авторов, пишущих сегодня. Читая литературную прессу того времени, вполне можно было не заметить того обстоятельства, что названные авторы составляют «движение». Более чем когда-ли-

<sup>17</sup> *Литтон Стрейчи* (1880–1932) — английский биограф и эссеист.

<sup>18</sup> *Уистен Хью Оден* (1907–1973) — английский поэт. Стивен Спендер (род. 1909) — английский поэт, критик.

<sup>19</sup> *Эдуард Морган Форстер* (1879–1970) — английский писатель. Речь идет о его романе «Путь в Индию».

<sup>20</sup> *Джордж Мур* (1852–1933) — англо-ирландский романист и драматург. *Джордж Норман Дуглас* (1868–1952) — английский романист и эссеист.

бо, тогдашние критики, блиставшие в ту пору на ниве литературных обзоров, изо всех сил делали вид, будто предыдущее поколение еще не сказало последнего слова. Сквайр правил «Лондон Меркьюри»<sup>21</sup>, в платных библиотеках нарасхват шли Гиббс и Уолпол<sup>22</sup>, царил культ жизне-радостности и мужественности, пива и крикета, трубок из вереска и моногамии, а заработать гинею-другую статейкой, высмеивающей «высоколобых», можно было всегда. Но молодежь покорили именно презренные «высоколобые». Ветер, зародившийся на просторах Европы и долетевший до Англии, задолго до 1930 года сорвал покровы с этой школы крикета и пивной, оставив ей для прикрытия одни дворянские титулы.

Но первое, что обращает на себя внимание, если присмотреться к группе писателей, которых я назвал, — это то, что они вовсе не походят на группу. Более того, некоторые из них решительно отвергли бы утверждения о своем родстве с другими. Лоуренс и Элиот питали друг к другу антипатию, Хаксли боготворил Лоуренса, но Джойса отвергал, остальные в большинстве своем поглядывали свысока на Хаксли, Стрейчи и Моэма, а Льюис нападал на всех поочередно, и его писательская репутация во многом определена этими нападками. И все же между ними существует органическое сходство, представляющееся теперь достаточно ясным, хотя лет десять назад его можно было не заметить. Они объединены пессимистическим мировоззрением. Следует только уточнить, что имеется в виду под «пессимизмом».

Если лейтмотивом поэзии георгианцев была красота природы, после войны лейтмотивом стало трагическое жизнеощущение. Стихотворения Хаусмена, например, отнюдь не трагичны, в них только сетования гедониста, ис-

<sup>21</sup> Английский литературный журнал, издавался *Дж. Сквайром* с 1919 по 1934 год.

<sup>22</sup> *Филип Гиббс* (1877–1962) — английский писатель, журналист, издатель. *Хорас Уолпол* (1717–1797) — английский писатель. Автор первого готического романа «Замок Отранто».

---

пытывающего разочарование. Так же обстоит дело и с Гарди, за исключением его «Династов». Группа же Джойса–Элиота появилась позже, и ее главным противником был уже не пуританизм; с самого начала они «постигали суть» всего того, что их предшественники еще только пытались утвердить как норму. Все они с безоговорочной враждебностью относились к понятию «прогресс», будучи убежденными в том, что прогресса не только нет, но и быть не должно. Сходясь в этом, названные мною писатели, конечно, отличаются друг от друга и по существу взглядов, и по значительности таланта. Пессимизм Элиота — это отчасти христианский пессимизм, подразумевающий известного рода безразличие к людским горестям, а отчасти питаемый горечью при виде упадка западной цивилизации («Мы полые люди, мы чучела, а не люди» и т. д.) — в своем роде чувство, возникающее в эпоху, когда настали сумерки богов, и оно-то позволило ему в «Суинни-агонисте» совершить почти невозможное, представив современную жизнь еще хуже, чем она есть. У Стрейчи это просто благопристойный пессимизм XVIII века, наложившийся на пристрастия к разоблачениям. У Моэма — стоическое отречение, твердость высокомерного европейца-сагиба, который где-нибудь восточнее Суэца исполняет — в подражание кому-нибудь из Антониев — свой долг, сам не веря, что это необходимо. Лоуренс на первый взгляд не кажется пессимистом, ибо он, подобно Диккенсу, человек настроения и не устает повторять, что современная жизнь выглядела бы нормальной, если только взглянуть на нее немного не так, как принято. Но он требует отказа от нашей механической цивилизации, а этого никогда не произойдет. И вот, разочаровавшись в настоящем, он принимается идеализировать прошлое, а именно безопасно мифический бронзовый век. Когда Лоуренс предпочитает нам этрусков (своих этрусков), с ним трудно не согласиться, однако, в конечном счете, это вид пораженчества, поскольку мир движется совершенно в ином направлении. Жизнь, которую он вечно восхваляет, жизнь, сосредоточенная вокруг

---

простых таинств — любви, земли, огня, воды, крови, — всего лишь проигранное дело. И поэтому у него осталось только желание, чтобы все происходило так, как происходит определенно не будет. «Волна великодушия или волна смерти», — заклинает он, но по нашу сторону горизонта волн великодушия явно не наблюдается. И Лоуренс бежит в Мексику, где умирает в возрасте сорока пяти лет — несколькими годами раньше, чем поднялась волна смерти. Я снова толкую об этих людях так, будто они не художники, а заурядные пропагандисты, всё подчиняющие своей «проповеди». Скажу еще раз: на самом деле они куда значительнее. Было бы абсурдом, например, сводить «Улисса» только к изображению ужасов современной жизни, «грязной эры “Дейли мейл”», по выражению Паунда. Ведь Джойс в гораздо большей степени «чистый художник», чем большинство писателей. Но «Улисса» не мог бы написать человек, лишь смакующий слова и их сочетания. Это выражение особого взгляда на жизнь, взгляда католика, утратившего веру. Джойс словно восклицает: «Вот вам жизнь без Бога. Только посмотрите, как она ужасна!» — и все его технические нововведения, как бы важны они ни были, служат, прежде всего, этой цели.

Но у всех этих писателей существенно то, что их «главная идея» всегда далека от реально происходящего. Они безразличны к насущным проблемам современности, их совершенно не занимает политика в узком смысле слова. Нашему вниманию предлагаются Рим, Византия, Монпарнас, Мексика, этруски, подсознание, солнечные дали — что угодно, только не те точки, где разворачиваются горячие события. Самое поразительное в 20-х годах то, с какой последовательностью отворачивалась английская интеллигенция от всех действительно важных событий в Европе. Например, история русской революции от смерти Ленина до голода на Украине абсолютно не затронула английское сознание. Все эти годы Россия означала только одно: Толстой, Достоевский и бывшие графы за рулем таксомоторов. Италия — это картинные галереи, развалины, соборы и му-

---

зеи, как будто в ней нет никаких чернорубашечников. Германия — это фильмы, нудизм и психоанализ, но не Гитлер, о котором до 1931 года никто и не слыхивал. В «культурных кругах» верность принципу «искусство для искусства» доходила до поклонения бессмыслице. Считалось, что литература — это не более чем манипулирование словами. Оценивать книгу по ее содержанию стало непростительным грехом, и даже касаться ее содержания означало проявить дурной вкус. Году в 28-м в «Панче» появилась одна из трех по-настоящему смешных шуток за все время после мировой войны: охваченный нетерпением молодой человек сообщает своей тетушке, что намеревается «писать». «О чем же ты собираешься писать, милый?» — интересуется та. Следует уничтожающий ответ: «Дорогая тетушка, пишут не о чем-то, а просто так». Лучшие писатели 20-х годов под этой декларацией не подписались бы, их «главная идея» чаще всего совершенно ясна, но она, как правило, исчерпывается проблемами морали, религии и культуры. Если же ее перевести на язык политики, выяснится, что в ней нет и следа «левизны».

Все писатели этой группы в большей или меньшей степени консерваторы. Льюис, например, годами самозабвенно выслеживал демона «большевизма», умея обнаружить его присутствие в самых неподобающих местах. Недавно он несколько пересмотрел свои взгляды, ужаснувшись, видимо, как обращается с людьми искусства Гитлер, но можно ручаться, что слишком далеко «влево» он не пойдет. Паунд, как видно, решительно отдал свои симпатии фашизму, по крайней мере, его итальянской разновидности. Элиот пока остается в стороне, но если под дулом пистолета заставить его выбирать между фашизмом и какой-то более демократичной формой социализма, он, скорее всего, выберет фашизм. Хаксли сначала переболел традиционным отчаянием, затем, увлекшись лоуренсовским «темным нутром», попробовал «Поклонение жизни» и, наконец, сделался пацифистом — устойчивая позиция, а в наши дни даже достойная уважения, но в

---

долговременной перспективе, видимо, ведущая все-таки к неприятию социализма. Заметно и то, что большинство писателей этой группы питают нежные чувства к католической религии, хотя правоверному католику эта их нежность пришлась бы не по вкусу.

Духовное родство пессимизма и реакционных воззрений вполне очевидно. Менее очевидно другое — почему ведущие писатели 20-х годов оказались пессимистами. Отчего эти упадочнические чувства, ощущение гибели и пустыни, тоска по утраченной вере и несуществующим цивилизациям? В конечном итоге, не оттого ли, что эти люди творили в эпоху исключительного комфорта? Именно в такие времена и расцветает «вселенская скорбь». На пустой желудок не станешь отчаиваться во Вселенной, потому что просто не до нее. Весь период, начиная с 1910-х до 1930-х годов, был эпохой процветания, и даже война не принесла особенных физических лишений тем, кому не пришлось сражаться на фронте. Что до 20-х годов, то они и вовсе были золотым веком для интеллектуалов-рантье, временем невиданной доселе беспечности. Кончилась война, еще не появились новые тоталитарные государства, сняты всевозможные моральные и религиозные табу, а кошельки туго набиты. В моду входит «утрата иллюзий». Каждый располагавший годовым доходом в 500 фунтов стерлингов сделался «высококолым» интеллектуалом, старательно приучавшим себя к *taedium vitae*<sup>23</sup>. И началась пора надмирности или безумия, дешевого отчаяния, периферийного гамлетизма, билетов со скидкой на обратный путь после странствия по «краю ночи». Некоторые не лучшие, но характерные романы того времени, например «Рассказанная идиотом»<sup>24</sup>, до того насыщены разочарованием и жалостью к себе, что ощущение такое, словно находишься в турецкой бане. И даже лучших писателей той поры можно упрекнуть в чрезмер-

---

<sup>23</sup> Отвращение к жизни (*лат.*).

<sup>24</sup> Роман английской писательницы Розы Макоули (1881–1958).

---

ном олимпийском спокойствии, слишком легкой готовности умыть руки, отрешившись от насущных проблем.

Они воспринимают жизнь аналитически, намного более аналитически, чем их предшественники, и те, кто шел за ними следом, только рассматривают ее через неисправный телескоп. Не то чтобы это вредило самим их книгам. Любое произведение искусства испытывается его способностью жить во времени; совершенно ясно, что многое из написанного с 1910 по 1930 год выжило и будет, видимо, жить дальше. Достаточно вспомнить «Улисса», «Время страстей человеческих»<sup>25</sup>, большую часть ранних произведений Лоуренса, особенно рассказы, и почти все стихотворения Элиота вплоть до 1930 года. Окажется ли хоть что-то создаваемое сегодня столь же долговечным?

Но в 1930–1935 годах стряслось нечто неожиданное. Литературный климат меняется. О себе заявляет новая группа писателей — Оден, Спендер и другие, и хотя в технике они кое-что позаимствовали у своих предшественников, у них обозначилось совершенно иное «направление». Мы негаданно вырываемся из состояния, когда ощущали сумерки богов, и попадаем в обстановку лагеря бойскаутов — голые коленки, хоровое пение. Типичной фигурой в литературе перестает быть культурный эмигрант, тяготеющий к церкви, его сменяет пытливый школьник, тяготеющий к коммунизму. Если лейтмотивом произведений 20-х годов было «трагическое видение», то у новых писателей им стало «серьезное намерение».

Различия между этими двумя школами подробно рассматриваются в книге Луиса Макниса<sup>26</sup> «Современная поэзия». Книга написана, конечно же, с точки зрения молодых авторов, которым в ней безоговорочно отдано предпочтение. Макнис, в частности, пишет: «Поэты «Новых автографов»\*, в отличие от Йейтса и Элиота, облада-

---

<sup>25</sup> Роман английского писателя *Сомерсета Моэма* (1874–1965).

<sup>26</sup> *Луис Макнис* (1907–1963) — английский поэт и критик.

\* Опубликованы в 1932 году.

---

ют духовными пристрастиями. Йейтс предлагал отвергнуть желания и неприятия; Элиот со скукой наблюдал чужие чувства, испытывая лишь жалость — из-за того, что не может быть вполне к ним безразличен... Напротив, всей своей поэзией Оден, Спендер и Дей-Льюис<sup>27</sup> заявляют, что у них есть свои желания, своя ненависть и что они убеждены — «чего-то следует желать, а что-то — ненавидеть». И дальше: «Поэты «Новых автографов» вернулись к идущей от греков жажде знания и определенности. Первое требование — иметь что сказать, второе — сказать это как можно лучше».

Иными словами, вновь заговорили о «назначении», а молодые писатели «обратились к политике». Я уже указывал, что Элиот и К° вовсе не так безучастны, как, видимо, полагает Макнис. Но он, в общем-то, прав, утверждая, что литература 20-х годов больше заботилась о стилистике и меньше — о содержании, чем теперешняя.

Ведущими фигурами этой новой группы стали Оден, Спендер, Дей-Льюис, Макнис, а кроме них сюда входят и многие другие писатели примерно той же направленности: Ишервуд, Джон Леманн, Артур Колдер-Маршалл, Эдуард Апворд, Алек Браун, Филип Хендерсон<sup>28</sup> и т. д. Как и раньше, я всех их объединяю по признаку общности «направления». Конечно, по таланту они очень один от другого отличаются. Но, сравнивая этих писателей с поколением Джойса–Элиота, удостоверяюсь, что намного легче представить их единой группой. Они близки по стилистике и почти неразличимы по взглядам, а их критические отзывы друг о друге, мягко го-

---

<sup>27</sup> *Сесил Дей-Льюис* (1904–1972) — английский поэт. Под псевдонимом *Николас Блейк* публиковал детективы.

<sup>28</sup> *Кристофер Ишервуд* (1904–1986) — английский прозаик. *Джон Леманн* (1907–1987) — английский поэт, издатель. *Артур Колдер-Маршалл* (род. 1908) — английский писатель, критик. *Эдуард Апворд* (род. 1903) — английский писатель. *Алек Браун* — английский литератор 30-х годов. *Филип Хендерсон* (1906–1977) — английский поэт, писатель, издатель.

---

воря, всегда снисходительны. Видные писатели 20-х годов прошли разную жизненную школу, лишь немногим из них выпало испытать муку стандартного английского образования (кстати, лучшие из них, за исключением Лоуренса, даже не были англичанами), многим пришлось какое-то время испытывать бедность, безвестность, а то и просто гонения. Молодые же писатели чуть ли не все до одного проделали знакомый путь: частная школа — университет — Блумсбери<sup>29</sup>. Те немногие среди них, кто вышел из пролетарской среды, рано утрачивали связь со своим классом — этому способствовали университеты, дававшие им стипендии, а затем лондонское «культурное общество», умеющее стереть любую индивидуальность. Характерно, что некоторые из входящих в эту группу писателей не только учились, но и учительствовали в частных школах. Несколько лет назад я назвал Одена «бесхарактерным Кипплингом».

Это не было определением, даваемым критикой, просто недоброжелательное замечание в пылу полемики; но куда деться от того факта, что у Одена, особенно в ранних вещах, то и дело распознается искусственное воодушевление сродни кипплинговскому «Если» или «Играй же, играй, ну, играй!» в стихах Ньюболта. Взять, например, такое стихотворение, как «Ты уезжаешь, что же, не пожалей». Ну просто напутственная речь командира отряда бойскаутов, минут десять по-мужски разъясняющего опасности мастурбации. Да, конечно, у Одена присутствует пародия, но наряду с ней — и непреднамеренное глубокое сходство. И неизменно отличающая почти всех этих писателей некая чопорность — симптом их самоуверенности. Отбросив «чистое искусство», они избавились от боязни насмешек, тем самым обретая более широкий горизонт. Присутствующее в марксизме провидение бу-

---

<sup>29</sup> Блумсбери — район в центре Лондона, по имени которого названа группа жившей и работавшей там интеллигенции — *Эдуард Морган Форстер, Вирджиния Вулф, Бертран Рассел, экономист Джон Мейнард Кейнс* и др.

---

дущего стало для них новой поэтической темой, которая сулит многое:

Мы ничто,  
Мы обретаемся  
Во тьме, где ждет нас гибель.  
Однако вспомни: в этой темноте  
Открылась нам высокая идея, —  
И светом ее будущее манит.  
(*Спендер, «Суд над судьями».*)

Но в то же время, окрасившись в марксистские тона, поэзия не приблизилась к массам. Даже со скидкой на различие эпох Оден и Спендер еще менее популярны, чем Джойс и Элиот, не говоря уже о Лоуренсе. По-прежнему многие современные писатели остаются вне, преобладающее течение не возникает. В середине и в конце 30-х годов Оден, Спендер и К° представляют это движение в той же степени, в какой в 20-х годах его представляли Джойс, Элиот и К°. И движутся они в направлении идеи, смутно определяемой словом «коммунизм». Еще в 1934–1935 годах в литературных кругах считалось бы эксцентрикой отсутствие некой степени «левизны». Между 1935 и 1939 годами коммунистическая партия обладала для любого писателя моложе сорока лет почти неодолимой притягательностью. То и дело приходилось слышать, что и вот этот «примкнул», как несколько лет назад, когда в моде был католицизм; то и дело становилось известно, что вот этот «обращен». Года три английская литература в основном своем потоке до той или иной степени контролировалась коммунистами. Как это могло случиться? И кстати, что это такое — «коммунизм»? Лучше начнем с ответа на второй вопрос.

Коммунистическое движение в Западной Европе началось как движение за насильственное свержение капитализма, но всего за несколько лет оно выродилось в инструмент внешней политики России. Вероятно, иначе не могло и быть, когда революционное брожение, после-

---

довавшее за мировой войной, стало затихать. Насколько мне известно, единственной толковой книгой об этом, существующей на английском языке, является «Коммунистический Интернационал» Франца Боркенау.

Собранные Боркенау факты еще нагляднее, чем его умозаключения, показывают, что коммунистическое движение никогда не пошло бы по этому пути, если бы в индустриальных странах существовали подлинные революционные настроения. Совершенно очевидно, что в Англии, например, их в прошлом не было. Малочисленность все экстремистских партий — лучшее тому доказательство. Поэтому вполне естественно, что английскому коммунистическому движению было суждено попасть под влияние людей, духовно раболепствующих перед Россией и не имеющих других целей, кроме манипулирования британской внешней политикой в русских интересах. Такую цель нельзя, разумеется, признать открыто, что и придает коммунистической партии ее своеобразие. Заметнее всех остальных те коммунисты, которые, по сути, являясь рекламными агентами России, выдают себя за международных социалистов. В спокойные времена можно носить маску без труда, но в периоды кризисов это делать труднее, ибо СССР отличается не большей щепетильностью во внешней политике, чем остальные великие державы. Альянсы, перемены курса и прочие повороты силовой политики приходится объяснять и оправдывать интересами мирового социализма. Стоит Сталину сменить партнеров, как приходится подавать «марксизм» в новой форме. Тут не обойтись без внезапных резких изменений «линии», чисток, разоблачений, систематического истребления книжек, излагающих политику партии, и так далее. Каждый коммунист должен быть постоянно готов пересмотреть свои самые фундаментальные убеждения или расстаться с партией. То, что еще в понедельник было безоговорочной истиной, ко вторнику может превратиться в гнусную ложь, и наоборот. За последние десять лет так случалось, по крайней мере, трижды. Оттого в любой за-

---

падной стране коммунистическая партия обречена на нестабильность и малочисленность. Ее постоянный костяк представлен узким кругом интеллектуалов, солидаризирующихся с русской бюрократией, и ненамного большим числом людей из рабочего класса, чья преданность Советской России не обязательно подкрепляется пониманием ее политики. Остальные то вступают в партию, то покидают ее при очередной смене «линии».

В 1930 году английская компартия была мелкой полулегальной организацией, основная деятельность которой заключалась в поношении лейбористов. Но к 1935 году изменилось лицо Европы, и соответственно изменилась политика «левых». Пришел к власти и стал вооружаться Гитлер; в России стали успешно выполняться пятилетние планы, и она вновь заняла место великой военной державы. Поскольку главными мишенями Гитлера явно были Великобритания, Франция и СССР, названным странам пришлось пойти на непростое сближение. Это означало, что английскому и французскому коммунисту надлежало превратиться в добропорядочного патриота и империалиста, то есть защищать все то, против чего он боролся последние пятнадцать лет. Лозунги Коминтерна из красных внезапно стали розовыми. «Мировая революция» и «социал-фашизм» уступили место «защите демократии» и «борьбе с гитлеризмом». 1935–1939 были годами антифашизма и Народного фронта, расцвета «Книжного клуба левых», когда красные герцогини и «прогрессивные» патриархи объезжали окопы на испанских фронтах, а Уинстон Черчилль стал любимцем «Дейли уоркер». С тех пор «линия», конечно, уже переменялась. Но для меня сейчас важно то, что именно в антифашистский период молодые английские писатели потянулись к коммунизму.

Схватка между фашизмом и демократией, конечно, сама по себе завораживала, но и без нее их обращению суждено было свершиться именно в это время. Любой понимал, что пришел конец добродушному капитализму, и наступила пора определенных перемен; в мире, каким он

---

был в 1935 году, практически не оставалось возможности сохранять политическую нейтральность. Но почему этих молодых людей поманило нечто столь далекое, как российский коммунизм? Что может привлечь писателя в таком социализме, при котором интеллектуальная честность исключена? Объясняется все это фактом, ставшим реальностью еще до кризиса, до Гитлера: незанятостью среднего класса.

Незанятость — это не просто безработица. Большинство может найти какую-то работу даже в худшие времена. Беда в том, что на исходе 20-х годов не существовало ничего, кроме разве науки, искусства и «левого» политического движения, во что смог бы уверовать мыслящий человек. Упадок западной цивилизации достиг апофеоза, и разочарование становилось повсеместным. Кто теперь мог надеяться прожить жизнь так, как это было принято у среднего класса раньше: солдатом, священником, биржевым маклером, колониальным чиновником и т. п.? Какие ценности из тех, в которые свято верили наши деды, можно было теперь принимать всерьез? Патриотизм, религия, империя, семья, святыня брака, чинная солидарность, продолжение рода, воспитание, честь, дисциплина — теперь каждый в мгновение ока мог поставить всё это под сомнение. Но к чему приходишь, отвергнув такие непреложности, как патриотизм и религия? Ведь потребность верить во что-то все равно не исчезает. Несколькими годами ранее уже забрезжила ложная заря — тогда многие молодые интеллектуалы, в том числе и очень одаренные писатели (Ивлин Во, Кристофер Холлис<sup>30</sup> и другие) потянулись в лоно католической церкви.

Показательно, что именно римско-католической церкви, а не англиканской, православной, не в протестантские секты. Их манила церковь, обладающая во всем мире своими организациями, дисциплиной, властью и авторите-

---

<sup>30</sup> Морис Кристофер Холлис (1902–1977) — английский писатель.

---

том. Обратите внимание, что единственный из новообращенных, кто наделен поистине крупным талантом, Элиот, избрал не римскую, а англо-католическую церковь, этот религиозный аналог троцкизма. Не думаю, что нужно и дальше отыскивать причину притягательного воздействия коммунистической партии на молодых писателей 30-х годов. Эта идея была из тех, в которые можно верить. Вот оно, все сразу — и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а — года с 35-го — еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отрекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава — все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель — все в одном слове: Сталин. Бог — Сталин, Дьявол — Гитлер. Рай — Москва, Ад — Берлин. Никаких оттенков. «Коммунизм» английского интеллектуала вполне объясним. Это патриотическое чувство личности, лишенной корней.

Но есть кое-что еще, способствовавшее культуре России среди английской интеллигенции в последние годы, — спокойствие и надежность самой английской жизни. При всех социальных несправедливостях Англия остается страной, где уважают неприкосновенность личности, и подавляющее большинство англичан не испытало на себе ни насилия, ни беззакония. Выросшему в такой атмосфере совсем не просто представить, что такое деспотический режим. Едва ли не все ведущие писатели 30-х годов принадлежали к мягкотелому, при всей эмансипированности, среднему классу, они были слишком молоды в годы мировой войны, чтобы она их обогатила необходимым опытом. Для людей этого склада такие вещи, как чистки, тайная полиция, тюрьмы, казни без суда и прочее, слишком невинны, чтобы ужаснуться им. Они легко примиряются с тоталитаризмом, потому что не имеют никакого опыта, кроме либерального. Вот вам, например, отрывок из поэмы Одена «Испания» (кстати, одной из немногих достойных вещей, посвященных испанской войне):

---

Назавтра — юношам, как бомба, взрыв стихов,  
Прогулки у озера и единенье душ,  
И гонки велосипедов  
На городских окраинах. Сегодня же борьба.

Мы добровольно повышаем шансы смерти,  
Принимаем вину в неизбежных убийствах;  
Сегодня — трата сил  
На однодневки брошюр и на выступления.  
(Перевод *М. Зенкевича*.)

Вторая строфа содержит краткую формулу поведения преданного члена партии. С утра — пара политических убийств, десятиминутный перерыв, чтобы подавить «буржуазные» угрызения совести, обед на скорую руку, заполненный делами остаток дня, и под вечер — надо писать мелом лозунги на стенах, надо раздавать листовки. Весьма возвышенные занятия. Но обратите внимание на то, что шансы смерти «мы добровольно повышаем». Так мог написать только человек, для которого убийство — фигура речи, и не более. Лично я не мог бы бросаться такими словами с легкостью. Мне довелось во множестве повидать убитых — не погибших в бою, а именно жертв убийства. И у меня есть кое-какое представление о том, что означает убийство, — это ужас, ненависть, рыдания родственников, вскрытие, кровь, зловоние. Для меня убийство — нечто такое, чего допускать нельзя. Как и для любого нормального человека. Гитлеры и сталины считают убийство необходимостью, но и они не похваляются своей задубелостью, не говорят напрямую, что готовы убивать: появляются «ликвидация», «устранение» и прочие успокоительные эвфемизмы. Аморальность, демонстрируемая Оденем, возможна лишь при том условии, что в момент, когда спускается курок, такой аморалист находится в другом месте. Интеллектуальная «левизна» — своего рода заигрывание с огнем в неведении, что он обжигает. Военственный пыл английской интеллигенции в 1935–1939 годах распался во многом от ощущения личной безопасности. Совсем не так

---

рассуждали французы, которым не столь легко уклониться от военной службы, поскольку даже их литераторам известно, как тяжел солдатский ранец.

Новая книга Сирила Конолли «Враги надежды»<sup>31</sup> заканчивается интересным и характерным рассуждением.

Первая часть книги содержит более или менее основательную оценку сегодняшней литературы. Конолли принадлежит как раз к писателям «движения», чьи ценности, за некоторыми вычетами, — и его ценности. Любопытно, что среди прозаиков его восхищение вызывают в основном те, кто специализируется на насилии, — суровость американской школы, Хемингуэй и т.п. Однако дальше книга становится автобиографичной, и в ней с удивительной точностью изображается жизнь частной приготовительной школы, а также Итона в 1910–1920-е годы. В заключение Конолли пишет: «Если обобщить чувства, с которыми я покидал Итон, то их можно назвать «теорией вечной юности». По этой теории опыт, приобретаемый мальчиками в крупных частных школах, настолько насыщен, что он подчиняет себе всю их жизнь, задерживая всякое развитие».

Прочитав эту фразу, испытываешь естественное желание найти опечатку. Тут, наверное, пропущено «не», ведь так? Да нет, решительно нет! Он именно это и хотел сказать! Более того, он говорит правду, хотя и вывернутую наизнанку. Жизнь «культурного» среднего класса до того изнежена, что обучение в частной школе, эти пять лет барахтанья в анемичном снобизме, и впрямь воспринимаются как полное событий время. Что же другое выпало испытать писателям, о которых заговорили в 30-е годы, кроме описанного Конолли во «Врагах надежды»? Одно и то же в неизменной последовательности: частная школа, университет, несколько поездок за границу, Лондон. А вот год, невзгоды, одиночество, изгнание, война, тюрьма, пре-

---

<sup>31</sup> *Сирил Конолли* (1903–1974) — английский публицист, критик, переводчик.

---

следование, тяжкий труд — это для них неведомые понятия. Не удивительно, что многочисленное племя, известное как «правильные левые», с такой легкостью принимает все чистки, ОГПУ и кошмары русских пятилеток. Они были фантастически не способны понять, что все это значит.

К 1937 году вся интеллигенция вовлеклась в идейные распри. «Левая» мысль сузилась до антифашизма, то есть до отрицания, и обрушился поток пропитанной ненавистью литературы, которая обличала Германию и политиков, заподозренных в расположении к ней. В испанской войне меня больше всего ужаснуло не насилие, свидетелем которого я стал, даже не партийные междоусобицы за спиной у сражающихся, а мгновенно возродившаяся среди «левых» кругов атмосфера, которая господствовала в годы мировой войны. Те самые люди, которые двадцать лет подряд насмехались над военной истерией, демонстрируя, насколько они выше ее, первыми ринулись возрождать духовное иступление 1915 года. Весь привычный идиотизм военного времени — шпиономания, подозрительность к неблагонадежным (присмотримся, да вправду ли он антифашист), лавина жутких историй про жестокости — все снова вошло в моду, будто и не минуло двадцатилетие. Еще до завершения войны в Испании, даже до Мюнхена, лучшие из «левых» писателей начали терзаться сомнением. Ни Оден, ни даже Спендер не написали об Испании так, как от них ожидалось. С тех пор настроение изменилось, наступило время тревоги и растерянности, ибо развитие событий сделало левую ортодоксию последних нескольких лет нелепостью. Но разве нужно было обладать большой проницательностью, чтобы разглядеть ее нелепость с самого начала? Поэтому нет никакой уверенности, что новая ортодоксия окажется лучше, чем только что похороненная.

Вся история литературы 30-х годов подтверждает, что писатель, сторонящийся политики, поступает правильно. Ведь всякий писатель, принимающий хоть целиком, хоть частично дисциплину, навязываемую членством в политической партии, рано или поздно оказывается перед

---

альтернативой: нарушить строй или прикусить язык. Можно, конечно, продолжать писать, даже нарушив строй; это в каком-то смысле естественно. Любой марксист сумеет без малейшего труда доказать, что буржуазная свобода мысли — не более чем иллюзия. Но, сколь ни стройны его доводы, останется психологическая реальность, заключающаяся в том, что без этой буржуазной свободы творческие силы иссыкают. В будущем может появиться тоталитарная литература, но это будет что-то такое, чего мы сейчас не в состоянии даже представить. Литература, которую мы знаем, — явление, в котором важнее всего индивидуальность, она требует честности и минимума цензуры. Для прозы это еще справедливее, чем для поэзии. Думаю, не простая случайность, что лучшие мастера слова в 30-е годы были поэтами. Атмосфера ортодоксальности всегда пагубна для прозы и уж совершенно нетерпима для романа — наиболее анархичной литературной формы. Много ли католиков были хорошими романистами? Даже горсточка тех, кто заслуживает такого названия, хорошими католиками обычно не бывали. Искусство романа — это, по сути дела, протестантское искусство, оно продукт вольного ума, независимой личности. За последние полтора века ни одно десятилетие не оказалось так скудно на художественную прозу, как 30-е годы. Были хорошие поэмы, удачные социологические исследования, блестящие статьи, но только не достойная восхищения художественная проза. Начиная с 1933 года, духовный климат все менее благоприятствовал ей. Любой человек, способный распознать *Zeitgeist*<sup>32</sup>, вовлекался в политику.

Не всякий, разумеется, участвовал в политических комбинациях, но практически все были, так или иначе, к ним причастны, становясь действующими лицами пропагандистских кампаний и втягиваясь в мелочную перепалку. Коммунисты и сочувствующие им обладали непропорционально большим влиянием в литературных журналах.

---

<sup>32</sup> Дух времени (нем.).

---

Наступило время ярлыков, лозунгов и тактических демаршей. В худшие моменты приходилось забиваться в угол и лгать без зазрения совести, в лучшие — добровольно подвергать себя самоцензуре. («Надо ли это говорить? Не прозвучит ли это профашистски?») Разве можно вообразить, чтобы в такой атмосфере родился хороший роман? Хорошие романы пишутся не ортодоксами, которыми владеет подозрительность, и не теми, кто испытывает угрызения совести по поводу своей неортодоксальности. Хорошие романы пишут люди, над которыми не властвует страх. Тут самое «время вернуться к Генри Миллеру.

### III

Сейчас не до новых литературных школ, иначе от Генри Миллера пошла бы очередная школа. Во всяком случае, от его прикосновения маятник качнулся в неожиданную сторону. Читающий его книги перестает ощущать себя «политическим животным», возвращаясь не только к индивидуалистическим, но и к совершенно пассивным настроениям, присущим тем, кто не видит возможности влиять на мировые процессы и не испытывает особенного желания осуществлять над ними контроль.

Я впервые встретился с Миллером в конце 1936 года, когда проезжал Париж по дороге в Испанию. Более всего меня озадачило в нем то, что он не испытывал никакого интереса к испанской войне. Не стесняясь сильных выражений, он заявил, что ехать сейчас в Испанию — это безумство. Еще понятно, продолжал он, когда туда стремятся из чисто эгоистических побуждений, движимые, например, любопытством, но ввязываться во все это из чувства долга — отъявленная глупость. Все мои идеи насчет борьбы с фашизмом, защиты демократии и т.п. — суший вздор. Наша цивилизация неминуемо будет сметена с лица земли, а на ее место придет что-то абсолютно невообразимое, лежащее за пределами человеческого, — такая перспектива, добавил он, его не тревожит. Это отношение повсюду заметно

---

и в его творчестве. Там то и дело распознается предощущение близости катаклизма, и так же сильно чувствуется безразличие автора к этому. Единственное его политическое заявление, о котором мне известно, носит чисто негативный характер. Примерно год назад американский журнал «Марксист квотерли» разослал ряду американских писателей анкету с вопросом об их отношении к войне. Ответ Миллера пропитан крайним пацифизмом: лично он воевать отказывается, хотя никого не станет убеждать, что прав, — по сути дела, декларация безответственности.

Однако безответственность по-разному проявляется. Как правило, писатели, которым не хочется, чтобы их поглотил развертывающийся у них на глазах исторический процесс, либо просто игнорируют его, либо ему противостоят. Те, которым удастся игнорировать, скорее всего, из породы слабоумных. Тем, кто в нем достаточно хорошо разбирается, чтобы противостоят, незачем растолковывать неизбежность их поражения. Взять хотя бы стихотворение «Заблудившийся бражник», где вышучивается «странный недуг современной жизни», а в последней строфе блестяще обосновывается благо поражения. Тут выражена укоренившаяся — а в последнее столетие, возможно, доминирующая в литературе — точка зрения. А по другую сторону стоят «прогрессивно настроенные» оптимисты вроде Шоу или Уэллса, всегда готовые отстаивать собственные прожекты, принимаемые ими за вполне осуществимое будущее. В большинстве писатели 20-х годов принадлежали к первой категории, а писатели 30-х — ко второй. Разумеется, в любой период найдется многочисленное племя всяких Барри, Дипингов и Деллов<sup>33</sup>, которые попросту не замечают, что творится вокруг них. Творчество Миллера симптоматично тем, что он отвергает все обозначенные мною позиции.

---

<sup>33</sup> Джеймс Барри (1860–1937) — английский писатель и публицист. Уорик Дипинг (1877–1950) — английский романист. Флойд Делл (1887–1969) — американский писатель.

---

Он не старается ни двигать мир вперед, ни тянуть его вспять и уж никак не довольствуется игнорированием происходящего вокруг. Я бы сказал, что его вера в надвигающийся крах западной цивилизации гораздо тверже, чем у большинства революционных писателей; но призвания предпринять какие-то действия, чтобы этому воспрепятствовать, он не чувствует. Он продолжает наигрывать на скрипке, когда Рим объят пламенем, но, в отличие от громадного большинства людей, он при этом не отворачивается от пожара.

В «Максе и белых фагоцитах» есть выразительный пассаж, где писатель многое открывает о себе самом, повествуя о других. В книгу включен длинный пассаж о дневниках Анаис Нин<sup>34</sup>, которых я никогда не читал, не считая нескольких фрагментов, и которые, кажется, вообще не публиковались.

Миллер утверждает, что это единственный правдивый образец женской литературы, что бы под нею ни подразумевалось. Интересен тот отрывок, где он сравнивает Анаис Нин — безусловно, крайне субъективного, погруженного в себя автора — с Ионой, проглоченным китом. Попутно Миллер ссылается на эссе о картине Эль Греко «Сон Филиппа II», написанное Олдосом Хаксли несколько лет назад. Хаксли замечает, что персонажи эльгрековских полотен всегда выглядят так, будто их проглотил кит; на взгляд Хаксли, сама мысль об этой «переваривающей тюрьме» должна вызывать какое-то особенное содрогание. Миллер пишет, что, напротив, есть вещи намного хуже, чем чрево кита, и дает понять, что ему самому мысль о пребывании в этом чреве представляется довольно-таки привлекательной. За этим стоит весьма распространенное заблуждение. Все, во всяком случае, те, для кого родным языком является английский, в один голос говорят об Ионе и ките. На самом деле проглотившее Иону существо было рыбой, ибо

---

<sup>34</sup> Анаис Нин (1903–1977) — американская писательница.

---

именно так его именуется Библия<sup>35</sup> (Книга пророка Ионы, 17), однако детям оно представляется китом, и эта ошибка остается на всю жизнь — признак той зачарованности, которой, видимо, поддается наше воображение, прикоснувшись к мифу об Ионе.

Очевидно ведь, что во чреве кита удобно и уютно, как дома. Исторический Иона, если можно о нем говорить, был рад, когда ему удалось выбраться из чрева, однако в воображении несчетного числа людей живет зависть к нему. И очень понятно почему. Брюхо кита — как просторная материнская утроба, в которой может укрыться взрослый человек. Здесь, в темноте, ему мягко и покойно, между ним и действительностью — толстый слой ворвани, и поэтому можно сохранять полнейшее безразличие, что бы ни происходило на свете. Пусть снаружи бушует ураган, разбивающий в щепки все линкоры мира, — сюда донесется лишь слабое эхо. Даже движения самого кита для пребывающего внутри останутся едва ощутимыми. Нежится ли он среди волн или устремляется в темную пучину моря (на глубину в целую милю, как утверждает Герман Мелвилл) — разница неощутима. Последняя, непревзойденная степень безответственности, дальше которой — только смерть. Не знаю, как Анаис Нин, но сам Миллер, безусловно, обосновался во чреве кита. Все лучшее, наиболее для него характерное написано с позиции Ионы, добровольно избравшего свою участь. И он вовсе не погружен в себя — как раз наоборот. Проглотивший его кит совершенно прозрачен. Просто обитатель китовой утробы не испытывает желания ни что-то менять в своем положении, ни как-то им управлять. Он совершил главный поступок — став Ионой, он дал проглотить себя, оставаясь безучастным, приемля свою участь.

Последствия такого выбора ясны. Итогом становится своеобразный квиетизм, подразумевающий либо полное неверие, либо глубокую веру, граничащую с мистицизмом. «Мне на все наплевать» или «Пусть он убьет меня — я все

---

<sup>35</sup> В русском переводе Библии говорится именно о ките.

---

равно верю в него» — разница невелика, а с практической точки зрения, ее и вовсе не существует, поскольку мораль остается той же — «сиди и не высовывайся». Но разве в наше время такую позицию можно оправдать? Красноречив сам факт, что этот вопрос возникает непременно. Мы сейчас считаем само собой разумеющимся, что книги должны быть позитивными, серьезными, конструктивными. Лет двенадцать назад эта мысль вызвала бы одни насмешки: «Дорогая тетушка, пишут не о чем-то, а просто так». Потом от легкомысленного представления, что искусство есть чистая стилистика, маятник качнулся в противоположную сторону, но уже слишком резко, и теперь утверждают, что «хороша» лишь книга, основывающаяся на «правильном» восприятии жизни. Естественно, что люди, верящие в это, верят и в то, что сами они обладают истиной. Критики-католики склонны, например, заявлять, что «хороши» только книги с католической направленностью. Критики-марксисты утверждают то же самое, только понапористее, о марксистских книгах. Вот что пишет, например, Эдуард Апворд (статья «Марксистская интерпретация литературы» в книге «Скованный разум»): «Марксистская критика, намеренная оставаться марксистской, должна... твердо заявить, что ни одна книга, написанная в настоящее время, не может быть хорошей, если она не написана с марксистских или близких к марксизму позиций».

Такие же или схожие заявления делают и другие писатели. Апворд подчеркивает слова «в настоящее время», понимая, что нельзя отвергать, скажем, «Гамлета» на том основании, что Шекспир не был марксистом. Однако в его любопытном эссе эта трудность затрагивается лишь походя. Большая часть литературы, доставшейся нам от прошлого, пронизана верой, зиждется на вере (например, в бессмертие души), которая теперь представляется нам ложной, а иногда и невероятно плоской. И все же это «хорошая» литература, коль скоро она выдержала испытание временем. Апворд, несомненно, возразил бы, что вера, много веков назад соответствовавшая своей эпохе, может уста-

---

ревать и превращаться в обременительный анахронизм. Но это не продвинет нас далеко вперед, потому что тогда выходит, что в любую эпоху должен существовать определенный набор представлений, который с сегодняшней точки зрения стоит ближе всего к истине, и что лучшая литература каждой эпохи должна до той или иной степени гармонизировать с этими представлениями. На самом же деле такой гармонии не было и нет. Скажем, в Англии XVII века существовал религиозно-политический раскол, весьма и весьма схожий с сегодняшним антагонизмом между «левыми» и «правыми». Наш современник наверняка сочтет, что буржуазно-пуританская точка зрения была гораздо ближе к правде, чем феодально-католическая. Но не означает же это, что все или, по крайней мере, большинство лучших писателей того времени были пуританами. Более того, бывают «хорошие» писатели, чье мировоззрение в любую эпоху было бы признано ложным и смехотворным. Возьмем Эдгара Аллана По. Доброжелатель назвал бы его приверженцем безудержного романтизма, противник — безумцем почти в буквальном, клиническом смысле этого слова. Почему же тогда такие рассказы, как «Черный кот», «Сердце-обличитель», «Падение дома Эшеров», автора которых вполне можно было бы заподозрить в ненормальности, не создают впечатления фальши? Дело в том, что они правдивы в рамках своего причудливого мира, подчинены его правилам, подобно тому, как правдива, допустим, японская живопись. Но для того, чтобы сделать такой мир убедительным, в него надо верить. Достаточно сравнить рассказы По с «Полночью» Джулиана Грина<sup>36</sup>, где попытка создать такую же атмосферу, по-моему, остается искусственной; все различие обнаруживается незамедлительно.

Читая «Полночь», сразу чувствуешь, что происходящее лишено каких бы то ни было причин. Все подчинено произволу автора, но ни о какой эмоциональной обоснованности нет и речи. Но этого как раз никогда не скажешь

---

<sup>36</sup> *Джулиан Грин* (1900–1998) — франко-американский писатель.

---

о По. Его маниакальная логика, при всей ее причудливости, весьма убедительна. Когда, например, пьяница хватается черного кота за шиворот и перочинным ножом лишает его глаза, у читателя не возникает сомнений, отчего это происходит, причем до такой степени, что, кажется, он и сам сделал бы то же самое. Наверное, для настоящего творца владение истиной не так важно, как искренность чувств. Даже Апворд не стал бы утверждать, что писателю не нужно ничего, кроме марксистской подготовки. Нужен еще и талант. А талант, несомненно, определяется способностью переживать, по-настоящему верить, в чем бы ни заключалась вера — истинная или ложная. Отличие Селина от Ивлиана Во, например, заключается в разном эмоциональном накале. Так подлинное отчаяние отличается от отчаяния с изрядной долей обыкновенного притворства. Отсюда следует еще один вывод, который может показаться уже не столь очевидным: случается, что «ложные» убеждения по своей искренности превосходят «праведные».

Если обратиться к воспоминаниям о войне 1914–1918 годов, то нетрудно заметить, что почти все, что можно читать и по сей день, проникнуто пассивностью и отрицанием. Запечатлены полнейшая бессмыслица, кошмар, разыгрывающийся в пустоте. Правдой о войне это не назовешь, но это — правда личного впечатления от нее. Солдат, ползущий на пулеметный огонь или сидевший по пояс в воде в затопленной траншее, знал лишь одно: с ним происходит что-то ужасное, чему противиться он бессилён. Из этого чувства беспомощности и непонимания хорошая книга родится скорее, чем из претенциозного убеждения, будто человеку ведомо все происходящее и даже его последствия. Что касается книг, созданных непосредственно в ходе войны, то лучшие из них принадлежат перу тех, кто попросту отвернулся от всего, стараясь не замечать, что идет война. Э.М. Форстер пишет, что, читая в 1917 году «Пруфрока» и другие ранние стихи Элиота, был ободрен тем, что в такое время ему попались стихи, «свободные от всего, поглощавшего внимание общества»: «В них говори-

---

лось об отвращении и неуверенности, переживаемых вот этим человеком, о слабых, несовершенных и оттого живых людях... Это был протест, не громогласный, но подлинный именно из-за своей слабости... Тот, кто сумел, как бы позабыв обо всем, сетовать на повадки дам в гостиных, сберечь себе крупицу самоуважения, он сохранил то, что принадлежит всему человечеству».

Хорошо сказано. В своей книге, к которой я уже обращался, Макнис цитирует это место и довольно самоуверенно продолжает: «Спустя десять лет поэты протестовали уже не столь не громогласно, а принадлежащее человечеству охраняли по-другому... Созерцание мира, от которого остались одни обломки, приелось, и преемники Элиота стремились собрать его воедино».

Подобные замечания рассыпаны по всей книге Макниса. Он пытается убедить нас, что «преемники» Элиота (то есть сам Макнис и его друзья) «протестовали» с большей результативностью, чем Элиот в его «Пруфроке», появившемся в тот момент, когда армии союзников штурмовали линию Гинденбурга. Не знаю уж, где искать свидетельства эффекта, который возымели эти «протесты». Но контраст между замечаниями Форстера и Макниса вбирает в себя все различие между человеком, который знает, чем была та война, и тем, кто едва помнит ее. Правда состоит в том, что в 1917 году думающий, чувствующий человек не мог сделать ничего, кроме как оставаться, насколько возможно, человеком. И жесты, свидетельствующие о беспомощности, даже о беспечности помогали этому всего лучше. Если бы я был солдатом на мировой войне, я предпочел бы «Пруфрока» «Первым ста тысячам»<sup>37</sup> или «Письмам к парням в окопах» Горацио Боттомли<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Книга (1915) английского романиста и драматурга *Иэна Хейя* (1876–1952).

<sup>38</sup> *Горацио Боттомли* (1860–1933) — «друг солдата», издатель патристической газеты «Джон Булль» в годы первой мировой войны, член парламента. В 1922 году был осужден за мошенничество с облигациями.

---

У меня, как и у Форстера, было бы такое чувство, что, именно оставаясь в стороне и не порывая с предвоенной жизнью, Элиот сохраняет принадлежащее человечеству. Каким облегчением было бы в такое время прочесть о тревожностях стареющего интеллектуала, у которого наметилась плешина на макушке! После муштры с сомкнутыми штыками, после бомб, продуктовых очередей, вербовочных плакатов — человеческий голос! Что за облегчение!

Но если на то пошло, война 1914–1918 годов была всего лишь кульминацией практически непрерывного кризиса. Сегодня нам и без войны дано ощутить распад общества и растущую беспомощность тех, кто сохранил человеческое достоинство. Поэтому дух пассивности и неучастия, которым проникнуто творчество Генри Миллера, кажется мне оправданным. Независимо от того, отражает ли он то, что людям следует чувствовать, он, вероятно, близок к тому, что они чувствуют в действительности. Опять человеческий голос, который дошел до нас сквозь разрывы бомб, дружелюбный голос американца, «свободный от всего, поглощающего внимание общества». Никаких назиданий, одна субъективная правда. Скорее всего, лишь так и можно даже сейчас написать хороший роман. Такой роман не обязательно будет поучительным, но это будет достойное и запоминающееся чтение.

Пока я писал это эссе, в Европе вновь разразилась война. Либо она растянется на несколько лет и не оставит от западной цивилизации камня на камне, либо прервется, не принеся определенного результата и угрожая новой войной, которая покончит со всеми раз и навсегда. Но война — всего лишь «мир более сильными средствами». Совершенно очевидно, что на наших глазах независимо от войны рушится «снисходительный капитализм» и вся либерально-христианская культура. До последнего времени последствия этого явления трудно было предвидеть, поскольку все воображали, что социализм сохранит и даже упрочит либеральную атмосферу. Теперь же растет

---

осознание того, насколько ошибочны были эти представления. Почти несомненно, что мы вступаем в эру тоталитарных диктатур, в эпоху, когда свободная мысль сначала станет смертельным грехом, а потом — бессмысленной абстракцией. Независимая личность будет насильственно лишена прав на существование. А это означает, что литература в том виде, как мы ее знаем, обречена — по крайней мере, на время. Либеральной литературе приходит конец, а тоталитарная литература еще не возникла, да и вряд ли ее можно себе вообразить. Что до писателя, то он восседает на тающей льдине; он не более чем анахронизм, пережиток буржуазной эпохи, приговоренный, как гиппопотам, к неминуемому вымиранию. Миллер представляется мне незаурядным человеком в том смысле, что он разглядел и провозгласил эту неминуемость задолго до своих современников, более того — во времена, когда многие трубили о возрождении культуры. Несколькими годами ранее Уиндем Льюис сказал, что история английского языка в главных разделах уже написана, но он объяснял это другими, довольно тривиальными причинами. Отныне же фундаментальным обстоятельством для писателя становится тот факт, что этот мир создан не для писателей. Это не значит, что писателю не дано помогать становлению нового общества, только делать это он будет не как писатель. Ведь как писатель он остается либералом, а происходит не что иное, как крушение либерализма. И вероятно, что в годы, еще оставшиеся для свободной речи, всякий достойный внимания роман, так или иначе, будет создаваться в духе Миллера, — я подразумеваю не стилистику, не темы, а мироощущение автора. Предстоит возврат к пассивному созерцанию, только пассивность эта будет более осознанной, чем прежде. Прогресс, реакция — то и другое оказалось сплошным надувательством. И не остается, наверное, ничего, кроме квиетизма — способа защититься от кошмарной реальности простым подчинением ей. Забирайтесь во чрево кита — или признайте, что вы и так в нем находитесь (ведь так оно и есть). Отдайтесь на

---

волю процессов, происходящих в мире, откажитесь от борьбы с ними или от притворной уверенности, что они вам подвластны; просто примите их, живите ими и запечатлейте. Такова, видимо, формула, которой отныне будет следовать всякий чуткий к окружающему миру романист. Очень трудно вообразить сегодня более позитивный, конструктивный роман, при этом создающий ощущение эмоциональной подлинности.

Не хочу ли я этим сказать, что Миллер великий писатель, новая надежда англоязычной прозы? Вовсе нет. Сам Миллер никогда бы не притязал на подобный статус, даже не желал бы его. В том, что он будет писать и впредь, сомнений нет: тот, кто начал писать, «бросить перо» уже бессилён, а, кроме того, ему близки немало писателей примерно того же направления: Лоуренс Даррелл, Майкл Френкел<sup>39</sup> и другие — вот-вот можно будет заговорить о «школе». Сам же Миллер представляется мне писателем одной книги.

Думаю, рано или поздно он докатится до полной невнятицы или шарлатанства — в последнее время я вижу у него признаки и того, и другого. Его последнюю книгу «Тропик Козерога» я даже не прочёл. Не потому, что не захотел, а потому, что полиции и таможне пока удастся охранить меня от нее. Но я удивлюсь, если она окажется под стать «Тропику Рака» или первым главам «Черной весны». Подобно многим другим романистам, пишущим на автобиографическом материале, ему было предназначено создать одну хорошую книгу, что и сделано. Памятуя, какой была проза 30-х годов, это что-то да значит.

Книги Миллера печатает издательство «Обелиск Пресс» в Париже. Что станет с издательством теперь, когда идет война и его главы Джека Катейна уже нет в живых, я не знаю, но книги, во всяком случае, раздобыть по-

---

ка что можно. Я искренне советую тем, кто их еще не знает, прочесть хотя бы «Тропик Рака». Проявив изобретательность или чуть-чуть переплатив, вы сможете им обзавестись; и даже если какие-то места вызовут у вас отвращение, книга останется у вас в памяти. Это значительная книга, но не в том смысле, в каком обычно употребляют это слово. Как правило, романы называют значительными, если они содержат «страшные обвинения» или новые приемы письма. К «Тропику Рака» не применимо ни то, ни другое. Его значительность — в том, что этот роман — симптом времени. Миллер, по-моему, единственный сколько-нибудь крупный, наделенный воображением прозаик из всех, кого дали в последние годы миру народы, говорящие по-английски. Даже если мне возразят, что я переоцениваю его, нельзя не признать, что Миллер неординарный писатель, достойный серьезного внимания; вообще же, это совершенно негативный, неконструктивный, аморальный писатель, современный Иона, пассивно приемлющий зло, этакий Уитмен, прогуливающийся среди трупов. И одно это куда важнее, чем то обстоятельство, что в Англии выпускается по пять тысяч романов в год, из которых 4900 ровным счетом ничего не стоят. Это свидетельство того, что настоящая литература не может существовать, пока корчащийся в муках мир не примет нового обличья.

1940 г.

---

<sup>39</sup> Лоуренс Даррелл (1912–1990) — английский писатель, брат знаменитого натуралиста Джералда Даррелла. Майкл Френкел (1896–1957) — американский романист и поэт.

---

## Лев и Единорог: социализм и английский гений<sup>1</sup>

### Часть I: Англия, твоя Англия

#### I

В то время как я пишу, весьма цивилизованные люди летают над моей головой и пытаются меня убить.

Они не испытывают враждебности ко мне, как к индивиду, и я к ним тоже. Они, как говорится, «только выполняют свой долг». Большинство из них, не сомневаюсь, незлобивые, законопослушные люди, которым и в голову не придет совершить убийство в частной жизни. С другой стороны, если кому-нибудь из них удастся разнести меня на куски точно сброшенной бомбой, он сна из-за этого не лишится. Он служит своей стране, и она вправе отпустить ему грехи.

Увидеть современный мир таким, как он есть, нельзя, не осознав всепобеждающей силы патриотизма, национальной лояльности. В определенных обстоятельствах она ослабевает, на определенных уровнях цивилизации не существует, но как с *позитивной* силой, с ней не может сравниться ничто. Христианство и интернациональный социализм против нее — как соломинки. Гитлер и Муссолини захватили власть у себя в значительной степени потому, что осознали этот факт, а их противники — нет.

Кроме того, надо признать, что расхождения между нациями обусловлены реальной разницей в мировоззре-

---

<sup>1</sup> Лев и Единорог — геральдические животные на королевском гербе, представляют Англию и Шотландию.

---

нии. До недавнего времени полагалось делать вид, будто все люди очень похожи, но всякий, кому не отказало зрение, знает, что в среднем человеческое поведение сильно меняется от страны к стране. То, что может произойти в одной стране, не может произойти в другой. «Ночь длинных ножей», например, не могла бы произойти в Англии, а англичане сильно отличаются от других западных людей. Косвенный признак этого — нелюбовь почти всех иностранцев к нашему национальному образу жизни. Немногие европейцы примиряются с жизнью в Англии, и даже американцам часто бывает уютнее в континентальной Европе.

Когда возвращаешься в Англию из чужой страны, сразу возникает ощущение, что дышишь другим воздухом. Об этом тебе дают знать тысячи мелочей. Пиво горше, монеты тяжелее, трава зеленее, реклама крикливей. Толпа в большом городе — спокойные, угловатые лица, плохие зубы, мягкие манеры — отличается от европейской толпы. А потом огромность Англии доходит до вас, и на время вы теряете ощущение, что вся нация имеет единый, узнаваемый характер. Да и есть ли, действительно, такая вещь, как нация? Разве мы — не сорок шесть миллионов индивидуумов, очень разных? А разнообразие ее, а хаос! Стук деревянных подошв в промышленных городах Ланкашира, мчащиеся грузовики на магистрали Лондон–Эдинбург, очереди перед биржами труда, треск механических бильярдных в пивных Сохо, старые девы на велосипедах, едущие к заутрени в осеннем тумане — всё это не просто фрагменты, но характерные фрагменты английской жизни. Как сложить целое из этой неразберихи?

Но поговорите с иностранцами, почитайте иностранные книги или газеты и вы вернетесь к той же мысли — да, есть что-то особенное и своеобразное в английской цивилизации. Это культура, такая же самобытная, как в Испании. Почему-то она ассоциируется с плотными завтраками и хмурыми воскресеньями, дымными городами и извилистыми дорогами, зелеными полями и красными

---

почтовыми ящиками. У нее собственный аромат. Кроме того, она непрерывна, она простирается в будущее и в прошлое, что-то в ней не умирает, она сохраняется, как живое существо. Что общего у Англии 1940 года и Англии 1840-го? А что общего у вас с пятилетним ребенком, чью фотографию ваша мать держит на камине? Ничего, кроме того, что вы один и тот же человек.

И главное, это *ваша* цивилизация, это *вы*. Вы можете проклинать ее или смеяться над ней, но вдали от нее никогда не будете счастливы. Пудинги на сале и красные почтовые ящики запали вам в душу. Хорошее или плохое — это ваше, вы часть этого, и до гроба будете носить отметины, которые оно оставило на вас.

Вместе с тем, Англия, как и остальной мир, меняется. И как все остальное, меняться может только в определенных направлениях, которые, до какой-то степени, можно предвидеть. Это не значит, что будущее предопределено, просто одни варианты возможны, а другие нет. Семя может прорасти или не прорасти, но из семени репы никогда не вырастет свекла. Поэтому, прежде чем гадать о том, какую роль может играть Англия в нынешних грандиозных событиях, очень важно попытаться определить, что такое Англия.

## II

Национальные характеристики трудно выделить, а если и выделишь, они зачастую оказываются тривиальными или как будто бы никак не связанными между собой. Испанцы жестоки, как животные, итальянцы ничего не могут сделать, не подняв страшный шум, китайцы склонны к азартным играм. Очевидно, что такие определения сами по себе ничего не значат. Однако ничто не бывает без причины, и тот факт, что у англичан плохие зубы, может кое-что сказать о реалиях английской жизни.

Вот несколько обобщений касательно Англии, на которых сойдутся почти все наблюдатели. Одно — англи-

---

чане художественно не одарены. Они не музыкальны, как немцы или итальянцы, живопись и скульптура никогда не переживали такого расцвета в Англии, как во Франции. Другое — среди европейцев англичане не интеллектуалы. Абстрактная мысль вызывает у них отвращение, смешанное с ужасом, они не испытывают нужды в какой-либо философии или систематическом «мировоззрении». И не потому, что они «практичны», как они любят себя характеризовать. Стоит только присмотреться к их методам городского планирования и водоснабжения, к тому, как упрямо они цепляются за все устарелое и неудобное, к системе правописания, не поддающейся никакому анализу, к системе мер и весов, понятной только составителям учебников по арифметике, — и сразу видно, как мало они озабочены простой эффективностью. Но у них есть некая способность действовать не размышляя. Их всемирно прославленное лицемерие — например, двуличное отношение к империи — с этим связано. Кроме того, в моменты тяжелого кризиса весь народ способен вдруг сплотиться и действовать как бы инстинктивно, а на самом деле в соответствии с кодексом поведения, почти каждому понятным, хотя никогда не формулируемым. Фраза, которой Гитлер охарактеризовал немцев — «народ лунатиков», больше подошла бы англичанам. Хотя такое определение не повод для гордости.

Стоит отметить одну второстепенную черту англичан, ярко выраженную, но редко обсуждаемую, — любовь к цветам. Это чуть ли не раньше всего бросается в глаза, когда приезжаешь в Англию из-за границы, особенно из Южной Европы. Противоречит ли это английскому безразличию к искусствам? На самом деле, нет, потому что эту любовь обнаруживаешь в людях, напрочь лишенных эстетического чувства. Однако она связана с другой чертой англичан, настолько для нас характерной, что мы ее почти не замечаем, — это приверженность к разного рода хобби и досужим занятиям, с глубоко частным характером английской жизни. Мы — народ цветоводов, но также

---

собирателей марок, голубятников, столяров-любителей, вырезателей купонов, метателей дротиков, разгадывателей кроссвордов. Вся подлинно близкая сердцу культура сосредоточена вокруг вещей, если даже и общественных, но не официальных — пивная, футбольный матч, садик, кресло перед камином и «добрая чашка чая». В свободу личности верят до сих пор, почти как в девятнадцатом веке. Но это не имеет ничего общего с экономической свободой, с правом эксплуатировать других ради прибыли. Это — свобода иметь собственный дом, делать, что хочешь в свободное время, самому выбирать для себя развлечения, а не чтобы их выбирали для тебя наверху. Самый противный для англичанина персонаж — тот, кто сует нос в чужие дела. Очевидно, разумеется, что эта частная свобода — дело проигранное. Как и все современные народы, англичан уже нумеруют, классифицируют, мобилизуют, «координируют». Но инстинкты англичан направлены в противоположную сторону, и регламентация, которую им могут навязать, примет несколько иные формы. Без партийных съездов, без молодежных союзов, без одноцветных рубашек, без травли евреев и «стихийных» демонстраций. И без гестапо, по всей вероятности.

Но обыкновенные люди во всех обществах должны жить более или менее вопреки существующему порядку. Подлинно народная культура Англии есть нечто существующее под поверхностью, не официально, и власти смотрят на нее скорее неодобрительно. Приглядевшись к простым людям, особенно в больших городах, замечаешь, что они отнюдь не пуритане. Они неутомимые игроки, пьют столько пива, сколько позволяет заработок, обожают грязные анекдоты и сквернословят, наверно, больше любого народа на свете. Эти свои вкусы они вынуждены удовлетворять при наличии поразительно ханжеских законов (законы о продаже спиртного, закон о лотереях и т. п.), которые написаны так, чтобы вмешиваться в жизнь каждого, но на практике ничему не мешают. Кроме того, простые люди лишены определенных религиозных убеждений — и

---

таковы уже не первый век. Англиканская церковь никогда не имела над ними настоящей власти, она была просто заповедником мелкопоместного дворянства, а неконформистские секты влияли только на меньшинство. И все же народ сохранил глубокое христианское чувство, притом, что почти забыл имя Христа. Культ силы — новая религия Европы, заразившая английскую интеллигенцию, не затронула простых людей. Они никогда не следили за державной политикой. «Реализм», проповедуемый итальянскими и японскими газетами, привел бы их в ужас. Об английском духе можно многое понять по комическим цветным открыткам, которые видишь в витринах дешевых канцелярских магазинов. Это нечто вроде дневника, в котором англичане бессознательно изображают себя. Здесь отразились их старомодные взгляды, их классовый снобизм, смесь похабства и лицемерия, их мягкость, глубоко моральное отношение к жизни.

Мягкость английской цивилизации — возможно, самая заметная ее черта. Ее замечаешь сразу, едва вступив на английскую землю. Это земля, где кондукторы автобусов не раздражаются, а полицейские не носят револьверов. Как ни в одной другой стране, населенной белыми, тут можно безнаказанно столкнуть прохожего с тротуара. Отсюда же происходит и то, что европейские наблюдатели списывают на «вырождение» или лицемерие, — английское отвращение к войне и милитаризму. Оно коренится в истории и сильно выражено у рабочего класса и в более бедных слоях среднего. Войны могли его поколебать, но не уничтожили. Еще свежи в памяти те времена, когда «красномундирных» ошикивали на улицах, а хозяева приличных заведений не пускали солдат. В мирный период, даже при двух миллионах безработных, трудно укомплектовать крохотную регулярную армию, где офицерами служат мелкопоместные дворяне или особая прослойка среднего класса, а рядовыми — сельскохозяйственные рабочие и пролетарии из трущоб. В массе же народ лишен военных познаний и традиций, и по от-

---

ношению к войне позиция его оборонительная. Ни один политик не вылезет наверх, посулив завоевания или воинскую «славу». Никакой гимн ненависти еще не нашел у людей отклика. В прошлой войне песни, которые сочиняли и пели по собственной воле солдаты, были не воинственными, а насмешливыми и мнимо-пораженческими\*. Единственным врагом, которого называли вслух, был старшина.

В Англии хвастовство, размахивание флагами, вся эта «Правь, Британия» — занятия крохотного меньшинства. Патриотизм простых людей — не гласный и даже не сознательный. В их исторической памяти не удержалось ни одного названия выигранной битвы. В английской литературе, как и в других литературах, множество стихотворений о битвах, но надо заметить, что во всех, снискавших какую-то популярность, рассказывается о катастрофах и отступлениях.

Нет, например, популярных стихотворений о Трафальгаре или Ватерлоо. Отчаянные арьергардные бои армии сэра Джона Мура в Корунье и ее эвакуация морем (совсем как в Дюнкерке!) привлекают гораздо больше, чем какая-нибудь блестящая победа. Самое волнующее английское батальное стихотворение — о кавалерийской бригаде, атаковавшей на неправильном участке. А из прошлой войны по-настоящему запечатлелись в народной памяти четыре названия: Монс, Ипр, Галлиполи и Пашендаль — катастрофы. Названия великих битв, сокрушивших в конце концов германские армии, широкой публике неизвестны.

---

\* Например:

«Не хочу вступать в проклятую армию,  
Не хочу идти на войну;  
Больше не хочу скитаться,  
Я бы лучше сидел дома,  
И жил на содержании у шлюхи».

Но воевали они не с таким настроением.

---

Для иностранных наблюдателей английский антимилитаризм отвратителен потому, что он игнорирует существование Британской империи. Выглядит это чистым лицемерием. Как-никак, англичане захватили четверть Земли и удерживают ее с помощью громадного флота. Как они смеют выворачивать все наизнанку и говорить, что война — зло?

Это верно, что англичане лицемерны в отношении своей империи. В среде рабочего класса лицемерие заключается в том, что о существовании империи он не знает. Нелюбовь же к регулярной армии живет на уровне инстинкта. Во флоте занято сравнительно мало народа; флот — внешнее оружие, прямо не влияющее на внутреннюю политику. Военные диктатуры существуют повсюду, но диктатуры флота не бывает. Что отвратительно англичанам чуть ли не любого класса — это чванливое офицерье, звяканье шпор и топот сапог. За десятки лет до того, как услышали о Гитлере, слово «пруссский» значило в Англии примерно то же, что сейчас «нацистский». Чувство это настолько укоренившееся, что уже лет сто офицеры британской армии в мирное время и вне службы всегда ходят в штатском.

Один внешний, но весьма надежный показатель общественной атмосферы в стране — парадный шаг в армии. Военный парад — на самом деле, род ритуального танца, нечто вроде балета, он выражает определенную философию жизни. Гусиный шаг, например, — одно из самых жутких зрелищ на свете, гораздо более страшное, чем пикирующий бомбардировщик. Это просто утверждение голый силы; он наводит на мысль — не случайно, намеренно — о сапоге, топчущем лицо. В уродстве этого шага его сущность, он как бы говорит: «Да, я уродлив, и ты не смеешь надо мной смеяться», как задира, корчащий рожу своей жертве. Почему гусиный шаг не привился в Англии? Видит Бог, тут немало офицеров, которые рады были бы ввести что-нибудь подобное. А не привился он, потому что люди на улице будут смеяться. Выходящая за определен-

---

ные рамки демонстрация военной силы возможна только в тех странах, где простой народ не осмеливается смеяться над армией. Итальянцы перешли на гусиный шаг приблизительно в то время, когда окончательно подчинились немцам. Правительство Виши, если оно выживет, непременно привьет остаткам французской армии более жесткую строевую дисциплину. В британской армии муштра сурова и сложна, полна воспоминаний о XVIII веке, но упора на шагистику нет; марш — это просто формализованное пешее передвижение. Эта муштра — безусловно, порождение общества, которым правит меч, но меч никогда не вынимаемый из ножен.

При этом мягкость английской цивилизации сочетается с разнообразным варварством и анахронизмами. Наше уголовное право устарело, как мушкеты в Тауэре. Нацистского штурмовика надо сопоставить с типично английской фигурой — судьей-вешателем, штампующим свирепые приговоры подагрическим старым злыднем, чье сознание уходит корнями в XIX век. В Англии людей все еще вешают и порют плетьюми. Оба эти наказания столь же непристойны, сколь и жестоки, но народ против них никогда по-настоящему не протестовал. Народ мирится с ними (и с Дартмуром, и с Борсталом<sup>2</sup>). Примерно так, как мирятся с погодой. Они — часть «закона», не подлежащего изменениям.

Тут мы сталкиваемся с чрезвычайно важной английской чертой: уважением к законности, вере в «закон» как нечто, стоящее выше государства и индивидуума — жестокое и глупое, конечно, но, по крайней мере, *неподкупное*.

Это не значит, что кто-то считает закон справедливым. Все знают, что для богатых один закон, а для бедных другой. Но вдумываясь, делать из этого выводы никто не хочет, все считают само собой разумеющимся, что закон, такой, какой есть, надо уважать, и возмущаются, когда его

---

<sup>2</sup> Дартмур — знаменитая тюрьма; Борстал — исправительное учреждение для малолетних преступников.

---

не уважают. Высказывания наподобие: «Они не могут меня посадить, я ничего неправильного не сделал» или «Они этого не сделают, это против закона» — часть английской атмосферы. У отъявленных врагов общества это чувство так же сильно, как у всех остальных. Это видно и в тюремных книгах, таких, как «У стен есть рты» Уилфреда Макартни или «Тюремный дневник» Джима Фелана, в торжественном идиотизме процессов над людьми, отказавшимися от воинской службы по этическим соображениям, в письмах, посылаемых в газеты видными марксистскими профессорами, указывающими, что то или это является «нарушением британского правосудия». Все верят в душе, что закон может быть, должен быть и, в целом, будет применен беспристрастно. Тоталитарная идея, что закона нет, а есть только власть, так и не привилась. Даже интеллигенция признала ее только теоретически.

Иллюзия может превратиться в полуправду, маска — изменить выражение лица. В привычных заявлениях, будто демократия — «то же самое, что» тоталитаризм или «ничем не лучше» его, это никогда не учитывается. С таким же успехом можно сказать, что полупустой стакан не лучше пустого. Англичане еще верят в такие понятия, как справедливость, свобода и объективная истина. Это, может быть, иллюзии, но очень действенные иллюзии. Вера в них влияет на поведение, благодаря им жизнь нации выглядит иначе. Доказательство? Посмотрите вокруг себя. Где резиновые дубинки, где касторка? Меч все еще в ножах, и пока он там, коррупция не может выйти за определенные рамки. Английская избирательная система, например, — почти открытое надувательство. Десятками очевидных способов она подстраивается под интересы имущего класса. Но пока сознание общества не изменилось кардинальным образом, она не может быть полностью растленной. Когда вы подходите к избирательной кабинке, вас не встречают люди с револьверами и не говорят вам, как голосовать; результаты выборов не подтасовываются, и откровенного подкупа нет. Даже лицемер-

---

рие — сильный тормоз. Судья-вешатель, злобный старик в парике из конского волоса и в красной мантии, которому без помощи динамита не внушить, в каком веке он живет, но который, во всяком случае, не будет толковать закон вкривь и вкось и ни при каких обстоятельствах не примет взятку, этот судья — одна из символических для Англии фигур. Это — воплощение странной смеси из реализма и иллюзий, демократии и привилегий, притворства и порядочности, тонкой системы компромиссов, благодаря которым нация сохраняет свою привычную форму.

### III

Я все время говорил: «нация», «Англия», «Британия» так, словно сорок пять миллионов душ — это нечто единое. Но разве не известно всем, что Англия — это две нации, богатых и бедных? Станет ли кто изображать, будто есть что-то общее между людьми с годовым доходом в 100 тысяч фунтов и людьми, зарабатывающими один фунт в неделю? И даже в Уэльсе и Шотландии читателей покоробит то, что слово «Англия» я употребляю чаще, чем «Британия», как будто все население сосредоточено в Англии, в центральных графствах, а ни на севере, ни на западе нет своей культуры. Этот вопрос немного прояснится, если начать с второстепенного момента. Факт, что народы Британии видят между собой большие различия. Шотландец, например, не скажет вам «спасибо», если вы назовете его англичанином. Наша неуверенность в этом вопросе проявляется в том, что мы называем наши острова не меньше, чем шестью именами: Англия, Британия, Великобритания, Британские острова, Соединенное королевство и, в особо торжественные минуты, Альбион. Большими в наших глазах выглядят даже различия между северной и южной Англией. Но в ту минуту, когда любые два британца сталкиваются с европейцем, эти различия почему-то исчезают. Очень редко встретишь иностранца (если не считать американцев), который видит

---

разницу между англичанами и шотландцами или даже между англичанами и ирландцами. Французу бретонец и овернец кажутся очень разными людьми, а марсельский акцент — излюбленный предмет шуток в Париже. Однако мы говорим «Франция» и «французы», видя во Франции цельный организм, единую цивилизацию, как оно на самом деле и есть. Так же и с нами. На взгляд постороннего, даже между кокни и йоркширцем есть сильное семейное сходство.

Даже разница между богатыми и бедными не так заметна, когда смотришь на народ со стороны. Об имущественном неравенстве в Англии говорить излишне. Оно больше, чем в любой европейской стране, и чтобы увидеть это, достаточно выглянуть на улицу. В экономическом смысле Англия — определено две нации, если не три или четыре. И в то же время огромное большинство людей ощущают себя единой нацией и сознают, что друг на друга похожи больше, чем на иностранцев. Патриотизм обычно сильнее классовой ненависти и всегда сильнее какого угодно интернационализма. За исключением короткого периода в 1920 году («Руки прочь от России»), британский рабочий класс никогда не мыслил и не действовал в духе интернационализма. Два с половиной года рабочие наблюдали, как медленно удушают их товарищей в Испании, и ни разу не поддержали их хотя бы забастовкой\*. Но когда в опасности оказалась их страна, страна лорда Наффилда и мистера Монтегю Нормана<sup>3</sup>, они повели себя совсем иначе. Когда Англии грозило вторжение, Энтони Иден обратился по радио с призывом записываться в отряды местной самообороны. В течение суток записалось четверть миллиона человек, и в первый же месяц — еще миллион. Достаточно сравнить эти числа с числом

---

\* Правда, в какой-то мере им помогли деньгами. Но суммы, собранные разными фондами в помощь Испании, не достигли и пяти процентов оборота футбольных тотализаторов за тот же период.

<sup>3</sup> *Монтегю Норман* — директор Английского банка, поддерживал нацистские монополии.

---

людей, отказавшихся от воинской службы по этическим соображениям, чтобы понять, насколько традиционные ценности оказались важнее новых.

У разных классов в Англии патриотизм принимает разные формы, но проходит сквозь все общество, как связующая нить. Он чужд только европеизированной интеллигенции. Как позитивное чувство, он сильнее в средних слоях, чем в высших: например, дешевые частные школы больше склонны к патриотическим демонстрациям, чем дорогие; но число богатых изменников типа Квислинга и Лавалья, вероятно, очень мало. Патриотизм рабочего класса — глубокий, но бессознательный. Сердце рабочего не затрепещет при виде Юнион Джека. Но пресловутый «изоляционизм» и «ксенофобия» англичан гораздо сильнее развиты у рабочего класса, чем у буржуазии. Во всех странах бедные — большие националисты, чем богатые; но английские рабочие выделяются своим отвращением к иностранным обычаям. Даже когда им приходится жить за границей годами, они не желают привыкать к иностранной пище и учиться иностранному языку. Чуть ли не все англичане рабочего происхождения считают неприличным для мужчины правильно произносить иностранные слова. Во время первой мировой войны контакты английских рабочих людей с иностранцами приняли невиданные масштабы. Единственное, что они вынесли оттуда — отвращение ко всем европейцам, кроме немцев, чьей храбростью они восхищались. За четыре года пребывания на французской земле они не приобрели даже вкуса к вину. Изолированность англичан, их нежелание принимать иностранцев всерьез — это глупость, за которую время от времени приходится дорого платить. Но они — часть английской загадки, а интеллектуалы, которые пытались с этим покончить, чаще приносили больше вреда, чем пользы. По сути, это — то же свойство английского характера, которое отталкивает туристов и помогает отразить захватчика. Здесь мы возвращаемся к двум английским особенностям, которые я назвал как бы наобум в на-

---

чале прошлой главы. Одна — отсутствие художественных способностей. Можно было бы сказать иначе: Англия находится вне европейской культуры. Ибо есть одно искусство, где она отличилась изобилием талантов — литература. Но это как раз единственное искусство, которое не может пересекать границы. Литература, особенно поэзия и, прежде всего, лирическая поэзия, — это нечто вроде семейной шутки, мало значащая или ничего не значащая за пределами своего языка. За исключением Шекспира, лучшие английские поэты почти неизвестны в Европе, даже по именам. Широко читаемы только Байрон, которым восхищаются не за то, да Оскар Уайльд, которого жалеют как жертву английского ханжества. И с этим связан, хотя не слишком очевидно, недостаток философских способностей, отсутствие почти у всех англичан потребности в упорядоченной системе мыслей или даже стремления к логике.

До какой-то степени чувство национального единства заменяет «мировоззрение». Поскольку патриотизм здесь почти всеобщий и не чужд даже богатым, бывают такие моменты, когда вся нация вдруг поворачивается разом и действует одинаково, как стадо, встретившее волка. Таким моментом была, безусловно, катастрофа во Франции. После восьми месяцев вялого недоумения, что это вообще за война, люди вдруг поняли, что им надлежит делать: во-первых, увести армию из Дюнкерка и, во-вторых, предотвратить вторжение. Слово великан пробудилось. Быстро! Филистимляне идут на тебя, Самсон! И затем стремительное единодушное действие — затем, увы, снова погружение в сон. В разделенной нации как раз в такой момент должно было бы возникнуть сильное движение за мир. Но значит ли это, что инстинкт англичан всегда подсказывает им правильные поступки? Отнюдь нет, он лишь велит им поступать одинаково. Например, на выборах 1931 года мы в полном единодушии поступили ошибочно. Мы были целеустремленны, как гадаринские свиньи. Но мы, безусловно, не можем сказать, что нас толкнули под уклон против нашей воли. Отсюда следует, что

---

британская демократия не такое надувательство, как иногда кажется. Иностранец наблюдатель видит только колоссальное имущественное неравенство, несправедливую избирательную систему, правительственный контроль над прессой, радио и образованием и заключает, что демократия просто вежливое название диктатуры. При этом не учитывается существенное согласие, к сожалению существующее между вождями и ведомыми. Как ни противно это признать, нет почти никаких сомнений в том, что между 1931 и 1940 годами правительство отражало волю массы народа. Оно мирилось с труппами, безработицей и вело трусливую внешнюю политику. Да, но таково же было общественное мнение. Это был период застоя, и, естественно, во главе стояли посредственности.

Несмотря на кампании нескольких тысяч леваков, можно не сомневаться, что большинство английского народа поддерживало внешнюю политику Чемберлена. Больше того, можно не сомневаться, что в мозгу Чемберлена происходила та же борьба, что и в умах рядовых людей. Оппоненты представляли его коварным интриганом, задумавшим продать Англию Гитлеру, но, скорее всего, он был просто глупым стариком, старавшимся в меру своих убогих способностей сделать Англию лучше. Иначе трудно объяснить противоречивость его политики и то, что он не воспользовался ни одним из путей, которые были перед ним открыты. Как и большинство народа, он не хотел заплатить полагающуюся цену ни за мир, ни за войну. И все это время за ним стояло общественное мнение — стояло за политическими действиями, совершенно не совместимыми между собой. Оно стояло за ним, когда он отправился в Мюнхен, когда пытался найти взаимопонимание с Россией, когда дал гарантии Польше, когда выполнил их и когда нерешительно вел войну. И лишь когда результаты его политики стали очевидны, оно отвернулось от него; иначе говоря, проснулось после семилетней летаргии. Тогда люди выбрали руководителя, больше отвечающего их настроениям, — Черчилля, который, по

---

крайней мере, способен был понять, что войны без боя не выигрываются. Позже, возможно, они найдут другого руководителя, который поймет, что эффективно сражаться могут только социалистические нации.

Хочу ли я этим сказать, что Англия — подлинная демократия? Нет, этому не поверит даже читатель «Дейли телеграф».

Англия — самое классовое общество под солнцем. Это страна снобизма и привилегий, управляемая, по большей части, старыми и глупыми. Но при любых рассуждениях о ней надо принимать во внимание ее эмоциональное единство, склонность почти всех ее обитателей в критические моменты чувствовать одинаково и действовать вместе. Это единственная великая держава в Европе, которая не считает нужным загонять сотни тысяч своих подданных в ссылку или в концлагерь. Сейчас, после года войны, газеты и брошюры, поносящие правительство, восхваляющие врага и громко требующие капитуляции, продаются на улице почти беспрепятственно. И дело здесь не столько в уважении к свободе слова, сколько в простом сознании, что все это ничего не значит. Продавать газету, подобную «Пис ньюс» безопасно, потому что 95 процентов населения наверняка не захотят ее читать. Нация связана воедино невидимой цепью. В обычное время правящий класс будет грабить, плохо управлять, саботировать, тащить нас в болото; но когда общественное мнение подаст голос, чувствительно потревожит его снизу, ему будет трудно не отреагировать. Левые авторы, обличающие весь правящий класс как «профашистский», чрезмерно упрощают дело. Даже в узком кружке политиков, которым мы обязаны нынешней критической ситуацией, вряд ли найдутся сознательные предатели. Испорченность такого рода в Англии редка. Почти всегда она имеет, скорее, характер самообмана, когда правая рука не знает, что делает левая. И будучи бессознательной, она не переходит каких-то границ. Лучшее всего это видно по английской прессе. Честна английская пресса или бесчест-

---

на? В обычное время она глубоко бесчестна. Все влиятельные газеты живут рекламой, и рекламодатели осуществляют косвенную цензуру новостей. Но я не думаю, что в Англии есть хоть одна газета, которую можно прямо подкупить деньгами. Во французской Третьей республике все газеты, за исключением очень немногих, можно было купить открыто, как несколько фунтов сыра. Общественная жизнь в Англии никогда не была *открыто* скандальной. Она не достигла той степени разложения, когда можно свободно запустить «утку».

Англия — не «царственный остров» из заезженной фразы Шекспира, но и не ад, изображаемый доктором Геббельсом. Гораздо больше она напоминает семью, довольно консервативную викторианскую семью, где выродков мало, но очень много разнообразных скелетов в чуланах. У нее есть богатые родственники, перед которыми надо лебезить, и бедные родственники, которых можно травить, и есть круговая порука молчания касательно источника семейных доходов. Это семья, где молодых придерживают, а распоряжаются, по большей части, безответственные дядья и прикованные к постели тетки. И все же это — семья. У нее свой язык и общие воспоминания, и при появлении врага она смыкает ряды. Семья, во главе которой не те люди — и точнее, наверное, Англию одной фразой не опишешь.

#### IV

Битва при Ватерлоо, возможно, и была выиграна на спортивных площадках Итона<sup>4</sup>, но начальные сражения последующих войн были там же проиграны. Одной из определяющих черт английской жизни в последние три четверти века был упадок способностей правящего класса. В годы между 1920 и 1940 он происходил со скоростью химической реакции. Однако, когда пишутся эти строки, го-

---

<sup>4</sup> Фраза герцога Веллингтона.

---

ворить о правящем классе все еще можно. Подобно ножу, у которого сменили два лезвия и три рукояти, верхушка английского общества остается почти такой же, как в середине XIX века. После 1832 года старая земельная аристократия постепенно утрачивала власть, но вместо того, чтобы исчезнуть или превратиться в ископаемое, она просто пережилась с купцами, промышленниками и финансистами, заменившими ее, и вскоре превратила их в точную свою копию. Богатый овцевод или текстильщик устроился на манер помещика, а его сыновья обучились правильным манерам в частных школах, специально для этого и созданных. Англией правила аристократия, постоянно пополнявшая свои ряды выскочками. Учитывая, какой энергией обладают люди, выбившиеся из низов, и то, что они покупали себе место в классе, имевшем традицию службы обществу, можно было бы ожидать появления способных правителей.

Однако правящий класс почему-то приходил в упадок, утрачивал способности, отвагу и, наконец, даже безжалостность, и вот наступило время, когда такие чопорные нафталиновые господа, как Иден или Галифакс представляются выдающимися талантами. Что до Болдуина, то для него даже «нафталиновый» было бы комплиментом. Он являл собой просто дыру в воздухе<sup>5</sup>. Если английская внутренняя политика в 1920-х годах была беспомощной, то внешняя политика Британии между 1931 и 1939 годом — одно из чудес света. Почему? Что случилось? Что за могучий инстинкт заставлял каждого британского руководителя в каждый решительный момент поступать неправильно?

В основе всего этого лежал тот факт, что положение имущего класса давно уже ничем не оправдано. Вот он си-

---

<sup>5</sup> *Энтони Иден* — английский государственный деятель, премьер-министр (1955–1957). *Эдуард Галифакс* — английский государственный деятель, вице-король Индии (1926–1931), министр иностранных дел (1938–1940). *Стэнли Болдуин* — английский государственный деятель, премьер-министр (1923–1924, 1924–1929, 1935–1937).

---

дел в центре громадной империи и всемирной финансовой системы, получая прибыли и проценты с капитала и тратя их — на что? Верно, что жизнь внутри Британской империи была по многим показателям лучше, чем жизнь вне ее. И, однако, империя была слаборазвитой, Индия дремала в средних веках, доминионы лежали пустые, ревниво оберегаясь от приезжих, и даже в Англии было полно трущоб и безработных. Несомненную выгоду от существующей системы получали какие-нибудь полмиллиона людей, владевших загородными домами. Вдобавок, тенденция к слиянию мелких предприятий в крупные компании лишала все больше и больше представителей имущего класса их функций и превращала их лишь во *владельцев*, а работу за них стали выполнять штатные менеджеры и техники. Уже долгое время в Англии существовал класс людей, лишенных каких бы то ни было функций, живущих на деньги, вложенные уже не припомнить во что, «праздных богатых», людей, чьи фотографии вы можете увидеть в «Татлере» и «Байстендере», при условии, конечно, что вам этого захочется. Существование этих людей никакими критериями не оправдано. Они были просто паразитами, еще менее полезными для общества, чем блохи для собаки.

В 1920 году это понимали уже многие. В 1930-м — миллионы. Но британский правящий класс явно не мог признаться себе, что становится бесполезным. Признавшись, он вынужден был бы отречься от власти. Ибо для этих людей невозможно было превратиться просто в бандитов, подобно американским миллионерам, сознательно цепляться за несправедливые привилегии и укрощать оппозицию с помощью взяток и слезоточивого газа. Как-никак, они принадлежали к классу с определенными традициями, они учились в закрытых школах, где обязанность умереть за свою страну в случае нужды преподносилась как первая и главная заповедь. Они *должны были* чувствовать себя патриотами, притом, что грабили своих соотечественников. Ясно, что выход у них был только один — в

---

глупость. Держать общество в прежнем состоянии они могли только за счет того, что *не способны* были вообразить никаких возможностей улучшения. С трудом, но они этого достигли — устремив взгляд в прошлое и отказываясь замечать перемены, происходящие вокруг.

Это многое объясняет в Англии. Объясняет упадок сельской жизни, обусловленный сохранением фальшивого феодализма, который стоняет с земли самых усердных работников. Объясняет косность закрытых школ, едва ли изменившихся с 80-х годов прошлого века. Объясняет военную некомпетентность, снова и снова изумлявшую мир. С 50-х годов прошлого века каждая война, в которую вступала Англия, начиналась серией катастроф, после чего положение выправляли люди сравнительно низкого социального происхождения. Высшее командование, формировавшееся из аристократии, никогда не умело подготовиться к современной войне — чтобы подготовиться, этим людям пришлось бы признать, что мир меняется. Они всегда цеплялись за устарелые методы и вооружение, потому что в каждой войне неизменно видели повторение предыдущей. Перед бурской войной они готовились к войне с зулусами, перед 1914-м — к бурской войне, и перед нынешней — к войне 1914 года. Даже сейчас сотни тысяч мужчин в Англии обучаются работе штыком, оружием, совершенно бесполезным и пригодным разве что для открывания консервных банок. Стоит отметить, что флот, а в последнее время и воздушные силы действуют эффективнее, чем регулярная армия. Но флот лишь частично находится в орбите правящего класса; авиация же — вообще вне ее.

Надо признать, что в спокойное время методы британского правящего класса служили ему неплохо. Народ явно его терпел. При том, как несправедливо организована Англия, ее, по крайней мере, не раздирали классовые войны, и не изводила тайная полиция. Империя была мирной, как ни одна область, сравнимая с ней по величине. На всем ее громадном пространстве — около четверти

---

земной поверхности — было меньше вооруженных людей, чем считало нужным для себя какое-нибудь мелкое балканское государство. Для подданных, если смотреть на британский правящий класс с чисто либеральной, *негативной* точки зрения, он имел свои положительные стороны. Он был предпочтительнее подлинно современных правителей, нацистов и фашистов. Но было совершенно очевидно, что он окажется беспомощным перед серьезным нападением извне.

Эти люди не могли бороться с нацизмом и фашизмом, потому что не понимали их. Не смогли бы они бороться и с коммунизмом, если бы коммунизм представлял собой серьезную силу в Западной Европе. Чтобы понять фашизм, им пришлось бы изучить теорию социализма, и она показала бы им, что живут они в несправедливой, неэффективной и устарелой экономической системе. Но именно этот факт они учились так долго не замечать. Они относились к фашизму так же, как кавалерийские генералы 1914 года к пулеметам, — игнорировали его. За годы агрессии и резни они усвоили только одно: что Гитлер и Муссолини враждебны коммунизму. Отсюда делался вывод, что эти двое *должны быть* дружественны британскому получателю дивидендов. Отсюда — поистине страшный спектакль: консервативные члены парламента бурно радуются известию о том, что британские суда, везшие продовольствие республиканскому правительству Испании, атакованы итальянскими самолетами. Даже когда до них стало доходить, что фашизм опасен, его революционный характер, колоссальная военная машина, которую он способен создать, и тактика, которую он намерен использовать, — были выше их понимания. Во время гражданской войны в Испании всякий, чьи политические познания ограничивались шестипенсовой брошюрой о социализме, понимал, что если Франко победит, это будет стратегическим несчастьем для Англии; но генералы и адмиралы, всю жизнь посвятившие изучению военного дела, не в силах были осознать этот факт. Политическим неве-

---

жеством такого рода заражен весь английский официоз — министры в правительстве, послы, консулы, судьи, магистраты, полицейские. Полисмен, который арестовывает «красного», не понимает теорий, проповедуемых «красным»; если бы понимал, его положение телохранителя при имущем классе, возможно, показалось бы ему менее приятным. Есть основания думать, что даже военному шпионажу крайне мешает незнание новых экономических доктрин и разветвленной сети подпольных партий.

Британский правящий класс не совсем ошибался, полагая, что фашизм на его стороне. Известно, что для богатого человека, если он не еврей, фашизм не так страшен, как коммунизм или демократический социализм. Этот факт ни в коем случае нельзя забывать, поскольку немецкая и итальянская пропаганда нацелены на то, чтобы его скрыть. Врожденный инстинкт таких людей, как Саймон, Хоур, Чемберлен и прочие, толкает их к соглашению с Гитлером<sup>6</sup>. Но — я говорил уже об этой особенности английской жизни — тут вмешивается глубокое чувство национальной солидарности: подружиться с ним они смогли бы, лишь разрушив империю и продав свой народ в полурабство. Подлинно растленный класс сделал бы это без колебаний, как во Франции. Но в Англии дело так далеко не зашло. В Англии вряд ли найдутся политики, способные произносить пресмыкательские речи о «долге лояльности перед нашими завоевателями». Мечущиеся между своими доходами и своими принципами — что могли сделать люди, подобные Чемберлену, кроме как напортачить и там, и там? Но есть один признак, постоянно свидетельствовавший о *моральном* здоровье английского правящего класса: во время войны он готов подвергнуть свою жизнь опасности. Несколько герцогов и графов были убиты во время недавней кампании во Фландрии. Такого бы

---

<sup>6</sup> Джон Саймон — британский юрист и политик, возглавлял империалистическое крыло либеральной партии. Сэмюэл Хоур — английский государственный деятель. Поддерживал Муссолини во время абиссинской войны.

---

не случилось, если бы эти люди были циничными негодяями, какими их иногда объявляют. Надо правильно понимать их мотивы, иначе нельзя предсказать их действия. Ожидать от них надо не предательства, не физической трусости, а глупости, бессознательного саботажа, безотказного инстинкта делать не то, что надо. Они не безнравственны или не вполне безнравственны; они просто не обучаемы. Только когда кончатся их деньги и власть, младшие среди них начнут понимать, в каком веке они живут.

## V

Застой в империи в межвоенные годы затронул в Англии всех, но особенно повлиял на две важные прослойки среднего класса. На военную и империалистическую его составляющую, известную под прозвищем «Блимпы»<sup>7</sup>, и на левую интеллигенцию. Эти два как будто бы враждебных типа, полярно противоположных — старый полковник на половинном окладе, с его бычьей шеей и миниатюрным, как у динозавра, мозгом, и интеллектуал с высоким лбом и тонкой шеей — духовно связаны между собой и постоянно взаимодействуют; во всяком случае, нередко происходят из одних и тех же семей.

Тридцать лет назад Блимпы уже стали терять свою жизненную силу. Семьи среднего класса, воспитанные Киплингом, плодovitые, малообразованные семьи, чьи сыновья служили офицерами в армии и флоте и роились во всех пустынных местах земли, от Юкона до Иравади, еще до 1914 года пошли на убыль. Убил их телеграф. В сужающемся мире, все в большей степени управляемом с Уайтхолла, с каждым годом оставалось все меньше места для личной инициативы. Люди, подобные Клайву, Нельсону,

<sup>7</sup> «Полковник Блимп» — по имени комического персонажа карикатур *Дэвида Лоу* — пожилой человек со старомодными и очень консервативными политическими взглядами и чрезмерно высоким представлением о собственной важности.

---

Никольсону, Гордону<sup>8</sup>, не нашли бы себе применения в сегодняшней Британской империи. К 1920 году контроль Уайтхолла распространился чуть ли не на каждый дюйм колониальной империи. Благонамеренные, сверхцивилизованные люди в темных костюмах и черных фетровых шляпах, с аккуратно свернутыми зонтиками, навязывали свой косный взгляд на жизнь Малайе и Нигерии, Момбасе и Мандалаю. Строители империи были низведены до положения клерков, погребенных под растущими горами бумаг. В начале 20-х годов по всей империи можно было наблюдать, как старые чиновники, еще помнившие о более вольных днях, беспомощно корчились под катком перемен. С этого времени стало почти невозможно привлечь сильных духом молодых людей к участию в имперской администрации. Так обстояло дело в официальном мире, так же — в коммерческом. Большие монополии тысячами заглатывали мелких торговцев. Вместо того чтобы пуститься в рискованную торговлю у берегов Индийского океана, человек садился на конторский стул в Бомбее или Сингапуре. И жизнь в Бомбее или Сингапуре была еще скучнее и надежнее, чем в Лондоне. Империалистические настроения у среднего класса оставались сильными, главным образом из-за семейной традиции, но работа имперского администратора уже не привлекала. Немногие способные люди отправлялись к востоку от Суэца, если была возможность этого избежать.

Но общее ослабление империализма и, в какой-то мере, всего британского духа, происходившее в 1930-х годах, частично было делом рук левой интеллигенции, которая, в свою очередь, была продуктом имперского застоя.

<sup>8</sup> *Роберт Клайв* — британский военный и государственный деятель. В ходе войны 1746–1763 гг. выгеснил французов из Индии. Был губернатором Бенгалии. *Джон Никольсон* — британский генерал, участвовал в подавлении восстания сипаев в 1857 году. Погиб в сентябре того же года при штурме Дели. *Чарльз Гордон* — британский генерал, участник Крымской войны. Участвовал в подавлении тайпинского восстания в Китае и восстания Махди в Судане. Убит под Хартумом в 1885 году.

---

Надо сказать, что сейчас нет интеллигенции, которая не была бы в каком-то смысле «левой». Последним правым интеллектуалом был, возможно, Т. Э. Лоуренс<sup>9</sup>. Примерно с 1930 года всякий, кого можно назвать «интеллектуалом», жил в состоянии хронического недовольства существующим порядком. И неудивительно, поскольку в обществе для него не находилось места. В застойной империи, которая не развивалась и не разваливалась на части, и в Англии, где правили люди, чьим главным достоинством была глупость, «умный» неизбежно находился под подозрением. Если у вас хватало ума, чтобы понять стихотворения Т. С. Элиота или теории Карла Маркса, начальство позаботилось бы, чтобы не допустить вас ни до какой важной работы. Интеллектуалы могли найти себя только в писании рецензий и в партийной деятельности левого толка.

Умонастроения левой английской интеллигенции можно изучать по пяти-шести еженедельникам и ежемесячникам. Первое, что бросается в глаза при чтении этой прессы, — недовольный, раздраженный тон, полное отсутствие конструктивных предложений. Здесь мало что найдешь, кроме безответственной воркотни людей, не причастных и не рассчитывающих быть причастными к власти. Другая отличительная характеристика — эмоциональная ограниченность, свойственная тем, кто живет в мире идей и мало соприкасается с физической реальностью. В 1935 году многие левые интеллектуалы были дряблыми пацифистами, в 1935–1939-х они истошно требовали войны с Германией и тут же притихли, когда война началась. В общем, хотя и не вполне точно, можно утверждать, что самые рьяные «антифашисты» времен гражданской войны в Испании сейчас самые большие пораженцы. А в основе этого — действительно важная особенность многих анг-

---

<sup>9</sup> *Томас Эдуард Лоуренс — Лоуренс Аравийский*, британский разведчик и писатель. В 1914–1918 гг. участвовал в борьбе арабов за освобождение из-под власти Турции.

---

лийских интеллигентов: их оторванность от общей культуры страны.

По своим намерениям, во всяком случае, английская интеллигенция европеизирована. Кухню она предпочитает парижскую, а идеи московские. В общем патриотизме страны она образует некий остров диссидентской мысли. Англия — возможно, единственная великая держава, чьи интеллектуалы стыдятся своей национальности. В левых кругах всегда живет чувство, что быть англичанином слегка неприлично и что ты обязан смеяться над всеми английскими институтами, от скачек до пудинга. Станный, но несомненный факт: чуть ли не каждый английский интеллектуал счел бы более стыдным встать по стойке «смирно» при исполнении гимна, чем украсть из церковной кружки. В критические годы многие левые подтачивали английский моральный дух, распространяя настроения то жидко-пацифистские, то яростно прорусские, но всякий раз антибританские. Трудно сказать, большой ли это имело эффект, но какой-то эффект имело. Если английский народ действительно переживал в течение нескольких лет упадок духа, так что фашистские страны сочли его «вырождающимся» и без опаски начали войну, то отчасти виной этому интеллектуальный саботаж левых. «Нью стейтсмен» и «Ньюс кроникл» громко возмущались мюнхенскими соглашениями, а между тем, и сами им поспособствовали. Десять лет систематической травли «Блимпов» подействовали даже на самих Блимпов, и привлечь в вооруженные силы умных молодых людей стало труднее. Из-за общего застоя в империи военный средний класс и так пришел бы в упадок, но распространение легковесного левачества ускорило этот процесс.

Ясно, что специфическая позиция английских интеллектуалов, как силы чисто негативной, просто-напросто противников военщины, была результатом глупости правящего класса. Общество не нашло им применения, а им самим не хватило ума понять, что преданность своей стра-

---

не подразумевает «в горе и в радости». И Блимпы, и интеллектуалы приняли как нечто самой собой разумеющееся, как закон природы — несовместимость патриотизма с умом. Если вы патриоты, то читаете «Блэквуд мэгэзин» и во всеуслышание благодарите Бога за то, что вы не «умник». Если вы интеллектуал, то смеетесь над флагом и физическую смелость считаете варварством. Ясно, что этому нелепому размежеванию должен прийти конец. Высоколобий Блумсбери с его механической усмешкой так же устарел, как кавалерийский полковник. И тот, и другой для современной страны — чрезмерная роскошь. Патриотизм и ум должны снова соединиться. И тот факт, что мы ведем войну, войну весьма необычную, подталкивает к этому.

## VI

Одним из важнейших явлений в Англии на протяжении последних двадцати лет было расширение среднего класса вверх и вниз. Масштабы его таковы, что прежнее подразделение общества на капиталистов, пролетариев и мелких буржуа (мелких собственников) выглядит довольно устарелым.

Англия — это страна, где собственность и финансовая власть сосредоточены в очень немногих руках. Очень немногие в современной Англии владеют чем бы то ни было, кроме одежды, мебели и, возможно, дома. Крестьянство давно исчезло, независимого лавочника уничтожают, численность мелких предпринимателей падает. Но в то же время современная промышленность настолько сложна, что не может обойтись без большого числа менеджеров, торговцев, инженеров, химиков и техников, получающих сравнительно большие жалования. А без них не существовал бы столь многочисленный класс других профессионалов — врачей, адвокатов, учителей, художников и т. д. Таким образом, при развитом капитализме есть тенденция к расширению среднего класса, а не к его исчезновению, как некогда казалось.

---

Но еще важнее распространение идей и обычаев среднего класса среди рабочих. Британский рабочий класс сегодня во всех отношениях обеспечен лучше, чем тридцать лет назад. Отчасти это связано с усилиями профсоюзов, но отчасти — просто с развитием физической науки. Не все отдают себе отчет в том, что в довольно узких пределах уровень жизни может повыситься без соответствующего повышения реальной заработной платы. Цивилизация обладает определенным потенциалом роста. Как бы несправедливо ни было организовано общество, технический прогресс приносит пользу всем его членам, потому что некоторые блага неизбежно оказываются общими. Миллионер, например, не может осветить улицы для себя и затемнить для других. Почти все граждане цивилизованных стран пользуются теперь хорошими дорогами, обеззараженной водой, полицейской защитой, бесплатными библиотеками и каким-никаким бесплатным образованием. Народное образование в Англии сидело на голодном пайке и, тем не менее, улучшалось — главным образом, благодаря самоотверженности учителей, — и необычайно возросло количество читающего народа. Богатые и бедные все чаще читают одни и те же книги, они видят одни и те же фильмы, слушают одни и те же радиопередачи. Разница в их образе жизни уменьшилась благодаря массовому производству дешевой одежды и росту жилищного строительства. Внешне одежда богатых и бедных, особенно у женщин, отличается гораздо меньше, чем тридцать и даже пятнадцать лет назад. Что касается жилья, в Англии до сих пор есть трущобы, представляющие собой позор цивилизации, но последние десять лет строительство велось интенсивно, в основном, местными властями. Современный муниципальный дом с ванной и электричеством меньше, чем вилла биржевого брокера, но в принципе это такой же дом, в отличие от коттеджа сельскохозяйственного рабочего. Человек, выросший в муниципальном микрорайоне, скорее всего, будет похож — внешне, во всяком случае, — на представителя среднего класса, а не на обитателя трущоб.

---

Все это привело к общему смягчению нравов. Ему способствовало и то, что современное промышленное производство требует меньше физических усилий, и после рабочего дня у человека остается больше энергии. Многие рабочие в легкой промышленности — в меньшей степени работники физического труда, чем врачи или бакалейщики. По своим вкусам, привычкам, манерам и внешнему виду рабочий класс и средний класс сближаются все больше. Неравенство остается, но реальная разница уменьшается. «Пролетарий» прежних времен — без воротничка, небритый, с печатью тяжелого труда на всем облике — еще существует, но таких становится все меньше; преобладает этот тип только в районах тяжелой промышленности на севере Англии.

После 1918 года возникло нечто, прежде не существовавшее в стране: люди неопределенного социального положения. В 1910 году любого человека на наших островах можно было мгновенно «определить» по манерам, одежде и выговору. Теперь это не так, и, прежде всего — в новых городских конгломератах, образовавшихся в результате перемещения промышленности на юг и развития дешевого автотранспорта. Зачатки будущей Англии надо искать в районах легкой промышленности и вдоль транспортных артерий. В Слау, Дагенеме, Барнете, Летчворте, Хейсе — да повсюду на окраинах больших городов — старый уклад постепенно сменяется чем-то новым. В этих дебрях из кирпича и стекла резкие контрасты, присущие старым городам, с их трущобами и особняками, и сельскими районами — с барскими домами и убогими коттеджами — уже отсутствуют. Есть громадное неравенство доходов, но образ жизни на разных уровнях приблизительно одинаков — в рационально спроектированных квартирах, в муниципальных домах, вдоль бетонных дорог и в голой демократии плавательных бассейнов. Это довольно суетливая, малокультурная жизнь, атрибуты которой — консервированная пища, «Пикчер пост», радио и двигатель внутреннего сго-

---

рания. Это цивилизация, где дети досконально знают магнето и совсем не знают Библии. К этой цивилизации принадлежат люди, чувствующие себя своими в современном мире, и подлинные ее представители — техники и высокооплачиваемые квалифицированные рабочие, летчики и их механики, радиоинженеры, кинопродюсеры, популярные журналисты и промышленные химики. Это — неопределенная прослойка, где прежние классовые различия начинают стираться.

Нынешняя война, если нас не победят, сметет большинство существующих классовых привилегий. Людей, желающих сохранить их, остается все меньше. И нам не надо бояться, что из-за этих изменений жизнь в Англии утратит свой особый аромат. Новые кирпичные города Большого Лондона достаточно грубы, но это только прыщи, сопутствующие созреванию. В каком бы виде ни вышла из войны Англия, ей все равно будут присущи характеристики, о которых я говорил выше. Интеллектуалы, надеющиеся увидеть нас русифицированными или немеценными, будут разочарованы. Мягкость, лицемерие, бездумность, почтение к закону и отвращение к мундиру останутся — вместе с пудингами на сале и мгlistым небом. Чтобы уничтожить национальную культуру, требуется колоссальная катастрофа, такая, как длительное подчинение иностранному врагу. Фондовая биржа рухнет, конный плуг уступит место трактору, сельские дома превратятся в детские лагеря отдыха, матчи Итон–Харроу канут в прошлое, но Англия останется Англией, вечным организмом, простирающимся в будущее и в прошлое, и, как всякое живое существо, обладающим способностью изменяться до неузнаваемости и при этом оставаться собой.

---

## Часть II: Лавочники на войне

### I

Я начал эту книгу под вой немецких бомб и начинаю вторую главу, когда к нему добавилось уханье зениток. Небо освещают желтые разрывы, осколки стучат по крышам, и «Лондонский мост падает, падает, падает». Всякий, кто умеет читать карту, понимает, что мы в смертельной опасности. Я не хочу сказать, что мы побеждены или будем побеждены. Исход почти наверняка зависит от нашей воли. Но сейчас мы в пиковом положении и попали в него из-за глупостей, которые совершаем до сих пор и которые погубят нас, если мы быстро не исправимся.

Эта война продемонстрировала, что частный капитализм — то есть, экономическая система, при которой земля, фабрики, шахты и транспорт находятся в частных руках и работают только на прибыль, — *недействительна*. Она не справляется. Это давно уже стало понятно миллионам людей, но ничего не менялось, потому что снизу не шло сильных импульсов к преобразованию системы, а верхи приучились быть беспросветно тупыми во всем, что касалось этого. Аргументы и пропаганда ничего не давали. Хозяева собственности сидели сложа руки и твердили, что все к лучшему. Однако захват Европы Гитлером был физическим опровержением капитализма. Война, при всей ее гнусности, есть объективная проверка силы, как динамометр. Большая сила — получай свои пенсы обратно, и подделка результат никак нельзя.

Когда изобрели корабельный винт, годами шли споры, какие пароходы лучше — колесные или винтовые. Колесные пароходы, как и всякая устаревшая вещь, имели своих защитников, изобретательно доказывавших их превосходство. Но, наконец, один знаменитый адмирал сцепил корма к корме винтовой пароход и такой же мощности колесный — и запустил машины. Это решило вопрос раз и навсегда. Нечто подобное произошло на полях сра-

---

жений в Норвегии и во Фландрии. Раз и навсегда было доказано, что плановая экономика сильнее неплановой. Но тут необходимо дать какое-то определение затертым словам «социализм» и «фашизм».

Социализм обычно определяют как «общественную собственность на средства производства». Грубо говоря: всем владеет государство, представляющее весь народ, и каждый является государственным служащим. Это не значит, что люди лишены личного имущества, такого, как одежда и мебель, но означает, что все, потребное для производства, — земля, шахты, суда, машины — находятся в собственности государства. Государство — единственный крупный производитель. Нельзя утверждать, что социализм во всех отношениях лучше капитализма, но, несомненно, что в отличие от капитализма он может решать проблемы производства и потребления. В нормальное время капиталистическая экономика не может потребить всё, что производит, так что всегда есть бесполезные излишки (пшеница, сжигаемая в печах, сельдь, выбрасываемая в море и т. д.), и всегда есть безработица. Зато во время войны этой системе трудно произвести всё необходимое: вещь не производится, если никто не рассчитывает получить от нее прибыль.

В социалистической экономике этих проблем нет. Государство рассчитывает, какие товары ему нужны и, в меру сил, их производит. Производство ограничено только количеством рабочей силы и сырья. Деньги внутри страны перестают быть таинственным, всемогущим элементом, и становятся чем-то вроде купонов или карточек, печатаемых в таком количестве, какое позволяет скупить имеющиеся в наличии предметы потребления.

Однако в последние годы стало ясно, что «общественной собственности на средства производства» самой по себе недостаточно для определения социализма. К ней надо добавить следующее: приблизительное равенство доходов (достаточно приблизительного), политическая демократия, уничтожение всех наследственных привиле-

---

гий, особенно в образовании. Это всего лишь необходимые гарантии от возрождения классово́й системы. Централизованная собственность мало что значит, если не выдержан примерно одинаковый уровень жизни для всех и нет какого-то контроля над правительством. В противном случае «государство» может означать всего лишь самокооптирующуюся политическую партию, и тогда могут вернуться и привилегии, и олигархия, только опирающаяся на власть, а не на деньги.

Так что же такое тогда фашизм?

Фашизм, по крайней мере, немецкий его вариант — это форма капитализма, позаимствовавшая у социализма только те черты, которые обеспечат ей военную эффективность. С точки зрения внутренней, у Германии много общего с социалистическим государством. Собственность не отменена, по-прежнему есть капиталисты и рабочие, и это важный момент, истинная причина, почему богатые во всем мире склонны симпатизировать фашизму — после нацистской революции капиталистами остались, в общем, те же, кто был капиталистами, а рабочими — рабочие. И в то же время, распоряжается всем государство, то есть попросту нацистская партия. Она распоряжается инвестициями, сырьем, процентными ставками, длительностью рабочего дня, заработными платами. Владелец фабрики по-прежнему владеет фабрикой, но в практическом плане он низведен до положения управляющего. Фактически, все являются государственными служащими, хотя жалование у них может сильно различаться. Эффективность этой системы, не страдающей от расточительства и различных помех, очевидна. За семь лет она построила военную машину, мощнее которой не видел мир.

Но в основе фашизма лежит совсем не та идея, что в основе социализма. Цель социализма, в конечном счете, — всемирное государство свободных и равных людей. Равенство прав считается аксиомой. Нацизм исходит из противоположной идеи. Движущая сила его — убежденность в неравенстве людей, в превосходстве немцев над остальными

---

ми народами, в том, что Германия должна править миром. За пределами рейха никаких обязательств нацизм не признает. Видные нацистские профессора снова и снова «доказывали», что только нордический человек — вполне человек, и даже выдвигали идею, что не нордические люди (такие, как мы) могут скрещиваться с гори́ллами! Таким образом, хотя своего рода военный социализм и существует в германском государстве, отношение последнего к завоеванным нациям — отношение эксплуататора. Чехи, поляки, французы и прочие существуют для того, чтобы производить нужную Германии продукцию, а взамен получать тот минимум, который удержит их от открытого бунта. Если завоюют нас, нашей работой будет, вероятно, производство оружия для будущей войны Германии с Россией и Америкой. Цель нацистов, в сущности, — создать кастовую систему, с четырьмя кастами, весьма похожими на индуистские. Над всеми — нацистская партия, ниже — немецкий народ, затем идут покоренные европейцы. Четвертой и последней кастой будут цветные народы, «полуобезьяны», как называет их Гитлер, — их попросту обратят в рабство.

Как ни ужасна на наш взгляд эта система, она действует. Действует потому, что это плановая система, нацеленная на конкретный результат, на завоевание мира, и не допускающая, чтобы на ее пути встали чьи бы то ни было частные интересы — капиталистов или рабочих. Британский капитализм в этом смысле неработоспособен, потому что это система конкуренции, где главной целью является частная прибыль. При этой системе все силы тянут в разные стороны, а интересы индивида часто, если не всегда, противоположны интересам государства.

На всем протяжении этих критических лет британский капитализм с его колоссальной индустриальной базой и несравненным резервом квалифицированной рабочей силы не сумел собраться для подготовки к войне. Чтобы подготовиться к современной широкомасштабной войне, необходимо направить большую часть националь-

---

ного дохода на вооружение, а это значит — сократить производство потребительских товаров. Бомбардировщик, например, стоит столько же, сколько пятьдесят небольших автомобилей или восемьдесят тысяч пар шелковых чулок, или миллион батонов. Ясно, что, не понизив уровень жизни, много бомбардировщиков не построишь. Либо пушки, либо масло, как заметил маршал Геринг. Но в чемберленовской Англии такая перестройка была невозможна. Богатые не потерпели бы возросших налогов, а пока богатые нескрываясь богаты, нельзя чересчур обременить налогами и бедных. Кроме того, пока главной целью производителя является прибыль, ему нет смысла переключаться с потребительских товаров на оружие. Предприниматель ответствен прежде всего перед своими акционерами. Может быть, Англии нужны танки, но, может быть, производство автомобилей окупается лучше. Не пропускать стратегические материалы к врагу велит здравый смысл, но продавать по максимальной рыночной цене — обязанность бизнесмена. Еще в конце августа 1939 года британские торговцы, отпихивая друг друга, продавали Германии листовую сталь, резину, медь и шеллак — твердо зная при этом, что через неделю-другую разразится война. С такой же пользой для себя ты станешь продавать бритву, чтобы тебе перерезали ею горло. Но это был «хороший бизнес».

А теперь взглянем на результаты. После 1934 года стало понятно, что Германия перевооружается. После 1936-го всякий, у кого есть хоть капля разума, знал, что грядет война. После Мюнхена вопрос был только: скоро ли она начнется. В сентябре 1939 года она началась. Через восемь месяцев выяснилось, что оснащенность британской армии почти не улучшилась с 1918 года. Мы видели, как наши солдаты отчаянно пробиваются к побережью, с одним самолетом против трех немецких, с винтовками против танков, со штыками против автоматов. Не хватало даже револьверов для офицерского состава. После года войны войскам не хватало 300 тысяч касок. А до этого да-

---

же обмундирования не хватало — в стране, которая была одним из крупнейших производителей шерсти!

Все дело в том, что имущий класс, боясь перемен в своем образе жизни, упорно не желал понять природу фашизма и характер современной войны. А широкой публике ложный оптимизм внушала бульварная пресса — она живет рекламой и, естественно, заинтересована в том, чтобы торговля шла нормально. Из года в год бивербрукские газеты уверяли нас в громадных заголовках: **ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ**, а лорд Ротермир в начале 1939 года еще называл Гитлера «большим джентльменом». Когда пришла беда, оказалось, что Англия испытывает недостаток во всех военных материалах, кроме кораблей, но при этом не было никакого недостатка в автомобилях, манто, патефонах, губной помаде, шоколаде и шелковых чулках. И осмелится ли кто-нибудь делать вид, будто состязание между личным барышом и общественной необходимостью прекратилось? Англия борется за жизнь, а бизнес должен бороться за прибыли. Открыв газету, чуть ли не каждый раз видишь, что рядом идут два противоположных процесса. На одной и той же полосе читаешь призыв правительства: экономить, и — торговца какой-то бесполезной роскошью: тратить. Одолжи обороне, но глуши «Гиннес». Купи «Спитфайр», но купи и «Хэйг энд Хэйг», крем для лица «Пондс» и шоколад «Блэк мэджик».

Надежду вселяет одно: заметный перелом в общественном мнении. Если мы переживем эту войну, поражение во Фландрии окажется одним из поворотных пунктов в английской истории. В этой ошеломляющей катастрофе рабочий класс, средний класс и даже часть деловых кругов увидят всю гнилость частного капитализма. До сих пор обвинение против капитализма не было *доказано*. Россия, единственная несомненно социалистическая страна, была далекой и отсталой. Всякую критику заглушал звон монет в банкирских кошельках и бесстыдный смех биржевых маклеров. Социализм? Ха-ха! Откуда возьмутся деньги? Ха-ха! Хозяева собственности прочно

---

сидели на стульях и знали это. Но после французского краха началось что-то такое, от чего нельзя было отдаться смехом, от чего не спасут ни чековые книжки, ни полицейские. Бомбежки. «И-у-у — БУМ!» Что это? А-а — просто бомба упала на Фондовую биржу. «И-у-у — БУМ!» Еще гектар чьей-то ценной трущобной застройки обратился в руины. Гитлер, во всяком случае, войдет в историю как человек, заставивший весельчаков из Сити плакать. Впервые на своем веку благополучные ощутили неблагополучие, профессиональные оптимисты вынуждены были признать, что где-то вышла ошибка. Это был большой шаг вперед. Отныне безнадежная задача убедить одурманенных людей, что плановая экономика иногда лучше свалки, где побеждает худший, — отныне эта задача не будет такой безнадежной.

## II

Разница между социализмом и капитализмом — разница не просто техническая. Нельзя перейти от одной системы к другой так, как это делают на заводе, установив новое оборудование, и дальше действовать по-прежнему, с прежними людьми в руководстве. Очевидно, необходима полная смена власти. Новая кровь, новые люди, новые идеи — в подлинном смысле революция.

Выше я говорил о прочности и однородности английской цивилизации, о патриотизме, пронизывающем все слои общества. После Дюнкерка всякий здравомыслящий в этом убедился. Но нелепо утверждать, что поворот уже совершился. Масса народа, несомненно, уже готова к решительным и необходимым переменам; но перемены эти даже не начались.

Англия — это семья, возглавляемая не теми, кем надо. Нами почти безраздельно правят богатые и люди, занявшие командные посты по праву рождения. Сознательных изменников среди них или вовсе нет, или очень мало, некоторые даже не глупы, но как класс они неспособны

---

привести нас к победе. Не смогли бы даже в том случае, если бы их постоянно не сбивали с толку собственные материальные интересы. Как уже было сказано, они поглупели нарочно. Кроме всего прочего, власть денег означает, что правят нами по большей части старые, то есть люди, совершенно не способные понять, в каком веке они живут и с каким врагом воюют. Ничто так не угнетало в начале этой войны, как настрой старшего поколения, усердно притворявшегося, что у нас снова война 1914–1918 годов. Все старые недотепы снова взялись за работу — на двадцать лет постаревшие, с явственно обозначившимися черепами. Иэн Хей приветствовал войска, Беллок писал статьи о стратегии, Моруа выступал по радио, Бернсфадер рисовал карикатуры<sup>10</sup>. Это было похоже на вечеринку призраков. И ситуация почти не изменилась. После катастрофы выдвинулось несколько способных людей, вроде Бевина<sup>11</sup>, но, в общем, нами по-прежнему командовали люди, так и не понявшие за все предвоенные годы, что Гитлер опасен. Поколение необучаемых висит на нашей шее, как ожерелье из трупов.

Какой из проблем войны ни коснуться, широкой ли стратегической или мельчайших деталей внутренней организации, — становится ясно, что при сохранении нынешнего общественного устройства необходимые шаги сделать нельзя. Из-за своего положения и воспитания правящий класс неизбежно будет отстаивать свои привилегии, которые невозможно примирить с интересами всего общества. Ошибочно думать, будто цели войны, стратегия, пропаганда и промышленная организация существуют в отдельных водонепроницаемых отсеках. Все связано. Всякий стратегический план, всякий тактический метод,

---

<sup>10</sup> *Андре Моруа* (1865–1967) — французский писатель. Во время первой мировой войны был офицером связи в британских войсках. После оккупации Франции жил в Англии и в США. *Брюс Бернсфадер* — английский военный, писатель и иллюстратор.

<sup>11</sup> *Эрнест Бевин* — британский политик и профсоюзный лидер. После войны был министром иностранных дел.

---

всякая система оружия несет отпечаток общественной системы. Люди, правящие Британией, воюют с Гитлером, к которому они всегда относились — а кое-кто из них и теперь относится — как к своему защитнику от большевизма. Это не значит, что они сознательно предадут; но значит, что в решительный момент они будут колебаться, действовать в полсилы, делать не то, что надо.

Пока правительство Черчилля не приостановило этот процесс, они, словно повинувшись неумолимому инстинкту, делали ошибку за ошибкой. Они помогали Франко свергнуть испанское правительство, хотя кто угодно, кроме слабоумного, сказал бы им, что фашистская Испания будет враждебна Англии. Они снабжали Италию военными материалами всю зиму 1939–1940 годов, хотя всему миру было понятно, что весной она на нас нападет. Ради нескольких сот тысяч акционеров они превращают Индию из союзника во врага. Кроме того, пока у власти остаются денежные классы, наша стратегия может быть только оборонительной. Всякая победа означает изменение статус-кво. Как мы можем изгнать итальянцев из Абиссинии без того, чтобы это отдалось эхом среди цветных народов нашей империи? Да и Гитлера как мы можем разгромить, не рискуя привести к власти немецких социалистов или коммунистов? У леваков, которые голосят, что «это война капиталистов», и что «британский империализм дерется за добычу», все перепуталось в голове. Британский правящий класс меньше всего хочет разжиться новыми территориями. Это будет просто лишняя морока. Их цель в войне (и недостижимая, и не декларируемая) — всего лишь удержать то, что есть.

Внутренне Англия — по-прежнему рай для богачей. Все разговоры о «равенстве лишений» — вздор. Рабочих просят примириться с удлинением рабочего дня и в то же время в газетах объявление: «Нужен дворецкий. В семье один, восемь в прислуге». Разбомбленные обитатели Ист-Энда голодают и остаются без крова, а богатые жертвы бомбежки просто садятся в машины и уезжают в комфор-

---

табельные загородные дома. За несколько недель войска местной обороны разрослись до миллиона, но организованы таким образом, что командные посты могут занимать только люди с частным доходом. Даже система нормирования устроена так, что бьет по бедным, а людей с доходом свыше 2 тысяч фунтов в год практически не затрагивает. Повсюду привилегия гасит добрую волю. В таких условиях даже пропаганда становится невозможной. Красные патриотические плакаты, выпущенные Чемберленовским правительством в начале войны, побили все рекорды глубины. Но как они могли быть иными — как мог Чемберлен и его последователи без риска для себя вызвать в народе чувства *против фашизма*? Всякий, кто действительно враждебен фашизму, должен быть противником и самого Чемберлена, и всех, кто помог Гитлеру прийти к власти. То же самое — с пропагандой на границе. Во всех речах лорда Галифакса нет ни одной конкретной идеи, ради которой хотя бы один европеец согласился рискнуть не то что головой, а ногтем мизинца. Ибо, какую цель в войне может преследовать Галифакс и ему подобные, кроме как вернуть часы назад в 1933 год?

Высвободить природный гений английского народа может только революция. Революция не значит — красные флаги и уличные бои; она означает принципиальную смену власти. Произойдет ли это с кровопролитием или без — зависит от времени и места. Не означает революция и диктатуры одного класса. Англичане, понимающие, какие перемены необходимы, и способные их осуществить, не принадлежат к одному какому-то классу, хотя людей с доходом больше 2 тысяч фунтов в год среди них очень немного. Что нам требуется — это сознательный открытый бунт обыкновенных людей против несправедливостей, классовых привилегий и правления стариков. Перемена правительства тут не самое главное. Британские правительства, вообще говоря, представляют волю народа, и, если мы изменим структуру снизу, то получим и нужное правительство. Послы, генералы, чиновники и колони-

---

альные администраторы, выжившие из ума или профашистские, более опасны, чем министры кабинета, чьи глупости совершаются публично. Во всех областях национальной жизни мы должны бороться против привилегий, против представления, будто недалекий выпускник закрытой школы способен распоряжаться лучше, чем умный механик. Мы должны освободиться от хватки денежного класса, хотя и в нем есть одаренные и честные *индивидуумы*. Англия должна обрести свою настоящую форму. Та Англия, которая не на виду — на заводах и в редакциях газет, в самолетах и в подводных лодках — должна взять свою судьбу в собственные руки.

В ближайшей перспективе равенство лишений, «военный коммунизм» важнее даже, чем радикальные экономические перемены. Крайне необходимо, чтобы была национализирована промышленность, но еще необходимее, чтобы такие монструозности, как дворецкие и рантье исчезли немедленно. Испанская республика смогла сражаться два с половиной года против неизмеримо превосходящих сил противника главным образом потому, наверное, что не было больших контрастов в богатстве. Люди страдали ужасно, но все страдали одинаково. Когда у рядового не было сигареты, у генерала не было тоже. При равенстве лишений моральный дух такой страны, как Англия, вряд ли удастся сломить. А сейчас нам опереться не на что, кроме традиционного патриотизма, более прочного, чем где бы то ни было, но, наверно, не беспредельного. В какой-то момент придется иметь дело с человеком, который скажет: «При Гитлере мне будет не хуже». Но чем вы можете ему возразить — то есть, какое возражение он согласится выслушать, — когда рядовые солдаты рискуют жизнью за два шиллинга шесть пенсов в день, а толстые женщины разъезжают на «роллс-ройсах» с мопсиками у груди?

Очень похоже, что эта война продлится три года. Это значит — переутомление на работе, холодные скучные зимы, невкусная еда, отсутствие развлечений, продолжительные бомбежки. Общий уровень жизни не мо-

---

жет не понизиться, потому что война требует производства вооружений вместо потребительских товаров. Рабочих ждут страшные лишения. И они будут их терпеть почти бесконечно, если будут знать, за что сражаются. Они не трусы и даже не интернационалисты. Они могут вытерпеть все, что вытерпели испанские рабочие, и больше. Но они захотят какого-то доказательства, что их и их детей ждет впереди лучшая жизнь. Единственным верным знаком тут будет то, что когда их подвергают испытаниям и перегружают работой, богатым должно достаться еще тяжелее. И если богатые громко завизжат, тем лучше.

Мы можем этого добиться, если действительно захотим. Неверно, будто общественное мнение в Англии не имеет силы. Не бывает такого, чтобы оно, заявив о себе, ничего не достигло; ему мы обязаны большинством перемен к лучшему в последние полгода. Но двигались мы со скоростью ледника и учились только на катастрофах. Должен был пасть Париж, чтобы мы избавились от Чемберлена, должны были страдать без нужды десятки тысяч людей в Ист-Энде, чтобы мы избавились или частично избавились от сэра Джона Андерсона<sup>12</sup>. Не стоит проигрывать битву для того, чтобы похоронить труп. Ибо мы сражаемся с умным, быстрым и злым врагом, и время поджидает, и

История побежденному

Может сказать: «Увы», но не простит и ничего

не изменит<sup>13</sup>.

### III

В последние шесть месяцев было много разговоров о «пятой колонне». Время от времени безвестных психопатов сажали в тюрьму за речи в поддержку Гитлера; ин-

---

<sup>12</sup> *Джон Андерсон* — британский государственный деятель. Губернатор Бенгалии (1932), министр внутренних дел (1939–1940), канцлер казначейства (1943–1945).

<sup>13</sup> *У. Х. Оден*. «Летняя ночь» (подстрочный перевод).

---

тернировали большое число немецких беженцев — что, наверное, сильно повредило нам в Европе. Предполагать, что на улицах внезапно появится большая организованная армия вооруженных предателей, как в Голландии и Бельгии, разумеется, нелепо. Тем не менее, опасность пятой колонны существует. О ней надо задуматься, если мы задумаемся о том, каким способом может быть побеждена Англия.

Маловероятно, чтобы исход большой войны могли решить воздушные налеты. Конечно, противник может вторгнуться в Англию и оккупировать ее, но вторжение будет рискованной игрой, и если оно произойдет и провалится, мы, вероятно, станем более сплоченными, и убавится наверху число Блимпов. Кроме того, если в Англию войдут иностранные войска, английский народ поймет, что потерпел поражение, и будет продолжать борьбу. Сомнительно, чтобы его могли подчинить навсегда, и что Гитлер захочет постоянно держать на наших островах миллионную армию. Правительство ..., ... и ... (фамилии можете вписать сами) устроило бы его больше. Запугиванием англичан не принудить к сдаче, но можно измором, посулами и обманом — при условии, что они, как в Мюнхене, не поймут, что сдаются. Скорее, это может случиться, если война будет идти удачно, а не наоборот. Угрожающий тон немецкой и итальянской пропаганды — психологическая ошибка. Он действует только на интеллектуалов. Народу же в целом выгодно было бы говорить: «Согласимся на ничью». И если мирное предложение последует в *таком* духе, вот тогда профашисты поднимут головы.

Но кто такие профашисты? Перспектива победы Гитлера по душе очень богатым, коммунистам, сторонникам Мосли, пацифистам и определенной части католиков. Вдобавок, если дела уж совсем не заладятся дома, беднейшая часть рабочего класса может свернуть на пораженческую позицию, хотя и не прямо на прогитлеровскую.

---

За этим пестрым списком просматривается дерзость германской пропаганды, ее желание посулить каждому все на свете. Но разные профашистские силы не действуют сообща, каждая ведет себя по-своему. Коммунисты определенно поддерживают Гитлера и будут поддерживать, если не изменится политика русских, но влияние их не очень велико. Чернорубашечники Мосли, хотя и присмирели сейчас, — более серьезная опасность, поскольку, вероятно, имеют какую-то опору в вооруженных силах. Однако, даже в период расцвета, движение Мосли едва ли насчитывало пятьдесят тысяч. Пацифизм — скорее психологический курьез, чем политическое движение. Некоторые крайние пацифисты, вначале полностью отвергавшие насилие, прониклись симпатией к Гитлеру и даже забавляются антисемитизмом. Это интересно, но не важно. «Чистый» пацифизм, этот побочный результат морского могущества, может привлечь только людей, очень благополучных и всячески защищенных. Кроме того, будучи негативным и безответственным, он не возбуждает большого рвения у своих сторонников. Из членов Союза обета мира менее пятнадцати процентов платят годовые взносы. Ни одна из этих групп — пацифисты, коммунисты и чернорубашечники — не способна собственными силами развернуть широкую кампанию за прекращение войны. Но они могли бы очень облегчить предательскому правительству переговоры о капитуляции. Подобно французским коммунистам, они могут, сами того не ведая, стать агентами миллионеров.

Настоящая опасность грозит сверху. Не надо обращать внимания на разглагольствования Гитлера о том, что он друг бедных, враг плутократии и т. д. Подлинный Гитлер — в его действиях и в «Mein Kampf». Он никогда не преследовал богатых, если они не были евреями или активно не противодействовали ему. Гитлер — это централизованная экономика, которая лишила капиталиста большинства властных функций, но оставила структуру общества в прежнем виде. Государство контролирует

---

промышленность, но по-прежнему есть богатые и бедные, хозяева и слуги. Поэтому, когда приходилось выбирать между нацизмом и истинным социализмом, денежный класс всегда был на стороне Гитлера. С кристальной ясностью это проявилось во время гражданской войны в Испании — и еще раз, когда капитулировала Франция. Правительство гитлеровских марионеток — не рабочие люди, а шайка банкиров, сенильных генералов и продажных правых политиков.

В Англии такое картинное, *сознательное* предательство вряд ли может совершиться, да и едва ли кто попытается его совершить. Тем не менее, для многих плательщиков дополнительного подоходного налога эта война — просто дурацкая семейная ссора из-за пустяков, и ее надо прекратить любой ценой. Можно не сомневаться, что движение «за мир» имеет опору наверху; возможно, уже сформирован теневой кабинет. Эти люди попытают счастья не в момент поражения, а в какой-то статичный период, когда скука будет подкреплена недовольством. Они не будут говорить о капитуляции, а только о мире, и, безусловно, убедят себя, а может быть, и других, что это наилучший выход. Армия безработных во главе с миллионерами, цитирующими Нагорную проповедь — вот в чем для нас опасность. Но она не возникнет, если мы установим хотя бы относительную социальную справедливость. Дама в «ролс-ройсе» подрывает моральный дух сильнее, чем бомбардировки Геринга.

---

## Часть III: Английская революция

### I

Английская революция началась несколько лет назад и стала набирать силу, когда войска вернулись из Дюнкерка. Как всё в Англии, она разворачивается сонно, нехотя, но разворачивается. Война ускорила ее, но отчаянно требует еще большего ускорения.

Прогресс и реакция перестают иметь что-либо общее с партийными ярлыками. Если нужен конкретный пример, можно сказать, что прежнее различие между правыми и левыми стерлось, когда впервые была опубликована «Пикчер пост». Какова политическая линия «Пикчер пост»? Или «Кавалькейд», или выступлений Пристли по радио, или передовиц «Ивнинг стандарт»? Никакие старые классификации к ним не применимы. Говорит это лишь о существовании множества людей без четкой партийной принадлежности, понявших за последний год или два, что в стране у нас не все ладно. Но поскольку общество без классов и частной собственности обычно называют социалистическим, мы можем дать такое название обществу, к которому движемся сейчас. Война и революция неразделимы. Нам не удастся построить общество, которое в западной стране может считаться социалистическим, не победив Гитлера; с другой стороны, нам не удастся победить Гитлера, экономически и социально оставаясь в девятнадцатом веке. Прошлое борется с будущим, и у нас есть два года, год, может быть, всего несколько месяцев, чтобы обеспечить победу будущему.

Мы не можем рассчитывать на то, что нынешнее правительство или ему подобное осуществит нужные изменения по собственной воле. Инициатива должна идти снизу. А это значит, что должно возникнуть нечто, никогда в Англии не существовавшее, — социалистическое движение, за которым стоит действительно масса людей. Но для начала надо разобраться, почему социализм в Англии не удался.

---

В Англии есть только одна социалистическая партия, действительно обладавшая влиянием, — лейбористская. Она не могла добиться никаких крупных перемен, потому что, за исключением чисто внутренних дел, никогда не имела независимой политики. Она была и остается, главным образом, партией профсоюзов, озабоченной повышением заработной платы и улучшением условий труда. Это значит, что все предвоенные годы она была прямо заинтересована в процветании британского капитализма. Между прочим — и в сохранении империи, ибо большую часть своего богатства Англия черпала из Азии и Африки. Уровень жизни английских рабочих — членов профсоюза, которых представляла лейбористская партия, косвенно зависел от пота, пролитого индийскими кули. В то же время лейбористская партия была социалистической партией, использовала социалистическую фразеологию, говорила на языке старомодного антиимпериализма. Ей приходилось выступать за «независимость» Индии — так же, как приходилось выступать за разоружение и вообще «прогресс». Тем не менее, все понимали, что это вздор. В век танка и бомбардировщика отсталые сельскохозяйственные страны, вроде Индии и африканских колоний, могут быть не более независимыми, чем собака или кошка. Если бы лейбористы пришли к власти, получив прочное большинство, и пожаловали Индии подлинную независимость, Индию немедленно захватили бы японцы или поделили между собой Япония и Россия.

У лейбористского правительства был бы выбор между тремя имперскими политиками. Одна — управлять империей по-прежнему, что значило бы оставить всякие претензии на социализм. Другая — отпустить подвластные народы «на свободу», что означало бы отдать их Японии, Италии и другим хищным державам, катастрофически понизив при этом уровень жизни в Британии. Третья — принять *позитивную* имперскую политику, направленную на преобразование империи в федерацию социалистических государств, некий более рыхлый и свободный

---

вариант Союза советских республик. Но история и устройство лейбористской партии таковы, что это невозможно. Эта была партия профсоюзов, с безнадежно узким кругозором, мало интересовавшаяся делами империи и не имевшая контактов среди людей, скреплявших империю. Лейбористам пришлось бы поручить управление Индией и Африкой, всю работу по обороне империи людям, набранным из другого класса и традиционно враждебным социализму. И что еще печальнее — сомнение, сможет ли лейбористское правительство, взявшееся за дело всерьез, заставить себя слушаться. При всей своей величине и количестве сторонников, лейбористская партия не имела опоры во флоте, почти не имела в армии и военно-воздушных силах и совсем никакой — в колониальной администрации и среди государственных служащих в метрополии. В Англии ее позиции были прочны, но нельзя сказать, что неуязвимы, а вне Англии все преимущества — на стороне соперников. Придя к власти, она встала бы перед неизменной дилеммой: выполнить свои обещания, рискуя вызвать бунт, или же продолжать политику консерваторов и бросить разговоры о социализме. Лейбористские руководители никогда не могли найти решение, и с 1935 года стало сомнительно, хотят ли они, в самом деле, получить власть. Они выродились в Вечную оппозицию.

Кроме лейбористской партии, существовало несколько крайних партий, среди них сильнейшая — коммунисты. Коммунисты имели значительное влияние в лейбористской партии в период 1920–1926 и 1935–1939 годов. Главным их достижением — и всего левого крыла лейбористов — было то, что они помогли оттолкнуть от социализма средний класс.

История последних семи лет ясно показала, что в Западной Европе шансов у коммунизма нет. Фашизм оказался гораздо привлекательнее. В одной стране за другой коммунистов убирала их более современные враги — нацисты. В странах английского языка коммунисты никогда не имели серьезной опоры. Их идеи привлекали только

---

довольно редкий тип людей, встречающийся, главным образом, в среде интеллигенции среднего класса, — людей, которые перестали любить свою страну, но все-таки ощущают потребность в патриотизме и потому переносят патриотические чувства на Россию. К 1940 году, после двадцатилетних усилий, потратив громадное количество денег, британская компартия насчитывала едва ли 20 000 членов — меньше, чем в 1920 году, когда она только начинала. Другие марксистские партии значили еще меньше. За ними не было русских денег и престижа, и они еще больше, чем коммунисты, были привязаны к доктрине классово́й войны — порождению девятнадцатого века. Год за годом они проповедовали свое устарелое евангелие, так и не сделав вывода из того, что оно не привлекает к ним последователей.

Не сложилось в стране и сильного фашистского движения. Не настолько плохи были материальные условия, и не появилось лидера, с которым можно было бы считаться всерьез. Надо долго оглядываться вокруг, чтобы найти человека, менее обремененного идеями, чем сэр Освальд Мосли. Он был пуст, как кувшин. Не мог усвоить даже той элементарной мысли, что его фашизму не следовало оскорблять национальные чувства. Все его движение было рабской копией иностранных: униформа и партийная программа — из Италии, приветственный жест из Германии и в качестве запоздалого довеска — травля евреев. А когда Мосли начинал, среди самых видных его сторонников были евреи. Человек масштаба Боттомли или Ллойд Джорджа, пожалуй, смог бы вызвать к жизни реальное фашистское движение в Британии. Но такие лидеры появляются только тогда, когда в них есть психологическая нужда.

После двадцати лет застоя и безработицы все английское социалистическое движение не сумело предложить такой вариант социализма, который показался бы желательным массе народа. Лейбористская партия стояла на позициях робкого реформаторства, а марксисты смот-

---

рели на современный мир через очки девятнадцатого века. И те, и другие игнорировали сельское хозяйство и проблемы империи; и те, и другие восстали против себя средние классы. Тупость левой пропаганды отпугнула целые категории нужных людей: заводских администраторов, авиаторов, морских офицеров, фермеров, конторских служащих, лавочников, полицейских. Все эти люди привыкли думать, что социализм угрожает их благополучию, или же воспринимать его как нечто мятежное, «антибританское». К этому движению тяготели только интеллигенты, наименее полезная часть среднего класса.

Социалистическая партия, действительно желающая чего-то достигнуть, для начала взглянула бы в лицо фактам, которые и по сей день не принято упоминать в левых кругах. Она признала бы, что Англия более едина, чем большинство других стран, что британским рабочим есть что терять, кроме своих цепей, и что разница во взглядах и обычаях между классами быстро сокращается. В общем, она признала бы, что «пролетарская революция» невозможна, что идея ее устарела. Но за все предвоенные годы так и не появилось социалистической программы, революционной и вместе с тем осуществимой, — в основном, конечно, из-за того, что никто по-настоящему не хотел больших перемен. Лейбористские лидеры хотели жить, как жили, получать свои жалованья и периодически меняться постами с консерваторами. Коммунисты хотели жить, как жили, с приятным ощущением, что они мученики, терпя поражение за поражением, а потом возлагая вину на других. Левая интеллигенция хотела жить, как жила, насмехаться над Блимпами, подтачивать дух среднего класса и сохранять свою излюбленную позицию приживалки у получателей дивидендов. Политика лейбористской партии превратилась в вариант консерватизма, «революционная» политика — в игру словами.

Но теперь обстоятельства изменились, годы дремоты закончились. Быть социалистом — уже не значит лгать систему, которой, на самом деле, ты весьма доволен.

---

На этот раз мы попали в серьезный переплет. «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Либо мы превратим наши слова в поступки, либо погибнем. Мы очень хорошо понимаем, что при нынешней социальной структуре Англия не может уцелеть; надо сделать так, чтобы это поняли другие, и действовали соответственно. Мы не выиграем войну, не сдвинувшись к социализму, и не построим социализм, не выиграв войну. В отличие от мирных лет, сейчас такое время, когда можно быть и революционером, и реалистом. Социалистическое движение, которое может увлечь за собой массы людей, согнать профашистов с властных постов, уничтожить наиболее вопиющие несправедливости и показать рабочему классу, что ему есть за что бороться, привлечь к себе средние классы, вместо того, чтобы их отталкивать, предложить реальную имперскую политику, вместо прежней смеси из лицемерия и утопии и подружить интеллект с патриотизмом, — такое движение впервые стало возможным.

## II

Тот факт, что мы воюем, превратил социализм из книжного слова в осуществимую политику. Неэффективность частного капитализма была доказана повсюду в Европе. Его несправедливость была наглядно доказана в лондонском Ист-Энде. Патриотизм, против которого социалисты так долго боролись, стал мощным рычагом в их руках. Люди, в иное время цеплявшиеся изо всех сил за свои жалкие привилегии, быстро уступят их, когда страна окажется в опасности. Война — величайший стимул перемен. Она ускоряет все процессы, стирает незначительные различия, выводит реалии на поверхность. И самое главное — война доводит до сознания индивидуума, что он не вполне индивидуум. Люди только потому и готовы погибнуть на поле боя, что сознают это. Сейчас дело не столько за тем, чтобы пожертвовать жизнью, столько за тем, чтобы пожертвовать досугом, комфортом, экономической свободой, обществен-

---

ным престижем. В Англии очень мало людей, которые действительно желают, чтобы их страну завоевала Германия. Если бы можно было объяснить, что победа над Гитлером означает уничтожение классовых привилегий, огромная масса обыкновенных людей, зарабатывающих от шести фунтов в неделю до двух тысяч в год, наверное, встала бы на нашу сторону. Эти люди совершенно незаменимы, потому что среди них — большинство технических специалистов. Очевидно, снобизм и политическое невежество таких людей, как авиаторы и морские офицеры, будут сильной помехой. Но без этих авиаторов, командиров эсминцев и т. д. мы не прожили бы и недели. Единственный подход к ним — через их патриотизм. Умное социалистическое движение использует их патриотизм, вместо того, чтобы оскорблять его, как до сих пор.

Но значит ли это, что не будет противодействия? Конечно, не значит. Рассчитывать на такое было бы наивностью.

Будет ожесточенная политическая борьба, и будет бессознательный или не вполне осознанный саботаж повсюду. И в какой-то момент, возможно, придется прибегнуть к насилию. Легко вообразить профашистский мятеж, вспыхнувший, например, в Индии. Мы должны бороться против взяточничества, невежества и высокомерия. Банкиры, крупный бизнес, землевладельцы и получатели дивидендов, чиновники с их свинцовыми задами будут мешать изо всех сил. Даже средние классы станут ежиться, когда под угрозой окажется привычный для них образ жизни. Но именно потому, что чувство национального единства в Англии не угасло, потому, что патриотизм, в конечном счете, сильнее классовой ненависти, есть надежда на то, что воля большинства восторжествует. Бессмысленно воображать, будто крутые перемены в стране не вызовут раскола; но изменническое меньшинство будет гораздо малочисленнее во время войны, чем в какое-либо иное время.

Общественное мнение заметно меняется, но нечего рассчитывать, что оно изменится быстро, само по се-

бе. В этой войне важно, что пойдет быстрее — укрепление гитлеровской империи или рост демократического сознания. По всей Англии можно наблюдать идущие с переменным успехом схватки — в парламенте и в правительстве, на заводах и в вооруженных силах, в пивных и в бомбоубежищах, в газетах и на радио. Каждый день — маленькие поражения, маленькие победы. Моррисон<sup>14</sup> стал министром внутренних дел — несколько шагов вперед. Пристли отлучен от эфира — несколько шагов назад. Это борьба между идущими ощупью и необучаемыми, между молодыми и старыми, между живым и мертвым. Но совершенно необходимо, чтобы недовольство, несомненно существующее, приобрело целенаправленную, а не obstructивную форму. Пора *народу* определить свои цели в войне. Нужна простая, конкретная программа действий, которой можно обеспечить максимальную гласность и вокруг которой может сконцентрироваться общественное мнение. Я полагаю, что нижеследующие шесть пунктов — это та программа, которая нам нужна. Первые три пункта касаются английской внутренней политики, а остальные три — империи и мира:

1. Национализация земли, шахт, железных дорог, банков и важнейших отраслей промышленности.

2. Ограничение доходов таким образом, чтобы максимальный не облагаемый налогом доход в Британии не превышал минимального больше, чем в десять раз.

3. Реформа системы образования в демократическом духе.

4. Немедленно предоставить Индии статус доминиона, с правом отделения после войны.

5. Сформировать Генеральный совет империи, где будут представлены цветные народы.

6. Заключить формальный союз с Китаем, Абиссинией и другими жертвами фашистских держав.

<sup>14</sup> Герберт Моррисон — лидер лейбористской партии. В 1929–1931 и 1940–1951 гг. занимал государственные посты.

Общее направление этой программы очевидно. Она открыто нацелена на то, чтобы превратить эту войну в революционную войну и Англию — в социалистическую демократию. Я намеренно не включил в нее ничего такого, чего не мог бы понять и счесть обоснованным самый неисключенный человек. В той форме, в какой она здесь изложена, ее могла бы напечатать на первой полосе «Дейли миррор». Но задачи данной книги понуждают меня дать некоторые разъяснения.

*1. Национализация.* «Национализировать» промышленность можно росчерком пера, но сам процесс — медленный и сложный. Нужно, чтобы вся крупная промышленность была официально передана во владение государству, представляющему обыкновенных людей. Сделав это, можно будет упразднить класс просто *владельцев*, живущих не за счет того, что производят товар, а за счет того, что юридически являются собственниками или держателями акций. Государственная собственность предполагает, таким образом, что неработающих не будет. Насколько стремительными должны быть перемены в промышленности, не столь ясно. В стране, подобной Англии, мы не можем разломать всю конструкцию и строить заново, с фундамента, тем более, во время войны. Большинство промышленных концернов, несомненно, сохранится, в основном с прежним персоналом; прежние владельцы и управляющие останутся на своих местах, но как государственные служащие. Есть основания думать, что многие мелкие капиталисты будут приветствовать такой порядок. Спротивления надо ждать от крупных капиталистов, банкиров, землевладельцев и праздных богачей, грубо говоря, — от людей с доходом свыше 2 000 фунтов в год, а таких, вместе с их иждивенцами, насчитывается в Англии не больше полумиллиона. Национализация сельскохозяйственных земель означает изъятие собственности у помещиков, сдающих землю в аренду, и у получателей десятины. Но она не обязательно затронет фермера. Трудно представить себе реорганизацию английского

---

сельского хозяйства, при которой не сохранилось бы в целости большинство существующих ферм, по крайней мере, вначале. Фермер, если он компетентный, останется в качестве управляющего на окладе. Фактически он уже и сейчас в таком положении, вдобавок осложненном тем, что он должен получать прибыль и вечно находится в долгу у банка. Некоторых видов мелкой торговли и даже малых земельных владений государство, вероятно, не тронет вообще. Было бы большой ошибкой, например, начать с уничтожения мелких арендаторов. Эти люди необходимы, в целом они компетентны, и работоспособность их основана на чувстве, что они «сами себе хозяева». Но государство непременно установит верхний предел земельных владений (самое большое, вероятно, шесть гектаров) и не допустит частного владения землей в городах.

Когда все средства производства будут объявлены государственной собственностью, простые люди почувствуют то, чего не чувствуют сейчас, — что государство — *это они*. Они будут готовы терпеть лишения, которые ждут нас впереди, и в военное, и в мирное время. И даже если лицо Англии почти не изменится с виду, в тот день, когда будут национализированы главные отрасли промышленности, сломано будет господство одного класса. И акцент будет перенесен с владения на управление, с привилегий на компетентность. Вполне возможно, что государственная собственность сама по себе вызовет меньше социальных сдвигов, чем те, которые будут вызваны обычными военными лишениями. Но это — необходимый первый шаг, без него никакая реальная перестройка невозможна.

2. *Доходы*. Ограничение доходов предполагает, что будет установлена минимальная заработная плата, а это, в свою очередь, предполагает регулируемую эмиссию внутренних платежных средств, соответствующую количеству имеющихся потребительских товаров. А это означает более жесткую систему нормирования, нежели сейчас. На нынешнем этапе мировой истории бессмысленно требовать, чтобы доходы были у всех равны. Мы не раз убеждались в

---

том, что без денежного стимула люди не хотят заниматься некоторыми работами. С другой стороны, денежное вознаграждение не обязательно должно быть очень большим. На практике невозможно поставить четкий предел заработкам. Всегда будут аномалии и обходные пути. Но предельный разрыв в заработках десять к одному представляется вполне обоснованным. В этих границах какое-то ощущение равенства возможно. Человек с заработком в 3 фунта в неделю и человек с 1500 в год могут чувствовать себя в какой-то степени братьями, а герцог Вестминстерский и бродяга, спящий на набережной — нет.

3. *Образование*. В военное время реформа образования неизбежно будет проектом, а не исполнением. Сейчас мы не можем продлить обучение в средней школе и увеличить ставки учителей в начальной. Но некоторые шаги к демократизации образования можно сделать уже сегодня. Мы можем прежде всего отменить автономию привилегированных закрытых школ и старых университетов и наполнить их учащимися, субсидируемыми государством и отобранными только на основании их способностей. В настоящее время закрытые школы — отчасти блюстительницы классовых предрассудков, а отчасти своего рода налог, который средние классы платят высшим за право быть допущенными к определенным профессиям. Конечно, ситуация постепенно меняется. Средние классы уже возмущаются дороговизной образования, а война, если она продлится еще год или два, разорит большинство закрытых школ. Эвакуация тоже приводит к некоторым незначительным переменам. Но существует опасность, что старые учебные заведения, которые дольше других выдержат финансовые бури, сохранятся в той или иной форме как рассадники снобизма. Что касается 10 000 «частных школ», имеющих в Англии, огромное большинство их не заслуживает ничего, кроме закрытия. Это просто коммерческие предприятия, и качество образования в них зачастую ниже, чем в начальных школах. Существуют они только потому, что многие считают постыдным полу-

---

чить образование в общедоступных школах. Государство может покончить с таким отношением, объявив, что берет на себя *все* образование, пусть даже поначалу это будет не более чем жестом. Нам нужны и действия, и жесты. Пока социальное происхождение будет определять, получит одаренный ребенок нужное образование или нет, все наши разговоры о «защите демократии» ничего не стоят.

4. *Индия.* Индии мы должны предложить не «свободу», которая, повторяю, невозможна, но союз, партнерство — словом, равенство. А кроме того, мы должны сказать индийцам, что они могут отделиться, если захотят. Без этого не может быть равенства в партнерстве, и никто не поверит тому, что мы защищаем цветные народы от фашизма. Но ошибочно думать, что если индийцы получат право уйти от нас, они им немедленно воспользуются. Когда британское правительство предложит им безусловную независимость, они откажутся, ибо как только они получат право на отделение, исчезнет их главный побудительный мотив к нему.

Полный разрыв будет не меньшим несчастьем для Индии, чем для Англии. Умные индийцы это понимают. В нынешнем состоянии Индия не только не может защитить себя, но едва ли может и прокормить. Все управление страной зависит от корпуса специалистов (инженеров, лесоводов, железнодорожников, солдат, врачей), а они в большинстве своем англичане, и заменить их в течение пяти или десяти лет невозможно. Кроме того, английский — главный язык межнационального общения в Индии, и почти вся индийская интеллигенция весьма англоязычна. Переход под иностранное владычество, — ибо, если британцы уйдут из Индии, в нее немедленно войдут японцы и другие, — чреват колоссальным беспорядком. Ни японцы, ни русские, ни немцы, ни итальянцы не смогут вести дела в Индии даже на том низком уровне эффективности, какой достигнут британцами. Они не обладают необходимым числом технических специалистов, знанием языков и местных условий, и вряд ли смогут завоевать

---

доверие незаменимых посредников — евразийцев. Если Индию просто освободят, то есть лишат британской военной защиты, первым результатом будет завоевание другой державой, а вторым — великий голод, который за несколько лет истребит миллионы людей.

В чем нуждается Индия — это в возможности выработать собственную конституцию, без помех со стороны Британии, но при ее участии, которое гарантирует военную защиту и помощь технических специалистов. Это немислимо, пока в Англии нет социалистического правительства. По меньшей мере, восемьдесят лет Англия искусственно задерживала развитие Индии — отчасти из страха перед торговой конкуренцией в случае, если промышленность Индии слишком разовьется, отчасти из-за того, что отсталыми народами легче править, чем цивилизованными. Общеизвестно, что рядовой индеец гораздо больше страдает от своих же соотечественников, чем от британцев. Мелкий индийский капиталист эксплуатирует городского рабочего безжалостно, крестьянина с рождения до смерти держит в своих лапах ростовщик. Но все это — косвенный результат владычества британцев, инстинктивно стремившихся сохранить Индию по возможности отсталой. Наиболее лояльны к британцам принцы, землевладельцы и бизнес — в общем, реакционные слои, благоденствующие в нынешних условиях. В тот момент, когда Англия перестанет быть по отношению к Индии эксплуататором, изменится баланс сил. Британцам не надо будет улещивать нелепых индийских принцев с их позолоченными слонами и картонными армиями, мешать росту индийских профсоюзов, стравливать мусульман с индуистами, защищать бесполезную жизнь ростовщика, выслушивать изъявления преданности мелких чиновников-подхалимов, отдавать предпочтение полуварварам гуркам перед образованными бенгальцами. Как только оборвется поток дивидендов, текущий из тел индийских кули на банковские счета старух в Челтенеме, придет конец и всей системе саиб-туземец, высокомерному невежеству с одной стороны, и за-

---

висти и раболепию с другой. Англичане могут работать вместе с индийцами на развитие Индии и обучать индийцев тому, чему им систематически мешали учиться. Многие ли из нынешнего британского персонала в Индии, чиновного и коммерческого, примут такой порядок, то есть навсегда расстанутся со званием «саиб» — это другой вопрос. Но, вообще говоря, рассчитывать надо, скорее, на молодых людей и тех служащих (гражданских инженеров, лесоводов, агрономов, врачей, преподавателей), которые получили научное образование. Высшие чиновники, губернаторы провинций, уполномоченные, судьи и т. д. безнадёжны; но их как раз легче всего заменить.

Вот что, приблизительно, означал бы статус доминиона, если бы его предоставило Индии социалистическое правительство. Это — равноправное партнерство, до той поры, пока в небе не перестанут хозяйничать бомбардировщики. Но к нему мы должны добавить безусловное право на отделение. Это — единственный способ доказать серьезность наших намерений. И то, что относится к Индии, относится *mutatis mutandis* к Бирме, Малайе и большинству наших африканских владений.

Пункты 5 и 6 не требуют пояснений. Без них невозможно утверждать, что, ведя эту войну, мы защищаем мирные народы от фашистской агрессии.

Следует ли думать, что подобная политика не найдет последователей в Англии? Год назад, даже полгода назад так бы оно и было — но не сейчас. Кроме того, сейчас такое положение, что ее можно пропагандировать. Есть значительное число еженедельников, которые будут готовы представить миллионам читателей, если не саму набросанную здесь программу, то, по крайней мере, *какую-то* политику подобного направления. Есть даже три или четыре ежедневных газеты, способных отнестись к ней сочувственно. Вот какой путь мы проделали за последние шесть месяцев.

Но осуществима ли такая политика? Это зависит исключительно от нас.

---

Некоторые пункты, предложенные здесь, можно выполнить немедленно, другие потребуют лет или десятилетий и даже тогда не будут выполнены полностью. Полностью не осуществляется ни одна политическая программа. Важно, чтобы нечто подобное было объявлено нашей политикой. Главное всегда — *направление*. Бессмысленно ожидать, разумеется, что нынешнее правительство избрет политику, направленную на превращение этой войны в войну революционную. У нас сейчас компромиссное правительство, и Черчилль едет на двух лошадях, как циркач. О таких мерах, как ограничение доходов, нечего и помышлять, пока власть не будет отобрана у прежнего правящего класса. Если в эту зиму война снова примет статичный характер, я считаю, что мы должны агитировать за всеобщие выборы, хотя партийная машина консерваторов будет изо всех сил этому препятствовать. Но нужное правительство мы можем получить даже без выборов в палату общин, если очень этого захотим. Достаточно будет сильного толчка снизу. Из кого может составиться такое правительство, гадать не буду. Знаю только, что нужные люди найдутся, когда народ этого действительно захочет, ибо движение создает лидеров, а не лидеры движение. В течение года, может быть даже шести месяцев, если нас еще не победят, мы будем присутствовать при рождении того, чего никогда прежде не существовало, — специфически английского социалистического движения. До сих пор была только лейбористская партия, созданная рабочим классом, но не нацеленная на фундаментальные перемены, и марксизм, немецкая теория в русской интерпретации, неудачно пересаженная в Англию. Отклика в сердце у англичан все это не находило. Например, за всю свою историю английское социалистическое движение так и не создало песни с запоминающейся мелодией, ничего подобного «Марсельезе» или «Кукараче». Когда появится соприродное Англии социалистическое движение, марксисты, как и все остальные, кто питается прошлым, будут его открытыми врагами. Неизбежно объявят его «фашизмом». Уже сейчас сре-

---

ди мягкотелых левых интеллектуалов принято говорить, что если мы будем сражаться с нацистами, станем нацистами сами. С таким же успехом можно сказать, что если мы будем воевать с неграми, то почернеем. Чтобы «стать нацистами», надо иметь за плечами историю Германии. Нация не может уйти от своего прошлого, просто совершив революцию. Английское социалистическое правительство преобразует нацию сверху донизу, но она по-прежнему сохранит неистребимые черты нашей цивилизации, особенной цивилизации, о чем я говорил выше.

Социализм у нас не будет ни доктринерским, ни даже логичным. Он отменит палату лордов, но, вполне вероятно, не отменит монархию. Он оставит недоделки и анахронизмы повсюду — судью в его нелепом парике и льва и единорога на пуговицах солдатской фуражки. Он не установит явной диктатуры одного класса. Он сгруппируется вокруг прежней лейбористской партии и будет иметь массовую поддержку в профсоюзах, но вберет в себя и большую часть среднего класса, и многих молодых людей из буржуазного сословия. Руководство его будет набираться по большей части из нового неопределенного слоя квалифицированных рабочих, технических специалистов, авиаторов, ученых, архитекторов и журналистов — людей, которые чувствуют себя своими в век радио и железобетона. Но он никогда не расстанется с традициями компромисса и верой в то, что закон выше государства. Он будет расстреливать предателей, но перед этим справедливо судить, а иногда и будет оправдывать. Всякий открытый бунт он подавит быстро и жестоко, но будет очень мало мешать свободе устного и письменного слова. Политические партии с разными названиями будут существовать по-прежнему, революционные секты — по-прежнему публиковать свои газеты и так же мало привлекать внимания. Он отделит церковь от государства, но не будет преследовать религию. Он сохранит смутное уважение к христианскому моральному кодексу и время от времени будет говорить об Англии как о «христианской стране». Католическая церковь

---

поведет с ним войну, но неконформистские секты и большая часть англиканской церкви смогут найти с ним общий язык. Он настолько сохранит связи с прошлым, что иностранные наблюдатели будут поражены, а иной раз и усомнятся: была ли вообще революция.

Тем не менее, все необходимое он осуществит. Он национализирует промышленность, ограничит доходы, учредит бесклассовую систему образования. Подлинную его природу засвидетельствует ненависть к нему богатых людей всего мира. Он будет стремиться не к разрушению империи, а к превращению ее в федерацию социалистических государств, свободных не столько от британского флага, сколько от ростовщиков, рантье и дубоголовых британских чиновников. Его военная стратегия будет в корне отлична от стратегии государства, управляемого собственниками, потому что он не будет испытывать страха перед революционными последствиями крушения существующих режимов. Он без зазрения совести нападет на враждебного нейтрала и будет подстрекать к восстанию колонии врага. Он будет драться так, что даже в случае поражения память о нем будет опасна для победителя, как память о французской революции была опасна для меттерниховской Европы. Диктаторы станут бояться его так, как не убоятся нынешнего британского режима, будь он даже вдесятеро сильнее, чем сейчас.

Но сегодня, когда сонная жизнь Англии почти не изменилась, и возмутительный контраст между богатством и бедностью продолжает существовать даже под бомбами, почему я беру на себя смелость говорить, что все это произойдет?

Потому что наступило время, когда предсказывать будущее можно в разрезе: «или — или». Или мы превратим эту войну в революционную (я не говорю, что наша политика будет в точности такая, как я обрисовал, — только что она должна иметь такое направление), или мы проиграем и ее, и многое другое. Скоро можно будет с определенностью сказать, на какой из двух путей мы встали.

---

Но в любом случае ясно, что при теперешнем общественном устройстве мы не можем победить. Настоящие наши силы, физические, моральные и интеллектуальные мобилизовать нельзя.

### III

Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. В сущности, он противоположен консерватизму, поскольку он есть приверженность чему-то, постоянно изменяющемуся, но мистически остающемуся собой. Это мост между будущим и прошлым. Ни один подлинный революционер не был интернационалистом.

За последние двадцать лет негативное, бездеятельное отношение к жизни, модное среди английских левых, насмешки интеллектуалов над патриотизмом и физической храбростью, настойчивые попытки подточить английский моральный дух и распространить гедонистическое отношение к жизни — «а что я с этого получу», — не принесли ничего, кроме вреда. Они были бы вредны, даже если бы мы продолжали жить в кисельной вселенной Лиги наций, нафантазированной этими людьми. В век фюреров и бомбардировщиков это стало несчастьем. Как бы мало нам это ни нравилось, чтобы выжить, надо быть сильным. Нация, приученная мыслить гедонистически, не может уцелеть среди народов, которые работают, как рабы, плодятся, как кролики, и главным своим занятием считают войну. Английские социалисты чуть ли не всех расцветок хотели противостоять фашизму, но в то же время стремились сделать своих соотечественников беззащитными. Им это не удалось, потому что старые привязанности в Англии крепче новых. Но, несмотря на всю «антифашистскую» героику левой прессы, много ли шансов было бы у нас в войне с фашизмом, если бы рядовой англичанин был таким существом, каким его хотели сделать «Нью стейтсмен», «Дейли уоркер» или даже «Ньюс кроникл»?

---

До 1935 года практически все английские левые были нерешительными пацифистами. После 1935-го наиболее голосистые из них кинулись в движение «Народного фронта», которое было просто уходом от проблемы, возникшей в связи с фашизмом. Оно обозначило себя как антифашистское в чисто негативном смысле — «против» фашизма, но без какой либо различимой политики «за», — и крылась под этим дряблая мысль, что когда дойдет до дела, драться за нас будут русские. Поразительно, до чего живуча эта иллюзия. Каждую неделю в газеты потоком идут письма о том, что если бы у нас было правительство без консерваторов, русские, наверно, перешли бы на нашу сторону. Или же мы должны обозначить такие высокие цели в войне (см. книги, подобные «Unser Kampf»<sup>15</sup>, «Сто миллионов союзников — если мы захотим» и т. д.), что европейские народы тоже поднимутся на борьбу с Гитлером. Идея всегда одна и та же — искать вдохновения за границей, найти кого-то, кто будет драться вместо тебя. За этим — страшный комплекс неполноценности английского интеллектуала, убеждение, что англичане потеряли боевой дух, больше не способны терпеть.

На самом деле, нет никаких оснований думать, что кто-то будет сражаться вместо нас, кроме китайцев, которые воюют уже три года. Русских, возможно, вынудят драться на нашей стороне, если на них нападут; но они ясно дали понять, что не станут воевать с немцами, если этого можно будет избежать. В любом случае, их вряд ли вдохновит на войну зрелище левого правительства в Англии. Нынешний русский режим почти наверняка отнесется враждебно к любой революции на Западе. Покоренные народы Европы восстанут, когда Гитлер зашатается, — не раньше. Наши потенциальные союзники — не европейцы, а американцы, которым понадобится год, чтобы мобили-

---

<sup>15</sup> Книга *Ричарда Акланда* (член парламента от либеральной партии с 1935 г.; во время войны — социалист-утопист, после войны присоединился к лейбористской партии).

---

зовать свои ресурсы — если еще удастся поставить в строй крупный бизнес, — и, с другой стороны, цветные народы, которые даже сочувствовать нам не будут, пока у нас не начнется революция. Долгое время — год, два года, возможно, три — Англии предстоит быть амортизатором мира. Нас ожидают бомбежки, голод, переутомление, грипп, скука и коварные предложения мира. Ясно, что теперь нам надо собраться с духом, а не подрывать его. Вместо того чтобы машинально становиться в антибританскую позу, что стало привычкой у левых, лучше бы подумать о том, как будет выглядеть мир, если погибнет англоязычная культура. Ибо наивно думать, что другие англоязычные страны, даже США, не пострадают, если потерпит поражение Британия.

Лорд Галифакс и все его племя верят, что когда война кончится, все встанет на свои места. Снова — дурацкие дорожки Версаля, снова «демократия», то есть капитализм, снова очереди за пособиями и «роллс-ройсы», снова серые цилиндры и брюки в клетку *in saecula saeculorum*. Понятно, что ничего такого не будет. Бледная имитация этого может иметь место в случае договорного мира, но не долго. Неконтролируемый капитализм приказал долго жить\*. Выбор теперь такой: либо то коллективистское общество, которое построил Гитлер, либо то, которое может возникнуть, если он будет побежден.

Если Гитлер выиграет войну, он получит господство над Европой, Африкой и Ближним Востоком, и если его армии к тому времени не слишком истощатся, он оторвет громадные территории у Советского Союза. Он построит кастовое общество, где немецкий *Herrenvolk* («высшая раса» или «раса хозяев») будет править славянами и другими, меньшими народами, которые будут производить дешевую сельскохозяйственную продукцию. Цветные наро-

---

\* Интересно отметить, что посол США в Британии господин Кеннеди в октябре 1940 года заявил по возвращении в Нью-Йорк, что эта война «покончила с демократией». Под «демократией» он понимал частный капитализм.

---

ды он навсегда обратит в рабство. Подлинная причина ссоры фашистских держав с британским империализмом в том, что они поняли: империя распадается. Еще двадцать лет эволюции в том же направлении, и Индия будет крестьянской страной, связанной с Англией только добровольным союзом. «Полубезьяны», о которых Гитлер говорит с таким отвращением, будут летать на самолетах и производить пулеметы. Фашистская мечта об империи рабов развевается. С другой стороны, если нас победят, мы просто отдадим наших жертв новым хозяевам, которые возьмутся за дело со свежими силами, не ведая угрызений.

Но речь идет не только о судьбе цветных народов. Битва идет между двумя несовместимыми мировоззрениями. «Между демократией и тоталитаризмом, — говорит Муссолини, — не может быть компромисса». Эти две идеологии не могут даже рядом находиться продолжительное время. Пока существует демократия, даже в ее очень несовершенной английской форме, тоталитаризму грозит смертельная опасность. Во всем англоязычном мире жива идея человеческого равенства, и хотя будет ложью сказать, что мы или американцы когда-либо осуществили то, о чем так горячо говорим, *идея* такая есть, и в один прекрасный день она может стать реальностью. Из англоязычной культуры, если она не погибнет, рано или поздно вырастет общество свободных и равных людей. Но именно для того, чтобы истребить идею человеческого равенства — «еврейскую» или «иудео-христианскую» идею равенства, — и явился на свет Гитлер. Видит небо, он сам об этом часто говорит. Мысль о мире, где черные люди будут не хуже белых, а с евреями будут обращаться как с людьми, приводит его в такой же ужас и отчаяние, как нас — мысль о бесконечном рабстве.

Важно помнить, что эти два мировоззрения непримиримы. Вполне возможно, что в течение следующего года среди левой интеллигенции возникнут прогитлеровские настроения. Признаки этого уже наблюдаются. Достижения Гитлера хорошо заполняют пустоту этих людей, а пацифистам позволяют удовлетворить свои мазохистские инстинк-

---

ты. Более или менее известно заранее, что они скажут. Прежде всего, они станут отрицать, что британский капитализм эволюционирует или что поражение Гитлера означало бы не больше, чем победу британских и американских миллионеров. Отсюда будет следовать, что демократия, в конце концов, «ничем не отличается» от тоталитаризма или «ничем его не лучше». В Англии *не очень большая* свобода слова; следовательно, ее не больше, чем в Германии. Стоять в очереди за пособием — ужасно; следовательно, находиться в пыточной камере гестапо — *не хуже*. Словом, своими грехами чужой искупим, кривой слепого не зрячее. Но на самом деле, что бы ни говорили о демократии и тоталитаризме, неправда, будто они одно и то же. Это было бы неправдой, даже если бы британская демократия не эволюционировала, а осталась на нынешней стадии. Вся концепция военизированного континентального государства с его тайной полицией, цензурой и принудительным трудом в корне отлична от концепции рыхлой приморской демократии с ее трущобами и безработицей, ее забастовками и партийной политикой. Это разница между сухопутной державой и морской державой, между жестокостью и бестолковостью, между ложью и самообманом, между эсэсовцем и сборщиком квартирной платы. И, выбирая между ними, вы выбираете не столько между тем, что они есть, сколько между тем, во что они способны превратиться. Но в каком-то смысле несущественно, «лучше ли» демократия, в высшем ее выражении или низшем, чем тоталитаризм. Чтобы решить это, надо доискаться абсолютных критериев. Единственный существенный вопрос — на чьей стороне будут твои симпатии, когда придется выбирать.

Интеллектуалы, которые так любят сравнивать демократию с тоталитаризмом и доказывать, что они одним миром мазаны, — просто легкомысленные люди, которых жизнь не сталкивала с реалиями. Заигрывая с фашизмом, они демонстрируют такое же непонимание его сегодня, как и год-другой назад, когда визжали от негодования. Вопрос состоит не в том, «Можете ли вы в дискуссионном клубе

---

привести аргументы в пользу Гитлера?». Вопрос стоит иначе: «Вы в эти аргументы верите? Вы хотите подчиниться власти Гитлера? Вы хотите, чтобы Англию завоевали, или нет?». Надо выяснить для себя эти вопросы, прежде чем легкомысленно заигрывать с врагом. Ибо нейтральности в войне не бывает; на деле ты должен помогать одной стороне или другой. Когда наступает решительный момент, ни один человек, воспитанный в западной традиции, не может принять фашистского представления о мире. Важно понять это *сейчас* и понять, что из этого следует. При всей ее лениности, лицемерии и несправедливости англоязычная цивилизация — единственное большое препятствие на пути Гитлера. Это — живое опровержение всех «непреложных» догм фашизма. Вот почему все фашистские авторы годами твердят о том, что мощь Англии должна быть уничтожена. Англию надо «ликвидировать», «стереть с карты». В стратегическом плане война могла бы закончиться так, чтобы Гитлер завладел Европой, а Британская империя осталась бы в целостности, и британское морское могущество почти не пострадало. Но это невозможно идеологически; если бы Гитлер выдвинул такое предложение, то только с коварной целью: добраться до Англии окольным путем или улучшить момент для новой атаки. Он не может допустить, чтобы Англия оставалась чем-то вроде воронки, через которую смертоносные идеи из-за Атлантики потекут в полицейские государства Европы.

Вернемся, однако, к нашей точке зрения. Перед нами громадная задача: сохранить нашу демократию более или менее в том виде, в каком мы ее знаем. Но сохранить — всегда значит расширить. Выбор перед нами — не столько между победой и поражением, сколько между революцией и апатией. Если то, за что мы сражаемся, будет уничтожено, уничтожено оно будет отчасти по нашей вине.

Может случиться так, что Англия введет у себя начатки социализма, превратит эту войну в революционную и все же потерпит поражение. Во всяком случае, такое можно себе представить. Но как ни ужасно было бы это се-

---

годня для всякого взрослого британца, гораздо пагубнее был бы «компромиссный мир», на который надеются несколько богатых людей и их наемные лжецы. Окончательно погубить Англию может только английское правительство, действующее по указке Берлина. Но это не произойдет, если Англия вовремя очнется. Тогда поражение будет очевидным, борьба будет продолжаться, *идея* будет жива. Разница между поражением в бою и капитуляцией без боя — вовсе не вопрос «чести» и бойскаутской доблести. Гитлер сказал однажды, что *признать* поражение — значит, убить дух нации. Фраза трескучая, но по существу совершенно верная. Поражение в 1870 году не уменьшило мирового влияния Франции. Третья республика в интеллектуальном плане была влиятельнее, чем Франция Наполеона III. А тот мир, который заключен Петеном, Лавалем и компанией, может быть куплен только ценой сознательного уничтожения собственной культуры. Правительство Виши будет пользоваться псевдонезависимостью только при условии, что оно истребит все отличительные черты французской культуры: республиканство, светский характер государства, уважение к интеллекту, отсутствие расовых предрассудков. Окончательно победить нас нельзя, если мы заранее начнем революцию. Возможно, мы увидим, как немецкие войска маршируют по Уайтхоллу, но начнется другой процесс, в перспективе смертельный для немецкой мечты о господстве. Испанский народ потерпел поражение, но то, что он понял за эти два с половиной памятных года, когда-нибудь ударит по испанским фашистам, как бумеранг. В начале войны любили приводить одну напыщенную цитату из Шекспира. Если память мне не изменяет, ее вспомнил даже мистер Чемберлен:

Пусть к нам придут враги со всех концов земли,  
Мы их сразим: ничто нас не обескуражит,  
Коль Англия останется верна себе<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> «Король Иоанн» (подстрочный перевод).

---

Это верно, если верно это понять. Но Англия еще должна стать верной себе. Она не верна себе, пока беженцы, прибившиеся к ее берегам, сидят в концентрационных лагерях, а директора компаний разрабатывают тонкие схемы, чтобы увильнуть от дополнительного подоходного налога. Надо расстаться с «Татлером» и «Байстендером» и сказать «прощай» даме в «роллс-ройсе». Наследники Нельсона и Кромвеля не сидят в палате лордов. Они на полях и на улицах, на фабриках и в вооруженных силах, в дешевом баре и пригородном садике, и сегодня им не дает подняться поколение призраков. Истинная Англия должна раскрыться, и рядом с этой задачей даже победа в войне, хотя она и необходима, — вторая на очереди. Через революцию мы станем ближе к себе, а не дальше. Не может быть и разговора о том, чтобы остановиться на полпути, заключить компромисс, спасти тонущую «демократию», остаться на месте. Ничто и никогда не остается на месте. Мы должны приумножить наше наследие, или потеряем его; мы должны стать больше, или станем меньше; мы должны идти вперед, или вернемся вспять. Я верю в Англию и верю, что мы пойдем вперед.

*февраль 1941 г.*

---

## Литература и тоталитаризм

Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает, — вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом близком будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, верней, с иллюзиями, будто она независима. Между тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы, не задумываясь, исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература — то есть та, которая создавалась последние четыре века, — стоит на принципах честности, или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю — не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, —

---

оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждают некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу — творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление делается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу, и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный капитализм — выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать, как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал, как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и т.д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.

---

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать — даже допускать — определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных, по меньшей мере, столь же действенно, как контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым) утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими, равно как восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе церковь указывала, во что верить, но хотя бы позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он держится всю свою жизнь. А на его чувства никто не посягает.

---

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства в том, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики власть предержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надобность указывать, чем это чревато для литературы. Ведь творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот, прежде всего, по этой причине я полагаю, что конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладавал. В Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели

---

кончают с собой, исчезают в тюрьмах — обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обреченной оказывается и свобода мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны, — в немилитаристских государствах, в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю — пусть это слепая вера, не больше, — что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен осознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли его нам извне или изнутри.

*19 июня 1941 г.*

---

## **Уэллс, Гитлер и всемирное государство**

«В марте или апреле, утверждают любители пророчеств, по Англии будет нанесен сокрушительный удар... Трудно сказать, каким способом Гитлер намерен его нанести. Его ослабленные и распыленные военные части в настоящее время, по-видимому, не намного превосходят силы итальянцев, перед тем, как их проверили делом в Греции и в Африке».

«Воздушное могущество немцев почти иссякло. Их авиация не отвечает современному уровню, а лучшие летчики либо погибли, либо вымотались и утратили боевой дух».

«В 1914 году за Гогенцоллернами была лучшая армия в мире. А за этим крикливым берлинским пигмеем нет ничего, с нею сопоставимого... И все равно наши военные «эксперты» твердят об ожидаемом наступлении, хотя это только фантом. Им грезится, будто немецкие войска великолепно оснащены и безупречно выучены. То нам говорят, что будет осуществлен решающий «удар» через Испанию и Северную Африку, то рассуждают о броске через Балканы, о наступлении от Дуная к Анкаре и дальше — на Персию, на Индию, — то об «уничтожении» России, то о «лавине», которая обрушится на Италию через перевал Бреннер. Проходит неделя за неделей, а фантом все остается фантомом, и ни одно из этих пред-

---

сказаний не сбывается — по очень простой причине. А причина та, что ничего этого немцы осуществить не могут. Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны, да и то, что у них было, большей частью бессмысленно потеряно из-за глупых попыток Гитлера вторгнуться на Британские острова. А вся их примитивная выучка наспех идет прахом, едва появилось понимание, что блицкриг провалился, и что война — дело долгое».

Приведенные цитаты заимствованы не из кавалерийского журнала, а из серии газетных статей Герберта Уэллса, написанных в начале этого года, а теперь изданных книгой под заглавием «Путеводитель по новому миру». С тех пор как они были напечатаны, немецкая армия оккупировала Балканы и снова заняла Киренаику, она может, как только сочтет это целесообразным, двинуться и через Турцию, и через Испанию, она вторглась в Россию. Чем закончится эта последняя ее кампания, сказать не берусь, но все-таки замечу, что германский Генеральный штаб, чьи расчеты следует принимать всерьез, не начал бы операцию без твердой уверенности, что ее можно успешно завершить месяца за три. Вот так обстоит дело с немецкой армией, которой всего лишь пугают, не сообразив, как плохо она оснащена, как ослабела боевым духом и прочее. А что может Уэллс противопоставить «крикливому берлинскому пигмею»? Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства да еще декларацию Сэнки, которая представляет собой попытку определить основные права человека, сопровождаемая антивоенными высказываниями. За вычетом того, что Уэллса ныне особенно заботит, чтобы мир договорился о контроле над военными операциями в воздухе, это все те же самые мысли, которые он вот уже лет сорок непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущенного глупостью слушателей, — подумать только, они неспособны усвоить столь очевидные истины!

Но много ли проку утверждать, что необходим международный контроль над военными действиями в воздухе? Весь вопрос в том, как его добиться. Какой смысл

---

разъяснять, до чего желательно было бы Всемирное государство? Главное, что ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении. Всякий разумный человек и прежде в основном соглашался с идеями Уэллса; но, на беду, власть не принадлежит разумным людям, и сами они слишком часто не выказывают готовности приносить себя в жертву. Гитлер — сумасшедший и преступник, однако же, у Гитлера армия в миллионы солдат, у него тысячи самолетов и десятки тысяч танков. Ради его целей великий народ охотно пошел на то, чтобы пять лет работать с превышением сил, а вслед за тем еще два года воевать, тогда как ради разумных и, в общем-то, гедонистических взглядов, излагаемых Уэллсом, вряд ли кто-то согласится пролить хоть каплю крови. И, прежде чем заводить речь о переустройстве жизни, даже просто о мире, надо покончить с Гитлером, а для этого потребуется пробуждение энергии, которая не обязательно будет столь же слепой, как у нацистов, однако не исключено, что она окажется столь же неприемлемой для «просвещенных» гедонистов. Что позволило Англии устоять в последний год? Отчасти, бесспорно, некое смутное представление о лучшем будущем, но, прежде всего, атавистическое чувство патриотизма, врожденное у тех, чей родной язык английский, — ощущение, что они превосходят всех остальных. Двадцать предвоенных лет главная цель английских левых интеллигентов состояла в том, чтобы подавить это ощущение, и, если бы им удалось добиться своего, мы бы уже видели сейчас эсэсовские патрули на улицах Лондона. А отчего русские с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти, видимо, их воодушевляет еще не до конца забытый идеал социалистической утопии, но, прежде всего — необходимость защитить Святую Русь («священную землю отечества» и т. п.), о которой теперь вспомнил и говорит почти этими именно словами Сталин. Энергия, действительно делающая мир тем, что он есть, порождается чувствами — национальной гордости, преклонением перед вождем, ре-

---

лигиозной верой, воинственным пылом, словом, эмоциями, от которых либерально настроенные интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережиток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая способность к действию.

Те, кто называет Гитлера Антихристом или, наоборот, святым, ближе к истине, нежели интеллектуалы, десять кошмарных лет утверждавшие, что это просто паяц из комической оперы, о котором нечего всерьез говорить. На поверку подобные настроения свидетельствуют лишь об изоляции, ставшей состоянием английской жизни. Книжный клуб левых, по существу, порождение Скотленд-ярда, точно так же, как Союз обета мира — порождение военного флота. Одной из примет последнего десятилетия стал статус серьезной литературы, который приобрела «политическая книга» — некий расширенный памфлет, сочетающий сведения по истории с критическими высказываниями о политике. Но даже самые заметные авторы таких книг — Троицкий, Раушнинг, Розенберг, Силоне, Боркенау, Кёстлер и другие — не были англичанами, и, кроме того, почти все они были отступниками, то есть отреклись от экстремизма партий, к которым прежде принадлежали, познакомившись с тоталитаризмом накоротке, испытав преследования и пережив изгнание. Лишь в англоязычных странах вплоть до начала войны было принято считать, что Гитлер — не заслуживающий внимания фанатик, а немецкие танки сделаны из картона. По цитируемым мною высказываниям Уэллса видно, что он и сегодня думает примерно так же. Вряд ли его мнения переменялись ввиду бомбардировок или успехов немцев в Греции. Чтобы понять, в чем сила Гитлера, он должен был бы отказаться от образа мыслей, которого придерживался всю жизнь.

Подобно Диккенсу, Уэллс происходит из среднего класса, которому чуждо все военное. Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. Сражения, преследования,

---

схватки — эта сторона жизни внушает ему глубочайшее отвращение, что выразилось во всех его ранних книгах яростными выпадами против любителей лошадей. Главный злодей в его «Историческом очерке» — Наполеон, искатель приключений на поле брани. Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние сорок лет, и вы в ней обнаружите одну и ту же, бесконечно повторяющуюся, мысль: человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного Всемирного государства, и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе, — антиподы. Это противопоставление — постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны — наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой — война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессора древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса — это победа за победой, которые ученый одерживает над романтиком. Что же, Уэллс, вероятно, прав, полагая, что «разумное», плановое общество, где у руля будут ученые, а не шарлатаны, рано или поздно станет реальностью, но допускать это как перспективу — вовсе не то же самое, что думать, будто такое общество возникнет со дня на день. Где-то должны отыскаться следы полемики Уэллса с Черчиллем, происходившей во время русской революции. Уэллс упрекает Черчилля в том, что тот сам не верит собственным пропагандистским заявлениям, будто большевики — это чудовища, утопающие в пролитой ими крови, и т. д.; просто Черчилля страшит, что большевики возвещают наступление эры здравого смысла и научного контроля, когда для охотников помахать жупелами — таких, как Черчилль, — не останется места. Но в действительности Черчилль судил о большевиках вернее, чем Уэллс. Возможно, первые большевики были чистыми ангелами или сущими дьяволами — это не так уж важно, — но разумными людьми их никак не назовешь. И тот порядок, который они вводили, был не утопией уэллсовского образца, а

---

правлением избранных, представлявшим собой, подобно английскому правлению избранных, военную деспотию, подкрепленную процессами в духе «охоты на ведьм». То же непонимание сути дела сказалось в иной форме, когда Уэллс взялся судить о нацистах. Гитлер — это соединившиеся в одном лице агрессоры и шарлатаны, какие только известны из истории. А стало быть, рассуждает Уэллс, это абсурд, тень давнего прошлого, выродок, которому суждено стремительно исчезнуть. Увы, нельзя поставить знак равенства между наукой и здравым смыслом. Наглядным подтверждением этого служит аэроплан, которого так нетерпеливо ждали, видя в нем Символ цивилизации; на деле он почти и не используется, кроме как для сбрасывания бомб. Современная Германия продвинулась по пути науки куда дальше, чем Англия, но стала куда более варварской страной. Многие из того, во что верил и ради чего трудился Уэллс, материально осуществлено в нацистской Германии. Там порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы — и все это поставлено на службу идеям, подобающим каменному веку. Наука сражается на стороне предрассудка. Но Уэллс, само собой, не может этого принять. Ведь это противоречит мировоззрению, изложенному в его собственных книгах. Агрессоры и шарлатаны должны быть обречены, а идея Всемирного государства, каким его мыслит либерал прошлого столетия, чье сердце не забьется при звуке боевой трубы, должна восторжествовать. Если не принимать во внимание изменников и малодушных, Гитлер ни для кого не должен выглядеть как опасность. Его конечная победа означала бы невозможное возвращение истории вспять — вроде реставрации Якова II.

Впрочем, не становится ли отцеубийцей человек моего возраста (а мне тридцать восемь), посягнувший на авторитет Уэллса? Интеллигенты, родившиеся примерно в начале века, — в каком-то смысле уэллсовское творение. Можно спорить о степени влияния любого писателя, в особенности «популярного», чьи книги находят быстрый

---

отзвук, но, на мой взгляд, из писавших, во всяком случае, по-английски, между 1900 и 1920 годами никто не повлиял на молодежь так сильно, как Уэллс. Все мы думали бы совсем иначе, если бы его не существовало, а значит, иным был бы и мир вокруг нас. Но дело в том, что как раз целенаправленная сосредоточенность и одностороннее воображение, которые придавали ему вид вдохновенного пророка в эдвардианский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени. Когда Уэллс был молод, антитеза науки и реакции не выглядела ложной. Обществом управляли недалекие, редко банальные люди — алчные бизнесмены, тупые сквайры, епископы, политики, способные цитировать Горация, но слыхом не слыхавшие об алгебре. Наука почиталась несколько безнравственной, а религия была незыблемой. Казалось, что все это вещи одного ряда — страсть к традициям, скудоумие, снобизм, патриотические восторги, предрассудки, поклонение войне; требовался кто-то способный выразить противоположный взгляд. На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педантов, святош, игроков в гольф, будущие его работодатели помыкали им: «Не смей! Нельзя!» — родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдалбливая в него мертвую латынь, — и вдруг являлся этот чудесный человек, который мог рассказать о жизни на других планетах или на дне морей и твердо знал, что будущее предстанет вовсе не таким, как полагали уважаемые господа. Лет за десять или даже больше до того, как инженеры сумели построить аэроплан, Уэллс знал, что человек вскоре сможет летать. А знал он это, оттого что сам хотел научиться летать и верил: исследования в данной области будут продолжаться. Но с другой стороны, в годы, когда я был мальчишкой, и братья Райт все-таки подняли с земли машину, продержавшуюся в воздухе пятьдесят девять секунд, общественным мнением было: если бы Всевышнему угодно было, чтобы мы летали, Он бы снабдил нас крыль-

---

ями. До 1914 года Уэллс был истинным пророком. Что касается материальных подробностей, его предвидение сбылось с удивительной точностью.

Однако он принадлежал девятнадцатому веку, а также народу и сословию, не любящим воевать, и поэтому для него осталась тайной огромная сила старого мира, олицетворением которого он видел тори, занятых лисьей охотой. Он не смог, да и сейчас не в состоянии понять, что национализм, религиозное исступление и феодальная верность знамени — факторы куда более могущественные, чем то, что сам он называл ясным умом. Детища темных столетий чеканным шагом двинулись в нашу эпоху, и если это призраки, то такие, которые требуют очень сильной магии, чтобы совладать с ними. Фашизм лучше всего поняли либо те, кто пострадал от него, либо сами наделенные чем-то родственным фашизму. Незатейливая книга вроде «Железной пяты», написанная тридцать с небольшим лет назад, содержит куда более верное пророчество будущего, чем «О дивный новый мир» или «Образ надвигающегося мира». Если искать среди современников Уэллса писателя, который мог бы явиться в отношении него необходимым коррективом, следует упомянуть Киплинга, отнюдь не безразличного к понятиям силы и воинской «славы». Киплинг понял бы, чем притягивает Гитлер или, раз на то пошло, Сталин, хотя трудно сказать, как бы он к ним отнесся. А Уэллс слишком благогазумынен, чтобы постичь современный мир. Серия романов о нижнем слое среднего класса — они его высшее достижение — прекратилась с началом той первой войны и уже не была возобновлена, а с 1920 года Уэллс растрчивает свой талант, сражая бумажных драконов. Но как это прекрасно, когда есть что растрчивать!

*август 1941 г.*

---

## Редьярд Киплинг

Жаль, что мистер Элиот взял такой оправдательный тон в своем длинном предисловии к избранным стихотворениям Киплинга\*. Но избежать этого было нельзя, потому что, прежде чем говорить о Киплинге, надо развеять легенду, сложенную двумя категориями людей, которые его не читали. Вот уже пятьдесят лет Киплинг — притча во языцех. В пяти поколениях литераторов каждый просвещенный человек презирал его, и в итоге девять десятых этих просвещенных людей забыты, а Киплинг, в каком-то смысле, по-прежнему с нами. Мистер Элиот не объяснил вразумительно этого факта, потому что, отвечая на поверхностное и привычное обвинение Киплинга в «фашизме», он впадает в другую крайность и защищает его там, где его нельзя защитить. Бесплезно делать вид, что цивилизованный человек может принять или хотя бы простить взгляды Киплинга на жизнь в целом. Бесплезно утверждать, например, что, описывая, как британский солдат избивает «нигера» шомполом, дабы отнять у него деньги, Киплинг говорит об этом просто как репортер и определенно не одобряет описываемого. В произведениях Киплинга нигде нет ни малейших признаков того, что он не одобряет подобное поведение, наоборот, в них ясно

---

\* «A Choice of Kipling Verse» (1941).

---

чувствуется садистическая нота, безотносительно к грубости, которая должна быть свойственна такого рода писателям. Киплинг — действительно, империалист и шовинист, бесчувственный в нравственном отношении и отвратительный эстетически. Лучше признать это с самого начала, а потом попытаться выяснить, почему он сохранился, а утонченные люди, смеявшиеся над ним, сносились так быстро.

Однако на обвинения в «фашизме» ответить надо, потому что первый ключ к пониманию Киплинга, моральному и политическому, — то, что он не был фашистом. Он был дальше от фашизма, чем удастся быть сегодня большинству гуманных и самых «прогрессивных» людей. Интересный пример того, как попугайски повторяют цитаты из него, не пытаясь свериться с контекстом и выяснить их смысл, — строка из «Отпустительной молитвы»: «Lesser breeds without the Law» («Меньшие племена, не знающие закона»). Над этим стихом с удовольствием смеются в жантильно-левых кругах. Предполагают, конечно, что «меньшие племена» — это «туземцы», и воображение рисует саиба в тропическом шлеме, пинающего кули. В контексте смысл этого стиха прямо противоположный. Фраза «меньшие племена» почти наверняка относится к немцам, в особенности к авторам-пангерманистам, которые «не знают закона», то есть, незаконны, а вовсе не бесильны. Всё стихотворение, которое принято считать разнужданным хвастовством, на самом деле, — осуждение силовой политики, и британской, и германской. Две строфы стоит процитировать (я цитирую их как политику, не как поэзию):

If, drunk with sight of power, we loose  
Wild tongues that have not thee in awe,  
Such boastings as the Gentiles use,  
Or lesser breeds without the Law —  
Lord God of Hosts, be with us yet,  
Lest we forget — lest we forget!

---

For heathen heart, that puts her trust  
In reeking tube and iron shard,  
All valiant dust that builds on dust,  
And guarding, call not Thee to guard,  
For frantic boast and foolish word —  
Thy mercy on Thy People, Lord!<sup>1</sup>

Фразеология Киплинга во многом идет от Библии и, без сомнения во второй строфе он имел в виду текст псалма 127: «Except the Lord build the house, they labour in vain that build it; except the Lord keep the city, the watchman waketh in vain» (Псалом 126. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»). Это не тот текст, который произведет большое впечатление на постгитлеровское сознание. В наше время никто не верит в санкцию высшую, нежели военная сила; никто не верит, что силу можно одолеть иначе, как большей силой. Нет Закона, есть только сила. Я не говорю, что это убеждение истинно, а говорю только, что этого убеждения держатся все современные люди. Те, кто делает вид, будто убеждены в ином, — либо интеллектуальные трусы, либо поклоняются силе в глубине души, либо просто отстали от века. Взгляды Киплинга — дофашистские. Он еще верит, что падению предшествует гордость, и что боги нака-

---

<sup>1</sup> Коль, мощью призрачной хмельны,  
Собой хвалиться станем мы,  
Как варварских племен сыны,  
Как многобожцы, чада тьмы,  
Бог сил! Нас не покинь! — дабы  
Забуть мы не смогли!

За то, что лишь болванки чтим,  
Лишь к дымным жерлам знаем страх  
И, не припав к стопам Твоим,  
На прахе строим, сами прах,  
За похвальбу дурацких од,  
Господь, прости же Свой народ!  
(Перевод О. Юрьева.)

---

зывают *hubris*<sup>2</sup>. Он не предвидит появления танка, бомбардировщика, радио, тайной полиции и их воздействия на психологию.

Но, говоря это, отрицаю ли я то, что сказал о шовинизме и жестокости Киплинга? Нет, я просто говорю, что взгляды империалиста XIX века и взгляды современного гангстера — не одно и то же. Киплинг целиком принадлежит периоду 1885–1902 годов. Мировая война и ее последствия поселили в нем горечь, но ни из одного события после бурской войны он, кажется, ничего нового для себя не извлек. Он был пророком британского империализма в его экспансионистской фазе (роман «Свет погас» воспроизводит атмосферу того времени даже лучше, чем его стихотворения). И к тому же неофициальным историком британской армии, старой наемнической армии, которая стала преобразовываться в 1914 году. Вся его уверенность, его нахрапистая витальность — следствие ограничений, неведомых фашисту или полуфашисту.

К концу жизни Киплинг сделался угрюм, и причиной тому, несомненно, было политическое разочарование, а не писательское тщеславие. История почему-то пошла не по плану. После величайшей своей победы Британия оказалась менее значительной мировой державой, чем прежде, и Киплингу хватило проницательности, чтобы это понять. Классы, которые он идеализировал, растеряли свою доблесть, молодые стали гедонистами или недовольными, желание окрасить карту в красный цвет испарилось. Он не мог взять в толк, что происходит, потому что никогда не понимал экономических сил, движущих империалистической экспансией. Замечательно, что Киплинг, кажется, не сознает, так же, как обыкновенный солдат или колониальный администратор, что империя — прежде всего, прибыльный концерн. Империализм представляется ему чем-то вроде насильственного обращения в христианскую веру. Ты наводишь на толпу безоружных «ту-

---

<sup>2</sup> Чрезмерная гордость или самоуверенность, высокомерие (*греч.*).

---

земцев» пулемет Гатлинга, а потом даешь им «Закон», который включает в себя дороги, железные дороги и здание суда. Поэтому он не мог предвидеть, что те же мотивы, которые вызвали империю к жизни, в конце концов, ее разрушат. Тот же мотив, например, который побудил расчистить малайские джунгли под каучуковые плантации, стал причиной того, что теперь эти плантации целенькими достались японцам. Современные тоталитаристы знают, что они делают, а англичане девятнадцатого века не знали, что они делали. И та, и другая позиция имеет свои преимущества, но Киплинг так и не смог перейти с одной на другую. Притом, что он был художником, взгляды его — такие же, как у бюрократа, который презирает «бокс-валлу»<sup>3</sup>. И зачастую до конца дней не может понять, что «бокс-валла»-то и заказывает музыку.

Но именно потому, что Киплинг отождествляет себя со служивыми людьми, он обладает одним качеством, которое почти несвойственно «просвещенной» публике, — чувством ответственности. Левые из среднего класса ненавидят его за это не меньше, чем за его жестокость и вульгарность. Все левые партии в индустриальных странах в основе своей симулянтки, потому что сделали своим занятием борьбу с тем, чего на самом деле разрушить не хотят. Цели у них интернационалистские, и в то же время они стараются сохранить уровень жизни, который с этими целями несовместим. Все мы живем, грабя азиатских кули, и «просвещенные» среди нас требуют, чтобы этим кули дали свободу; но наш уровень жизни и, следовательно, наша «просвещенность» требует, чтобы ограбление продолжалось. Гуманист всегда лицемер; Киплинг это понимал, и отсюда, может быть, его умение отчеканить эффектную фразу. Трудно обрисовать кривой на один глаз пацифизм англичан лаконичнее, чем в такой строке: «смеетесь над мундирами, стерегущими ваш сон». Правда, Киплинг не понимает экономической

---

<sup>3</sup> Туземный торговец (*англо-инд.*).

---

стороны взаимоотношений Блимпа и высоколобого. Не понимает, что карту окрашивают в красный цвет, главным образом, для того, чтобы эксплуатировать кули. Видит он не кули, а индийского государственного чиновника; но даже при таком взгляде отлично понимает, как распределены функции, кто кого защищает. Он ясно видит, что люди могут быть высоко цивилизованными лишь тогда, когда менее цивилизованные охраняют их и кормят.

Насколько, в самом деле, отождествляет себя Киплинг с воспетыми им администраторами, солдатами и инженерами? Меньше, чем иногда полагают. Наделенный блестящим умом, он вырос в обывательском окружении, в молодости много странствовал, и, благодаря какой-то особенности характера, быть может, отчасти невротической, стал предпочитать деятельного человека чувствительному. Англичане, служившие в Индии, — если взять наименее симпатичных из его идолов, — по крайней мере, были людьми, которые делали дело. Возможно, дурное дело, но они изменили лик земли (поучительно будет взглянуть на карту Азии и сравнить железнодорожную сеть Индии с сетями окружающих стран); между тем, они ничего бы не достигли, не удержались бы у власти и одной недели, если бы взгляды у них были такие, как, скажем, у Э. М. Форстера. Киплингская литературная картина английской Индии XIX века, пусть безвкусная и поверхностная, — единственная, какая у нас есть, и создать ее он сумел только благодаря тому, что был достаточно груб, чтобы существовать и держать язык за зубами в клубах и полковых столовых. Но сам он не слишком был похож на людей, которыми восхищался. Из нескольких частных источников я узнал, что многие англичане в Индии, современники Киплинга, не любили и не одобряли его. Они говорили и, без сомнения справедливо, что он совсем не знал Индии, а, кроме того, с их точки зрения, был слишком интеллектуалом. В Индии он общался «не с теми» людьми, а из-за смуглой кожи его ошибочно

---

подозревали в том, что у него есть примесь азиатской крови. Много в его эволюции объясняется тем, что он родился в Индии и рано бросил школу. В нескольких иных обстоятельствах он мог бы стать хорошим романистом или первоклассным автором песен для мюзик-холла. Но насколько верно, что он был вульгарным ура-патриотом, чем-то вроде рекламного агента у Сесила Родса? Это верно, но неверно, будто он был подпевалой и конъюнктурщиком. В зрелые годы, а может быть, и с самого начала он никогда не стремился угодить публике. По словам мистера Элиота, в вину ему ставят то, что он выражал непопулярные взгляды в популярной форме. Это сужает вопрос, поскольку подразумевается, что «непопулярные» означает непопулярные у интеллигенции. На самом же деле, «идеи» Киплинга не нужны были широкой публике, и она их не приняла. В 90-е годы, как и сейчас, народ был настроен антимилиитаристски, империя ему надоела, и патриотизм его был бессознательный. Официальные поклонники Киплинга, как и сейчас, принадлежали к «служилому» среднему классу — это люди, которые читают «Блэквудс». В глупые первые годы двадцатого века Блимпы, наконец, открыли кого-то, кто мог называться поэтом и был на их стороне, возвели Киплинга на пьедестал, и некоторые из самых сентенциозных его стихотворений, такие, как «Если...» получили чуть ли не библейский статус. Но вряд ли Блимпы читали его внимательнее, чем Библию. Он часто говорит то, что они никогда не одобрили бы. Немногие, критиковавшие Англию изнутри, говорили о ней злее, чем этот вульгарный патриот. Нападал он, как правило, на британский рабочий класс, но не всегда. Эта фраза о «дураках во фланели у крикетных ворот и грязных олухах у футбольных» по сей день торчит, как заноза, и относится она в равной степени к матчам Итон–Харроу и к финалам футбольного кубка. Некоторые его стихи о бурской войне по своему содержанию удивительно современны. В «Стелленбосе», написанном, вероятно, около 1902 года, сжато выражено то,

---

что говорил в 1918 году — да и сейчас говорит, — каждый разумный офицер пехоты.

Романтические идеи Киплинга насчет Англии и империи, может быть, и не коробили бы, если бы к ним не примешивались ходячие классовые предрассудки. Если рассмотреть его лучшие и самые характерные произведения — его солдатские стихи, в особенности «Казарменные баллады», замечаешь, что больше всего их портит покровительственный тон. Киплинг идеализирует армейского офицера, в особенности младшего офицера, доходя до идиотизма, но рядовой солдат, пусть привлекательный и романтический, непременно должен быть комичен. Он всегда должен выражаться на каком-то стилизованном кокни, воспроизводимом не во всех деталях, но вполне последовательно. Очень часто результат приводит в смущение, как юмористическая декламация на церковном собрании. И этим объясняется тот любопытный факт, что стихотворения Киплинга часто можно улучшить, сделать менее игривыми и крикливыми, просто пройдясь по ним и пересадив их с кокни на литературную речь. В особенности это относится к его рефренам, нередко исполненным подлинного лиризма. Достаточно двух примеров (один о похоронах, а другой о свадьбе):

So it's knock out your pipes and follow me!  
And it's finish up your swipes and follow me!  
Oh, hark to the big drum calling.  
Follow me — follow me home!<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> В оригинале:

So it's knock out your pipes an' follow me!  
An' it's finish up your swipes an' follow me!  
Oh, 'ark to the big drum callin'.  
Follow me — follow me 'ome!

А ну-ка, прячь кистеты — и за мной!  
Приканчивай галеты — и за мной!  
Бой барабанный слушай!  
За мной, за мной, домой!

(«Домой!» Перевод А. Шнейерсона.)

---

Или:

Cheer for the Sergeant's wedding —  
Give them one cheer more!  
Grey gun-horses in the lando,  
And a rogue is married to a whore!<sup>5</sup>

Здесь я восстановил нормальное правописание. Киплингу следовало бы самому догадаться. Следовало бы понять, что две заключительные строки первой из этих строф прекрасны, и не стоило смеяться здесь над простонародным выговором. В старых балладах лорд и крестьянин говорят на одном языке. Для Киплинга это невозможно, он видит людей в искаженной, классовой перспективе, и жизнь отплатила ему за это: одна из его лучших строк испорчена, потому что «follow me 'ome» гораздо уродливее, чем «follow me home». Но даже там, где музыкально от этого ничего не меняется, игривость его эстрадного кокни раздражает. Впрочем, его гораздо чаще цитируют вслух, чем читают на бумаге, и, цитируя его, большинство людей инстинктивно вносят изменения.

Можно ли представить себе, чтобы рядовой солдат 1890-х годов или сегодняшний читал «Казарменные баллады» с чувством: вот писатель, который говорит за меня! Очень трудно представить. Любому солдату, способному прочесть книгу или стихотворение, сразу бросится в глаза, что Киплинг почти не замечает классовой войны, идущей в армии, так же как и вне ее. Дело не только в том, что

---

<sup>5</sup> В оригинале:

Cheer for the Sergeant's weddin' —  
Give 'em one cheer more!  
Grey gun-'orses in the lando,  
An' a rogue is married to a whore.

Приветствуйте свадьбу сержанта —  
Приветствуйте еще раз!  
Серые артиллерийские кони запряжены в ландо,  
И прохвост женится на шлюхе!

(«Свадьба сержанта». Подстрочный перевод.)

солдат у него комичен, — солдат у него патриот с феодальным сознанием, готов восхищаться своими офицерами и горд тем, что служит королеве. Конечно, отчасти это так, иначе невозможно было бы воевать, но «Что я сделал для тебя, Англия, моя Англия?»<sup>6</sup> — вопрос, характерный для среднего класса. Почти любой рабочий человек немедленно продолжил бы его другим: «Что Англия сделала для меня?». В той мере, в какой Киплинг способен это понять, он объясняет это «сильным эгоизмом низших классов» (его собственное выражение). Когда он пишет не о британцах, а о «лояльных» индийцах, мотив «Саям, саиб» иной раз бывает развит у него до отвратительности. Но нельзя отрицать, что он гораздо больше интересовался простым солдатом, гораздо больше беспокоился о том, чтобы с ним обходились справедливо, чем большинство «либералов» в те дни или в наши. Он видит, что о солдате не заботятся, что ему гнусно не доплачивают, что его лицемерно презирают те, чьи доходы он охраняет. «Мне стали понятны, — говорит он в посмертных мемуарах, — явные ужасы жизни рядового и мучения, которым он подвергается без нужды». Его обвиняют в том, что он прославляет войну. Возможно, и прославляет, но не так, как принято, не изображая ее чем-то вроде футбольного матча. Как и большинство людей, умевших писать военные стихи, Киплинг ни разу не побывал в бою, но войну он видит в реалистическом свете. Он знает, что пули причиняют боль, что под огнем каждый испуган, что простой солдат никогда не понимает, из-за чего война, что всё, происходящее за пределами его участка сражения, ему неизвестно, и что британские войска, как и все прочие, часто спасаются бегством:

I 'eard the knives be'ind me, but I dursn't face my man,  
Nor I don't know where I went to, 'cause I didn't stop to see,

<sup>6</sup> Из книги У.Э. Хенли (1849–1903) «Ради Англии: стихотворения и песни военного времени».

Till I 'eard a beggar squealin' out for quarter as 'e ran,  
And I thought I knew the voice an' — it was mine!<sup>7</sup>

Слегка модернизировать стиль — и это могло оказаться в какой-нибудь из разоблачительных книг о войне, написанных в 1920-х годах. Или вот:

An' now the hugly bullets come peckin' through the dust,  
An' no one wants to face 'em, but every beggar must;  
So, like a man in irons which isn't glad to go,  
They moves 'em off by companies uncommon stiff and slow<sup>8</sup>.

Сравните с этим:

«Forward the Light Brigade!»  
Was there a man dismayed?  
No! though the soldier knew  
Someone had blundered<sup>9</sup>.

Может быть, Киплинг и преувеличивает ужасы: по нынешним меркам войны времен его молодости и войнами трудно назвать. Возможно, это объясняется его невротичностью, жадной жестокости. Но он, по крайней мере, знает, что солдаты, брошенные на неприступную цель, приходят в смятение, и что четыре пенса в день — не щедрая пенсия.

<sup>7</sup> Врага я в лицо не видел. Клинки звенели сзади.  
Ног под собой не чуя, не помню, как бежал.  
Когда донесся голос — и молил он о пощаде, —  
Его опознал я сразу. Он мне принадлежал.  
(«Тот день». Перевод И. Копостинской.)

<sup>8</sup> И вот злые пули заклевали пыль,  
И никто не хочет под них попасть, но каждый несчастный должен.  
И тогда, как кандальник, не желая идти,  
Они трогаются поротно, непривычно медленно и туго.  
(«Язычник». Подстрочный перевод.)

<sup>9</sup> Легкая бригада, вперед!  
Был ли хоть один в смятении?  
Нет! Хотя знал солдат,  
Что кто-то ошибся.  
(А. Теннисон. «Атака легкой бригады». Подстрочный перевод.)

Насколько полна и правдива оставленная нам Киплингом картина наемнической армии конца XIX века, укомплектованной старослужащими? О ней, так же как и о картине английской Индии XIX века, надо сказать, что это не только лучшая, но и едва ли не единственная картина, какой мы располагаем. Он запечатлел колоссальный материал, о котором можно было бы узнать только из устных рассказов или из нечитабельных полковых историй. Возможно, его картина армейской жизни кажется более полной и точной, чем на самом деле, потому что любой англичанин из среднего класса, скорее всего, знает достаточно, чтобы самому заполнить пробелы. Во всяком случае, читая эссе о Киплинге, недавно опубликованное мистером Эдмундом Уилсоном<sup>10</sup>, я дивился тому, сколько вещей, знакомых нам до скуки, почти непонятны американцу. Но из ранних произведений Киплинга действительно возникает яркая и не слишком искаженная картина старой, допулеметной армии: душные казармы в Гибралтаре или Лакнау — красные мундиры, белые ремни и круглые шапки, пиво, драки, порки, повешения и распятия, горны, запах овса и конской мочи, горластые сержанты с полуметровыми усами, кровавые и всегда бестолковые стычки, переполненные транспорты, холера в лагерях, «туземные» любовницы и под конец смерть в работном доме. Это грубая, вульгарная картина, где патриотический мюзикхолльный номер мешается с самыми натуралистическими пассажами в духе Золя, но потомки смогут получить по ней представление о том, какова была армия профессиональных наемников. И примерно на том же уровне они узнают кое-что о британской Индии в те дни, когда не было ни автомобилей, ни холодильников. Ошибочно полагать, что у нас появились бы лучшие книги об этом, если бы, например, Джордж Мур или Гиссинг<sup>11</sup>, или Томас Гарди об-

<sup>10</sup> Эдмунд Уилсон (1895–1972) — американский критик и прозаик.

<sup>11</sup> Джордж Огастес Мур (1873–1958) — англо-ирландский романист и драматург. Джордж Гиссинг (1857–1903) — английский романист.

ладали опытом Киплинга. Такого случиться не могло. Не могло в Англии родиться книги, подобной «Войне и миру» или меньшим произведениям Толстого, таким как «Севастопольские рассказы» или «Казачьи», — не потому что недоставало талантов, а потому что человек, наделенный чувствительностью, необходимой для написания таких книг, никогда не завязал бы соответствующих связей. Толстой жил в большой военной империи, где считалось естественным, что молодой человек из хорошей семьи должен прослужить несколько лет в армии, тогда как Британская империя была и остается демилитаризованной настолько, что континентальным наблюдателям это представляется почти невероятным. Цивилизованные люди не слишком охотно покидают центры цивилизации, и того, что можно назвать колониальной литературой, на большинстве языков определенно не хватает. Понадобилось вполне невероятное сочетание обстоятельств, чтобы произвести кричащее яркое киплинговское полотно, где рядовой Ортерис и миссис Хоксби позируют на фоне пальм под звуки храмовых колоколов, и одним из необходимых обстоятельств было то, что сам Киплинг лишь полумодернизирован.

Киплинг — единственный английский писатель нашего времени, пополнивший нашу речь крылатыми выражениями. Фразы и неологизмы, которые мы употребляем, не помня их происхождения, не всегда достаются нам от почитаемых писателей. Странно слышать, например, как нацистское радио называет русских солдат «роботами», — бессознательно позаимствовав слово у чешского демократа, которого наверняка бы убили, попади он к ним в руки. Вот полдюжины чеканных киплинговских фраз, которые читаешь в передовицах бульварных газет или слышишь в барах от людей, едва ли знающих его имя. Мы увидим, что они обладают одной общей характеристикой:

«Запад есть Запад, Восток есть Восток».

«Время белых».

«Что знают об Англии те, кто только Англию знает?».  
«Самка этого вида смертоносней самца».  
«Там, к востоку от Суэца».  
«Дань Дании».

Есть и другие, причем некоторые пережили свой контекст на много лет. До недавнего времени еще была в ходу фраза: «Убить Крюгера языком» и, возможно, что прозвище немцев «гунны» запущено Киплингом; по крайней мере, оно вошло в обиход в 1914 году, как только заговорили пушки. А у фраз, приведенных выше, общее то, что произносят их всегда полупрезрительно (как, скажем, «Я буду королевой мая, мама, я буду королевой мая»<sup>12</sup>), но рано или поздно все-таки произносят. Презрение «Нью стейтсмен» к Киплингу несравнимо ни с чем, но сколько раз в период Мюнхена сам же «Нью стейтсмен» цитировал «Дань Дании»?\*. Дело в том, что Киплинг, кроме его трактирной мудрости и умения дать броский образ в немногих словах («Над пальмой и сосной»... «Там, к востоку от Суэца»... «На дороге в Мандалей»), как правило, говорит о насущном. С этой точки зрения неважно, что мыслящие и порядочные люди обычно придерживаются противоположного мнения. «Бремя белых» мгновенно очерчивает реальную проблему, даже если ты считаешь, что его надо заменить на «бремя черных». Можно категорически не соглашаться с политической позицией, выраженной в «Островитянах», но нельзя сказать,

<sup>12</sup> Из стихотворения *Альфреда Теннисона* (1809–1892) «Королева мая».

\* На первой странице своей недавно вышедшей книги «Адам и Ева» мистер Миддлтон Марри цитирует хорошо известные строки:

«Девяносто шесть дорог есть,  
Чтоб песнь сложить ты мог,  
И любая правильна, поверь!»

(«В неолитическом веке». Перевод *М. Фромана*.)

Он приписывает стихи Теккерю. По-видимому, это, что называется, «оговорка по Фрейду». Цивилизованный человек предпочитает не цитировать Киплинга — то есть, предпочитает не помнить, что именно Киплинг выразил за него его мысль.

что это легкомысленная позиция. Киплинг мыслит вульгарно, но мыслит о том, что занимает человека всегда. В связи с этим возникает вопрос: поэт он или стихотворец?

Мистер Элиот определяет сочинения Киплинга как «стихи», а не «поэзию», но добавляет, что это «замечательные стихи», и поясняет далее, что если о некоторых произведениях писателя «нельзя сказать, стихи это или поэзия», то назвать его можно только «замечательным стихотворцем». Киплинг, следовательно, был версификатором, иногда создававшим поэзию, — жаль только, что мистер Элиот не назвал поэтические произведения конкретно. Беда в том, что когда дело доходит до эстетической оценки стихов Киплинга, мистер Элиот становится в оборонительную позицию и потому не может выражаться ясно. Чего он не говорит, и о чем, на мой взгляд, надо раньше всего сказать, обсуждая Киплинга, — большинство стихотворений Киплинга чудовищно вульгарны, ощущение от них такое же, как при виде третьеразрядного исполнителя в мюзик-холле, декламирующего «Косичку Ву Фан-Фу» в пурпурном свете софитов. Однако же многое в них может доставить удовольствие людям, понимающим, что такое поэзия. В худших вариантах, к тому же наиболее энергичных, таких как «Ганга Дин» или «Денни Дивер» стихи Киплинга доставляют почти постыдное удовольствие, как дешевые сладости, вкус к которым люди иногда сохраняют втайне до зрелых лет. Но даже лучшие отрывки оставляют ощущение, что тебя соблазнили чем-то поддельным — хотя соблазнили, безусловно. Если ты не сноб и не лгун, то не станешь утверждать, что ни один ценитель поэзии не получит удовольствия от таких строк:

For the wind is in the palm trees, and the temple bells they say,  
«Come you back, you British soldier, come you back  
to Mandalay»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Ветер в пальмах кличет тихо, колокольный звон смелей:

К нам вернись, солдат британский, возвращайся в Мандалей!  
(«Мандалей». Перевод *М. Гутнера*.)

И, однако, эти стихи не поэзия в том смысле, в каком являются поэзией «Феликс Рандал»<sup>14</sup> или «Когда свисают с крыши льдинки»<sup>15</sup>. Чтобы определить место Киплинга, лучше, наверное, не жонглировать словами «стихи» и «поэзия», а просто назвать его хорошим плохим поэтом. В поэзии он то, что Гарриет Бичер-Стоу — в романистике. И само существование такого рода произведений, давно стяжавших репутацию вульгарных и при этом неизменно читаемых, кое-что говорит о времени, в котором мы живем.

На английском языке много хорошей плохой поэзии, и вся она, как мне кажется, написана после 1790 года. Примеры хороших плохих стихотворений — я намеренно привожу самые разные — «Мост вздохов», «Когда мир молод», «Атака легкой бригады», «Диккенс в стане», «Погребение сэра Джона Мура», «Дженни меня поцеловала», «Кит из Рейвелстона», «Касабьянка»<sup>16</sup>. От всех них разит сентиментальностью, и, однако — может быть, не эти именно стихотворения, а стихотворения такого рода — способны доставить истинное удовольствие людям, ясно сознающим, что в них нехорошо. Из хороших плохих стихотворений можно было бы составить солидную антологию, если бы не то обстоятельство, что хорошие плохие стихи, как правило, слишком хорошо известны и не нуждаются в перепечатке. Бессмысленно делать вид, что в наш век «хорошая» поэзия может быть по-настоящему популярной. Это искусство наименее ходовое, ему поклоняется и должен поклоняться очень узкий круг людей. Тут, наверное, требуется некоторое уточнение. Истинная поэзия бывает приемлема для народа, когда она выдает себя за что-то другое. Примеры тому мы видим в народной английской поэзии, всё еще сохраняющейся, в неко-

<sup>14</sup> Стихотворение *Джерарда Мэнли Хопкинса* (1844–1889).

<sup>15</sup> *У. Шекспир*. «Бесплодные усилия любви».

<sup>16</sup> Стихотворения *Томаса Гуда* (1799–1845), *Чарльза Кингсли* (1812–1875), *Альфреда Теннисона* (1809–1892), *Фрэнсиса Брет Гарта* (1836–1902), *Чарльза Вольфа* (1791–1823), *Ли Ханта* (1784–1859), *Сиднея Доубелла* (1824–1874), *Фелиции Химанс* (1795–1835).

торых стихах для детей, в мнемонических стихах и в песнях, сочиняемых солдатами, иногда на музыку горнов. Но вообще наша цивилизация такова, что само слово «поэзия» вызывает враждебные смешки или, в лучшем случае, холодное раздражение, какое испытывает большинство людей при слове «Бог». Если вы хорошо играете на гармонии, то, придя в ближайший бар, за пять минут соберете благодарную аудиторию. Но как отнесется к вам та же аудитория, если вы, например, захотите почитать ей сонеты Шекспира? Хорошая плохая поэзия, однако, может дойти до самой неожиданной аудитории, если заранее создана подходящая атмосфера. Несколько месяцев назад, выступая по радио, Черчилль произвел большое впечатление, процитировав «Индевор» Клафа<sup>17</sup>. Я слушал его речь с людьми, которых решительно нельзя обвинить в любви к поэзии, и могу с уверенностью сказать, что стихи их тронули, а не смутили. Но даже Черчиллю не сошло бы с рук, если бы он процитировал что-нибудь получше.

Насколько может быть популярным автор стихов, Киплинг был — и, наверное, до сих пор — популярен. При его жизни некоторые его стихотворения вышли далеко за границы мира читающей публики, мира школьных актов, бойскаутских декламаций, мягких кожаных обложек, календарей, выжигания на дереве — и в широчайший мир мюзик-холлов. И, однако, мистер Элиот считает нужным составить сборник его стихотворений, тем самым признаваясь в пристрастии, которое с ним разделяют другие люди, хотя у них не всегда достает смелости сказать об этом. Тот факт, что хорошая плохая поэзия существует, свидетельствует о некотором эмоциональном сродстве между интеллектуалом и простым человеком. Интеллектуал отличается от простого человека, но лишь в некоторых деталях личности, притом — не всё время. Но в чем же особенность плохого хорошего стихотворения? Хорошее плохое стихотворение — красивый памятник очевидному. Оно за-

<sup>17</sup> *Артур Клаф* (1819–1861) — английский поэт.

---

печатлеват в запоминающейсе форме — ибо стихи, кроме всего прочего, еще и мнемоническое устройство, — определенные чувства, которые могут разделять почти все. Достоинство стихотворения «Когда весь мир молод» заключается в том, что при всей его сентиментальности, чувство в нем — «подлинное» чувство, в том смысле, что рано или поздно вам в голову придет та мысль, которая в нем выражена, и тогда, если вы знаете это стихотворение, — оно вспомнится вам и покажется лучше, чем прежде. Такие стихотворения — нечто вроде рифмованных пословиц, и действительно популярная поэзия, как правило, афористична или сентенциозна. Достаточно одного примера из Киплинга:

White hands cling to the bridle rein,  
Slipping the spur from the booted heel;  
Tenderest voices cry «Turn again»  
Red lips tarnish the scabbard steel:  
Down to Gehenna or up to the Throne  
He travels the fastest who travels alone<sup>18</sup>.

Вульгарная мысль, выраженная сильно. Она, может быть, не верна, но такая мысль бывает у каждого. Рано или поздно будет случай, когда вы сами почувствуете, что тот едет быстрее, кто едет один, — а мысль уже — вот она, готовая, так сказать, дожидалась вашего случая. Так что, может быть, однажды услышав эту строку, вы ее вспомните.

Одна из сильных сторон хорошего плохого поэта Киплинга, о чем я уже говорил, — чувство ответственности,

---

<sup>18</sup> Белые руки цепляются за повод,  
Стягивают шпору с сапога,  
Нежные голоса кричат: «Обернись еще раз!»  
Алые губы марают сталь в ножнах.  
Вниз в геенну или вверх к престолу,  
Тот едет быстрее, кто едет один.  
(«Победители». Подстрочный перевод.)

Цитируя по памяти, Оруэлл составляет здесь строфу из двух киплинговских.

---

благодаря которому он обрел мировоззрение, пусть оно и оказалось ложным. Не имея прямых связей с какой-либо политической партией, Киплинг был консерватором — существом, ныне исчезнувшим. Те, кто сегодня называет себя консерватором, — либо либералы, либо фашисты, либо сообщники фашистов. Он отождествлял себя с властью, а не с оппозицией. В одаренном писателе нам это кажется странным и даже противным, но Киплингу это пошло на пользу в том смысле, что дало ему определенное понимание действительности. Перед властью всегда стоит вопрос: «В таких-то и таких-то обстоятельствах, что надо сделать?», тогда как оппозиция не обязана брать на себя ответственность и принимать реальные решения. Там, где оппозиция постоянна и получает пенсию, как в Англии, соответственно убывают ее умственные способности. Кроме того, всякого, кто исходит из пессимистического реакционного взгляда на жизнь, обычно убеждают в его правоте события, потому что утопия никогда не наступает, и «боги азбучных истин», как выразился сам Киплинг, всегда возвращаются. Киплинг продался британскому правящему классу — не финансово, а эмоционально. Это деформировало его политическое мышление, ибо британский правящий класс был не таким, как он воображал, и погрузило его в бездну глупости и снобизма, зато наделив одним преимуществом: он, по крайней мере, пытался представить себе, что такое действие и ответственность. Громадное достоинство его в том, что он не остроумен, не «дерзок», не имеет желания эпатировать буржуа. Он оперировал по большей части банальностями, и поскольку мы живем в мире банальностей, многое из сказанного им попало в точку. Даже худшие его глупости кажутся менее поверхностными и меньше раздражают, чем «просвещенные» речения того же периода, такие, как эпиграммы Уайльда или шутихи-лозунги, запущенные под занавес «Человека и сверхчеловека» Бернадом Шоу.

*февраль 1942 г.*

---

## Новое открытие Европы

Когда я был мальчиком, и меня учили истории, — разумеется, очень плохо, как почти всех в Англии, — история представлялась мне чем-то вроде длинного свитка, разделенного жирными черными линиями. Каждая линия отмечала конец того, что называлось «периодом», и то, что наступило после, полностью отличалось от того, что было до, — так ты склонен был думать. Почти как бой часов. Например, в 1499 году ты был еще в Средних веках, где рыцари в латах налетали друг на друга с длинными копьями, а потом вдруг часы били 1500 — и ты попадал в Возрождение, где все носили воротники с оборками и дублеты и грабили корабли с сокровищами в Карибском море. Еще одна очень жирная черная линия проходила в 1700 году. После нее шел XVIII век, и люди вдруг перестали быть «кавалерами» и «круглоголовыми» и сделались необыкновенно элегантными джентльменами в штанах до колен и треуголках. Все они пудрили волосы, нюхали табак, выражались исключительно плавными фразами, которые казались еще высокопарнее оттого, что я не понимал, как они произносили свои буквы «С» и «Ф». Такой мне представлялась вся история — последовательностью совершенно разных периодов, резко менявшихся в конце века или, по крайней мере, в какой-то строго определенный год.

На самом деле этих резких переходов не бывает, ни в политике, ни в манерах, ни в литературе. Каждый век залезает в следующий — иначе быть не может, потому что всякий разрыв перекрывается неисчислимыми человеческими жизнями. И все-таки периоды есть. Мы чувствуем, что наш век разительно отличается, например, от раннего викторианского периода, а скептик XVIII века, будь он заброшен в Средние века, увидел бы себя в окружении дикарей. Время от времени что-то происходит — обусловлено это, в конечном счете, переменами в технике и промышленности, хотя связь не всегда очевидна, — и весь дух и темп жизни меняются, меняются взгляды людей, что находит свое отражение в их политическом поведении, их манерах, архитектуре, литературе и во всем остальном. Сегодня, например, никто бы не мог написать стихотворение, подобное «Элегии на сельском кладбище» Грея, а в эпоху Грея никто не смог бы написать сонеты Шекспира. Эти вещи принадлежат разным периодам. И хотя черные линии на свитке истории — конечно, иллюзия, временами переход совершается быстро, иногда настолько быстро, что можно довольно точно назвать его дату. Не опасаясь чрезмерного упрощения, можно сказать: «Около такого-то года родился такой-то литературный стиль». Если бы меня спросили о начале современной литературы, — а раз мы до сих пор называем ее «современной», значит, этот период еще не кончился, — я бы отнес его к 1917 году, году, когда Т. С. Элиот опубликовал свою книгу «Пруфрок и другие наблюдения». Во всяком случае, ошибка тут не больше пяти лет. В конце первой мировой войны литературный климат определенно изменился — типичный писатель стал совсем другой личностью, и лучшие книги последующего периода существовали как будто совсем не в том мире, что книги четырех- или пятилетней давности.

Для иллюстрации я попрошу вас мысленно сравнить два стихотворения, никак не связанные между собой, но для сравнения пригодные, потому что каждое типично для своего периода. Сравните, например, одно из

---

ранних стихотворений Элиота со стихотворением Руперта Брука, английского поэта, которым, пожалуй, больше всего восхищались в годы перед первой мировой войной. Может быть, самые характерные для него стихотворения — патриотические, написанные в самом начале войны. Хорош сонет, начинающийся так: «Если я погибну, думай обо мне одно: “Есть уголок чужеземного поля, который всегда будет Англией”»<sup>1</sup>. А теперь прочтите рядом с этим какое-нибудь стихотворение Элиота о Суинни, хотя бы «Суинни среди соловьев». Помните: «Круги штормовой луны к Ла-Плате / Скользят, озаряя небесный свод»<sup>2</sup>.

Как я уже сказал, эти стихотворения не связаны ни тематически, ни как-либо еще, но сравнить их можно, потому что каждое характерно для своего времени и оба казались хорошими стихотворениями, когда были написаны. Второе и сейчас еще кажется. Не только технически, но и по духу, по взгляду на жизнь, породившему их, по интеллектуальному наполнению эти стихи отличаются разительно. Молодого англичанина, воспитанника закрытой школы и университета, полного воспоминаний об английских дорожках, шиповнике и прочем, готового с радостью умереть за свою страну, и довольно утомленного космополита-американца, прозревающего признаки вечности в сомнительном парижском ресторане, разделяет пропасть. Это могло бы быть всего лишь индивидуальным различием, но дело в том, что с такими же отличиями, отличиями, побуждающими к таким же сравнениям, вы сталкиваетесь, сопоставляя чуть ли не любых двух писателей, характерных для того и другого периода. И с романистами — то же, что с поэтами: Уэллс, Беннет и Голсуорси, с одной стороны, и Джойс, Лоуренс, Хаксли и Уиндем Льюис — с другой. Последние гораздо менее плодовиты, пишут тщательнее, больше озабочены техникой, менее оптимистичны и, в общем, менее уверены в

---

<sup>1</sup> Подстрочный перевод.

<sup>2</sup> Перевод *Андрея Сергеева*.

---

своим отношении к жизни. Больше того, вас не покидает ощущение, что различен их интеллектуальный и эстетический багаж — примерно как если бы сравнить французского писателя XIX века, скажем, Флобера, с английским писателем XIX века, таким как Диккенс. Француз кажется гораздо более искушенным, чем англичанин, хотя это не обязательно означает, что он лучший писатель. Но позвольте мне возвратиться немного назад и вспомнить, какова была английская литература до 1914 года.

Гигантами в то время были Томас Гарди — впрочем, переставший писать романы несколько раньше, — Шоу, Уэллс, Киплинг, Беннет, Голсуорси и, несколько особняком от остальных — напомним, не англичанин, а поляк, писавший по-английски, — Джозеф Конрад. Были А. Э. Хаусмен («Шропширский парень») и георгианские поэты — Руперт Брук и другие. Были еще бесчисленные комические писатели: сэр Джеймс Барри, У. У. Джейкобс, Барри Пэйн и многие другие. Если вы всех их прочтете, то получите неискаженную картину английского сознания до 1914 года. Существовали другие литературные тенденции, например, было немало ирландских писателей — и совсем в другом духе, гораздо более близком нашему времени, — был американский романист Генри Джеймс, но ядро литературы составляли те, кого я перечислил выше. Что же общего у писателей, таких непохожих, как Бернард Шоу и А. Э. Хаусмен или Томас Гарди и Г. Дж. Уэллс? Я думаю, существеннейшей чертой почти всех английских писателей того периода было полное неведение всего, что лежало за пределами современной английской жизни. Кто-то писал лучше, кто-то хуже, одни были политически сознательны, другие нет, но европейское влияние не коснулось никого из них. Это относится даже к таким романистам, как Беннет и Голсуорси, заимствовавшим весьма поверхностно у французских и, возможно, русских образцов. Все они выросли в обыкновенной, респектабельной среде английского среднего класса и почти бессознательно верили, что этот уклад будет держаться всегда, становясь со време-

---

нем более гуманным и просвещенным. Некоторые из них, в частности Гарди и Хаусмен, смотрели на жизнь пессимистически, но, по крайней мере, верили, что так называемый прогресс был бы желателен, если бы был возможен. Кроме того, — черта, обычно сопутствующая недостатку эстетического чувства, — все они не интересовались прошлым, во всяком случае, отдаленным прошлым. Даже Томас Гарди, взявшийся за эпическую драму в стихах из эпохи наполеоновских войн, — «Династы», — смотрит на историю с позиций патриотического школьного учебника. История не представляла для них даже эстетического интереса. Арнольд Беннет, например, активно занимался литературной критикой: он не видит почти никаких достоинств ни в одной книге, написанной до XIX века, и даже не особенно интересуется другими писателями, кроме своих современников. Для Бернарда Шоу прошлое — по большей части просто грязь, которую надо смести во имя прогресса, гигиены, эффективности и всякого такого. Г. Дж. Уэллс, хотя и написал историю мира, смотрит на прошлое с неприязненным удивлением, как цивилизованный человек — на племя каннибалов. Все эти люди, независимо от того, нравились им их эпоха или нет, думали, что она, по крайней мере, лучше прежних, и принимали литературные нормы своего времени как данность. В основе всех нападок Бернарда Шоу на Шекспира — обвинение (вполне справедливое, разумеется), что Шекспир не был просвещенным членом Фабианского общества. Если бы кому-нибудь из этих писателей сказали, что писатели следующего поколения обратятся к английским поэтам XVI и XVII веков, французским поэтам середины XIX и к философам средних веков, они сочли бы это каким-то дилетантством.

А теперь взглянем на писателей, которые привлекли к себе внимание (некоторые, правда, начали писать раньше) сразу после мировой войны: на Джойса, Элиота, Паунда, Хаксли, Лоуренса, Уиндема Льюиса. Первое впечатление от них, если сравнивать с предыдущими (это относится даже к Лоуренсу): что-то лопнуло. Во-первых, за

---

борт выброшена идея прогресса. Они больше не верят, будто люди становятся все лучше и лучше оттого, что снижается уровень смертности, регулируется рождаемость, совершенствуется канализация, больше становится аэропланов, и быстрее ездят автомобили. Почти все они тоскуют об отдаленном прошлом, о каком-то периоде прошлого, начиная с древних этрусков Д. Г. Лоуренса и далее. Все они реакционеры в политике или, в лучшем случае, политикой не интересуются. Им дела нет до закулисной возни с реформами, которые казались важными предшественникам: право голоса для женщин, порядок продажи спиртного, регулирование рождаемости, меры против жестокого обращения с животными. Все они относятся дружелюбнее или, во всяком случае, менее враждебно к христианским церквям, нежели предыдущее поколение. И почти у всех эстетическое чувство обострено как ни у одного, наверное, английского писателя со времен «романтического пробуждения». Лучше всего проиллюстрировать сказанное на конкретных примерах, то есть, сравнив выдающиеся книги двух периодов, более или менее однотипные. В качестве первого примера сравним рассказы Г. Дж. Уэллса, собранные хотя бы в книге «Страна слепых», с рассказами Д. Г. Лоуренса, такими как «Англия, моя Англия» и «Прусский офицер». Сравнение правомерное, поскольку оба писателя были в наилучшей форме как новеллисты — или близки к ней, — и оба выражали новый взгляд на жизнь, сильно повлиявший на современную им молодежь. Главные темы рассказов Уэллса — прежде всего, научное открытие, а, кроме этого, мелкий снобизм и трагикомедии современной английской жизни, особенно, более бедной части среднего класса. Его «мессэдж» — если воспользоваться выражением, которого я не люблю, состоит в том, что Наука может покончить со всеми наследственными бедами человечества, но человек пока еще слишком близорук, чтобы вполне оценить свои возможности. Для рассказов Уэллса очень характерно чередование возвышенных утопических тем и

---

облегченной комедии, почти что в духе У. У. Джейкобса. Он пишет о путешествиях на Луну и на дно моря, но пишет также о лавочниках, уваливающих от банкротства и старающихся сохранить лицо в чудовищно снобистской атмосфере провинциальных городов. Связующее звено — вера Уэллса в Науку. Он твердит, что если бы мелкий лавочник приобрел научное мировоззрение, его несчастьям пришел бы конец. И конечно, он верит, что это произойдет — возможно, в ближайшем будущем. Еще несколько миллионов фунтов на научные исследования, еще несколько научно образованных поколений, еще несколько сданных в утиль суеверий, и всё в порядке. Если обратиться теперь к рассказам Лоуренса, вы не найдете там веры в Науку — скорее уж враждебность, — не найдете заметного интереса к будущему, во всяком случае, разумно устроенному гедонистическому будущему, какое занимает Уэллса. Не найдете там даже идеи, что мелкий лавочник или другая какая-нибудь жертва нашего общества жили бы лучше, будь они лучше образованы. Найдете же вы упорную подспудную мысль, что человек отказался от первородства, став цивилизованным. Стержневая тема почти всех книг Лоуренса — неспособность современного человека, особенно в странах английского языка, жить интенсивной жизнью. Естественно, в первую очередь он упирает на половую жизнь, и в центре большинства его книг — пол. Но он вовсе не требует, как полагают иногда, большей сексуальной свободы. На этот счет у него нет никаких иллюзий, и так называемую искушенность интеллектуальной богемы он ненавидит не меньше, чем пуританство среднего класса. Он говорит всего лишь, что современные люди не вполне живы, неважно, из-за чрезмерно жестких норм или из-за полного отсутствия таковых. Допуская, что они могут жить полной жизнью, он мало озабочен тем, при какой социальной, политической или экономической системе они живут. Существующий строй с его классовым неравенством и прочим Лоуренс в своих рассказах принимает как данность и не про-

---

являет особенно сильного желания его изменить. Единственное, чего он хочет, — чтобы люди жили проще, ближе к земле, и волшебство таких вещей, как растительность, огонь, вода, секс, кровь, чувствовали острее, чем способны чувствовать в мире целлулоида и бетона, где никогда не умолкают граммофоны. Он воображает — и, скорее всего, зря, — что дикари или нецивилизованные народы живут интенсивнее, чем цивилизованные, и рисует мифическую фигуру, родственную уже известному нам благородному дикарю. И, наконец, проецирует эти добродетели на этрусков, населявший северную Италию древний народ, о котором мы фактически ничего не знаем. С точки зрения Уэллса этот отказ от Науки и прогресса, это желание вернуться в первобытный мир — просто вздор и ересь. Верно ли представление Лоуренса о жизни или ложно, надо признать, что оно все-таки было шагом вперед по сравнению с уэллсовским культом Науки и розовым фабианским прогрессизмом писателей вроде Бернарда Шоу. Шагом вперед в том смысле, что взгляды предшественников были изжиты, а не остались непонятыми. Сыграла тут свою роль и война 1914–1918 годов, развенчавшая и Науку, и Прогресс, и цивилизованного человека. Прогресс привел к величайшему побоищу в истории. Наука родила бомбардировщики и иприт, цивилизованный человек, как выяснилось, готов вести себя в критический момент хуже любого дикаря. Но недовольство Лоуренса современной машинной цивилизацией, без сомнения, было бы таким же, если бы и не случилась война.

Теперь я хочу провести другое сравнение: между великим романом Джеймса Джойса «Улисс» и очень большим, во всяком случае, романым циклом Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». На этот раз сравнение будет не вполне законным — сравнивается хорошая книга с плохой, и, кроме того, оно не совсем корректно хронологически, потому что последние части «Саги» были написаны в 1920-х годах. Но те части, которые скорее всего могут запомниться, были написаны около 1910 года, и

---

для моих целей сравнение вполне пригодно, поскольку и Джойс, и Голсуорси стремятся создать громадное полотно и отобразить в одной книге дух и социальную историю целой эпохи. «Собственник» теперь, наверное, не покажется нам особенно глубокой критикой общества, но современникам, судя по тому, что они о нем писали, — казался.

Джойс писал «Улисса» семь лет, с 1914 по 1921 год, то есть, всю войну, на которую, вероятно, не обращал или почти не обращал внимания, зарабатывая на скудную жизнь преподаванием языков в Италии и Швейцарии. Он готов был работать семь лет в бедности и полной неизвестности, чтобы создать эту громадную книгу. Но что именно он так страстно желал выразить? Местами «Улисса» не очень-то легко понять, но в целом от книги остаются два главных впечатления. Первое — Джойс до одержимости увлечен писательской техникой. Это было одной из главных характеристик современной литературы, хотя в последнее время она проявляется слабее. Подобные явления мы наблюдаем в пластических искусствах: художников и даже скульпторов все больше и больше занимает не столько композиция, а тем более тема, сколько сам материал, например, характер мазка. Джойса занимают слова, звуки и ассоциации слов, даже их размещение на бумаге, чего не наблюдалось в предыдущих поколениях писателей — разве что отчасти у писавшего по-английски поляка Джозефа Конрада. С Джойсом возвращается идея стиля, изысканного письма, поэтического, местами даже вычурного. С другой стороны, такой писатель как Бернард Шоу без колебаний сказал бы, что единственное назначение слов — выражать смысл точно и как можно короче. А, кроме одержимости техникой, другая главная тема «Улисса» — убожество, даже бессмысленность современной жизни после триумфа машины и крушения религиозной веры. Джойс — напомню, ирландец, и стоит заметить, что лучшие английские писатели 20-х годов зачастую не англичане, — пишет как католик, который утратил веру,

---

но сохранил психологический склад, сформировавшийся в католическом детстве и отрочестве. «Улисс» — очень длинный роман. В нем описаны события одного дня, увиденные, по большей части, глазами незадачливого коммивояжера-еврея. По выходе книга вызвала большое возмущение. Джойса обвиняли в том, что он сознательно эксплуатирует низменные темы, а на самом деле, учитывая, из чего складывается повседневная жизнь, если рассмотреть ее в подробностях, он едва ли преувеличил и убожество, и бестолковость событий этого дня. Но всюду сквозит мысль, от которой Джойс не может отделаться: что весь этот описываемый им современный мир лишен смысла, поскольку учение церкви больше не вызывает доверия. Он тоскует по религиозной вере, с которой несколько предыдущих поколений вынуждены были бороться во имя религиозной свободы. И все же, в конечном счете, главный интерес книги — технический. Значительная ее часть состоит из стилизаций или пародий — пародируется всё, от ирландских легенд бронзового века до современных газетных репортажей. И видно, что Джойс, как всякий типичный писатель своего времени, оглядывается не на английских писателей XIX века, а на писателей Европы и далекого прошлого. Мыслями он частично в бронзовом веке, частично в елизаветинской Англии. XX век с его гигиеной и автомобилями не очень ему по вкусу.

А теперь обратитесь снова к книге Голсуорси «Сага о Форсайтах», и вы увидите, насколько уже ее диапазон. Повторю, что это незаконное сравнение, а с чисто литературной точки зрения — нелепое, но как иллюстрация оно годится: в обеих книгах авторы стремятся дать исчерпывающую картину современного общества. И вот что интересно в Голсуорси: пытаясь быть иконоборцем, он совершенно не способен мысленно выйти за рамки богатого буржуазного общества, объекта его критики. С самыми небольшими поправками он принимает все его ценности как нечто самоочевидное. Неправильным ему

---

кажется лишь то, что люди немного бесчеловечны, немного жадны до денег и недостаточно развиты эстетически. Когда он берется изобразить желательный тип человека, оказывается, что это просто более культурный, более гуманный вариант рантье из верхних слоев среднего класса, господин из тех, кто не вылезал тогда из картинных галерей в Италии и щедро жертвовал Обществу по предотвращению жестокого обращения с животными. В том-то и разгадка его слабости, что на самом деле он не испытывает глубокой антипатии к социальным типам, которые, как ему кажется, он обличает. У него нет контакта ни с чем за пределами современного английского общества. Он может думать, что не любит его, но он его часть. Богатство и безопасность, кольцо дредноутов, отделявшее это общество от Европы, ограничили кругозор писателя. В глубине души он презирает иностранцев так же, как какой-нибудь малограмотный бизнесмен из Манчестера. Читая Джойса, или Элиота, или даже Лоуренса, чувствуешь, что в голове у них вся человеческая история, и что со своего места они могут смотреть наружу, на Европу и на прошлое, — а у Голсуорси, да и любого типичного английского писателя предвоенной формации этого не чувствуется.

И, наконец, еще одно короткое сравнение. Сравните чуть ли не любую из утопий Уэллса, например, «Современную утопию», или «Сон», или «Люди как боги» с «Дивным новым миром» Олдоса Хаксли. Опять такой же контраст, контраст между чрезмерной уверенностью и разочарованием, между человеком, который наивно верит в Прогресс, и человеком, который родился позже и потому увидел, что Прогресс, каким его воображали на заре авиации, — не меньшее надувательство, чем реакция.

Очевидное объяснение этой отчетливой разницы между ведущими писателями довоенных лет и послевоенного времени — сама война. Подобный поворот происходил бы в любом случае, по мере того, как обнажались бы недостатки современной материалистической цивилизации,

---

но война ускорила процесс — отчасти потому, что показала, насколько эфемерен налет цивилизации, отчасти потому, что сделала Англию менее зажиточной и тем самым менее изолированной. После 1918 года невозможно стало жить в таком же узком и уютном мире, как в ту пору, когда Британия правила не только морями, но и рынками. Мрачные события последнего двадцатилетия привели, между прочим, и к тому, что многое из старой литературы вдруг зазвучало современно. Многие из того, что творилось в Германии после прихода к власти Гитлера, словно повторяет последние тома «Упадки и разрушения Римской империи» Гиббона. Недавно я видел в театре шекспировского «Короля Иоанна» — впервые, потому что эту пьесу ставят не слишком часто. Когда я читал ее в отрочестве, она казалась мне архаичной, выкопанной из книги по истории и не имеющей никакого отношения к нашему времени. Так вот, когда я увидел всё это на сцене — с интригами и предательствами, пактами о ненападении, квислингами, людьми, посреди битвы перебегающими к противнику и прочим, — она показалась мне необычайно злободневной. И примерно то же произошло в литературном процессе между 1910 и 1920 годами. Дух времени наполнил реальным содержанием самые разные темы, казавшиеся устарелыми и выморочными в ту пору, когда Бернард Шоу и его фабианцы превращали — так им думалось — землю в какой-то огромный город-сад. Такие темы, как месть, патриотизм, изгнание, травля, расовая ненависть, религиозная вера, лояльность, культ вождя вдруг зазвучали свежо. Тамерлан и Чингисхан кажутся фигурами правдоподобными, а Макиавелли — серьезным мыслителем, каким он не казался в 1850 году. Мое восхищение писателями начала 1920-х годов, из которых главные — Элиот и Джойс, отнюдь не безгранично. Их последователи вынуждены были отказаться от многого, сделанного ими. Отращение к поверхностной идее прогресса повело их в политике по неправильному направлению, и не случайно, например,

---

что Эзра Паунд юдофобствует на римском радио. Но надо признать, что писания их — более взрослые, а кругозор шире, чем у их непосредственных предшественников. Они взломали культурное кольцо, в котором Англия существовала около века. Они восстановили связь с Европой, вернули ощущение истории и возможность трагедии. На этой основе развивалась в дальнейшем вся сколько-нибудь стоящая английская литература, и течение, у истоков которого в конце прошлой войны стояли Элиот и другие, еще не иссякло.

*март 1942 г.*

---

**Рецензия на «Бёрнт Нортон»,  
«Ист Коукер» и «Драй Селвейджс»  
Т. С. Элиота**

В последних стихотворениях Элиота мало что производит на меня глубокое впечатление. Этим я признаю какой-то недостаток в себе самом, но отсюда не следует, как могло бы показаться на первый взгляд, что надо просто замолчать и поставить точку: перемена в моей реакции, возможно, указывает на какую-то внешнюю переменную, в которой стоит разобраться.

Из прежних стихотворений Элиота я довольно много помню наизусть. Я не заучивал их специально, они просто засели у меня в голове, как бывает со всякими стихами, которые находят в тебе отзвук. Иногда, прочтя стихотворение лишь раз, можно запомнить его целиком или, скажем, 20–30 строк, причем процесс припоминания — отчасти процесс реконструкции. Что же до этих трех последних стихотворений, их я, наверно, прочел раза два или три после публикации — и что я запомнил дословно? «Время и колокол хоронят день», «В спокойной точке вращения мира», «Огромное море, альбатрос и дельфин», «О тьма тьма тьма. Все они уходят во тьму». (Я не считаю «В моем конце мое начало» — это цитата). Вот примерно и всё, что мне запало в память. Это не доказывает, что «Бёрнт Нортон» и остальные хуже, чем более запоминающиеся ранние стихотворения, и можно даже счесть это доказательством обратного, поскольку можно возразить,

---

что легче всего застревает в сознании очевидное и даже пошлое. Но что-то, видимо, ушло, выключился какой-то ток, поздние стихи не содержат в себе ранних, пусть даже они их превосходят. По-моему, объяснить это можно ухудшением темы мистера Элиота. Прежде чем продолжать, вот два отрывка, достаточно близкие по смыслу для того, чтобы их сравнивать. Первый — заключительный пассаж из «Драй Селвейджс»:

Но действие в высшем смысле —  
Свобода от прошлого с будущим,  
Чего большинство из нас  
Здесь никогда не добьется.  
И от вечного поражения  
Спасает нас только упорство.  
В конце же концов мы рады  
Знать, что питаем собою  
(Вблизи от корней тиса)  
Жизнь полнозначной почвы<sup>1</sup>.

А вот отрывок из стихотворения, написанного раньше:

Он замечал, что не зрачок,  
А лютик смотрит из глазницы,  
Что вождедеющая мысль  
К телам безжизненным стремится.  
.....  
Он знал, как стонет костный мозг,  
Как кости бьются в лихорадке;  
Лишенным плоти не дано  
Соединенья и разрядки.

Эти отрывки пригодны для сравнения, потому что оба об одном — а именно, о смерти. Первый следует за более длинным пассажем, в котором объясняется, во-первых, что научные исследования — вздор, ребяческое суеве-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи Элиота в переводе *Андрея Сергеева*.

---

рие, вроде гаданий, а затем, что достичь понимания вселенной способны только святые; нам же, прочим, остаются «догадки, намеки». Лейтмотив заключительного пассажа — «смирение»: в жизни есть «смысл» и в смерти тоже; к сожалению, мы не знаем, каков он, но то, что он существует, должно утешать нас, когда мы прорастаем крокусами или другим чем-то, что растет под тисами на деревенских погостах. А теперь взглянем на две другие строфы, ранние. Мысли здесь приписаны другим людям, но, вероятно, выражают тогдашнее отношение самого мистера Элиота к смерти, по крайней мере, в определенные моменты. Здесь нет речи о смирении. Напротив, здесь выражено языческое отношение к смерти, вера в то, что мир иной — темное место, населенное тощими, писклявыми призраками, завидующими живым, что как бы ни плоха была жизнь, смерть — хуже. Такое представление о смерти, по-видимому, было распространенным в древности и в каком-то смысле распространено сейчас. «Стонет костный мозг, кости бьются в лихорадке», знаменитая ода Горация «Eheu fugaces»<sup>2</sup>, и невысказанные мысли Блума на похоронах Пэдди Дингама — все об одном и том же. Пока человек считает себя индивидом, он должен относиться к смерти с негодованием. Пусть ограниченное, но, если это сильное чувство, то оно скорее родит хорошую литературу, чем религиозная вера, которой на самом деле не чувствуют, а просто принимают вопреки велению чувств. И два приведенных отрывка настолько, насколько их можно сравнивать, мне кажется, это подтверждают. На мой взгляд, не подлежит сомнению, что второй, несмотря на оттенок бурлеска, лучше первого и в чисто стихотворном плане, и в смысле силы чувства.

«О чем» эти три стихотворения — «Бёрнт Нортон» и остальные? О чем они, сказать трудно, но внешне как будто бы — об определенных местах в Англии и в Америке, с которыми связаны предки Элиота. Сюда примешаны

---

<sup>2</sup> Увы, бегут (быстротечные годы)... «Ода к Постуму».

довольно мрачные размышления о характере и цели жизни, с довольно неопределенным выводом, о котором я упомянул выше. Жизнь имеет «смысл», но это не тот смысл, от которого тянет на лирику; есть вера, но не особенно много надежды, и определенно нет энтузиазма. Тематика же ранних стихотворений Элиота была совершенно другой. Они не обнадеживали, но в них не было угнетенности, и они не угнетали. Если кому-то нравятся антитезы, то можно сказать, что поздние стихи выражают меланхолическую веру, а ранние — пылкое отчаяние. В них была дилемма современного человека, который отчаивается в жизни и не хочет быть мертвым, а вдобавок к этому они выражали ужас сверхцивилизованного интеллектуала, столкнувшегося с уродством и духовной пустотой машинного века. И вместо «вблизи от корней тиса», тональность задавали там «плачущие, плачущие толпы» или, может быть, «обломанные ногти грязных рук». Естественно, когда эти стихотворения появились, их объявили «декадентскими», и нападки прекратились только тогда, когда стало понятно, что политические и социальные тенденции Элиота реакционны. Но в каком-то смысле обвинение в «декадансе» имело под собой почву. Эти стихотворения явно были конечным продуктом, последним вздохом культурной традиции — речь от лица рантье в третьем поколении, от лица культурных людей, способных чувствовать и критиковать, но уже не способных действовать. Э. М. Форстер приветствовал выход «Пруфрока», потому что это «песня о людях, не состоявшихся и слабых», и потому что она «чужда общественного духа» (это было во время другой войны, когда общественный дух был гораздо сильнее распален, чем сейчас). О качествах, на которых должно держаться общество, способное продержаться дольше одного поколения, — о трудолюбии, храбрости, патриотизме, бережливости, чадолюбии — в ранних стихотворениях Элиота речи быть не может. Есть место только для ценностей рантье, людей, слишком цивилизованных, чтобы работать, сражаться и

даже производить потомство. Но такую цену надо было заплатить — по крайней мере, тогда — за то, чтобы написать стихи, заслуживающие чтения. Среди чувствительных людей царили настроения апатии, иронии, неверия, отвращения, а не тот розовощекий энтузиазм, к которому призывали Скуайры и Герберты<sup>3</sup>. Модно утверждать, что в стихах важны только слова, а «смысл» не имеет значения; на самом же деле, каждое стихотворение несет прозаический смысл, и если оно чего-то стоит, смысл этот должен быть таким, чтобы поэт ощущал настоящую потребность его выразить. Всякое искусство — в какой-то мере, пропаганда. «Пруфрок» говорит о жизненной тщете, но это стихотворение удивительной жизненной силы и энергии, достигающей апогея, подобного вспышке ракеты, в заключительных строфах:

Я видел, как русалки мчались в море  
И космы волн хотели расчесать,  
А черно-белый ветер гнал их вспять.

Мы грезили в русалочьей стране  
И, голоса людские слыша, стонем  
И к жизни пробуждаемся, и тонем.

В позднейших стихотворениях ничего подобного нет, хотя отчаяние рантье, пронизывающее эти строки, преодолено усилием мысли.

Беда в том, что сознание тщетности годится только для молодых. Вступив в преклонный возраст, нельзя по-прежнему «отчаиваться» в жизни. Нельзя оставаться «декадентом», потому что декадентство означает падение, а падающим назвать можно только того, кто довольно скоро достигнет дна. Рано или поздно приходится усвоить позитивное отношение к жизни и обществу. Было бы гру-

<sup>3</sup> Дж. К. Скуайр (1884–1958) — английский поэт и критик. Алан Патрик Герберт (1890–1971) — английский поэт и драматург, политический деятель.

---

бым преувеличением сказать, что поэт в наше время должен либо умереть молодым, либо примкнуть к католической церкви, либо вступить в коммунистическую партию; и все же, чтобы спастись от сознания тщетности, требуется что-то в этом роде. Есть другие смерти, кроме физической, и другие секты и вероисповедания, кроме католической церкви и коммунистической партии, но все равно, после определенного возраста человек должен либо перестать писать, либо посвятить себя деятельности, не вполне эстетической. Такая переориентация неизбежно означает разрыв с прошлым:

Пытаюсь учиться словам и каждый раз  
Начинаю сначала для неизведанной неудачи,  
Ибо слова подчиняются лишь тогда,  
Когда выражаешь ненужное, или приходят на помощь,  
Когда не нужно. Итак, каждый приступ  
Есть новое начинание, набег на невыразимость  
С негодными средствами, которые иссякают  
В сумятице чувств, в беспорядке нерегулярных  
Отрядов эмоций.

Элиот спасался от индивидуализма в церкви — так уж случилось, что в англиканской. Не надо думать, что угрюмый коллаборационизм, к которому он, по-видимому, склоняется сегодня, был неизбежным результатом его обращения. Англо-католичество не предписывает своим последователям какой-либо политической «линии», и реакционные или австро-фашистские тенденции всегда были заметны в его творчестве, особенно в прозе. Теоретически, можно стать верующим ортодоксом без того, чтобы пострадал интеллект; но это отнюдь не легко, и на деле книги ортодоксальных верующих отмечены той же зашоренностью и ограниченностью кругозора, что и книги ортодоксальных сталинистов или других психически несвободных людей. Причина в том, что христианские церкви до сих пор требуют согласия с доктринами, в которые никто уже серьезно не верит. Самый очевидный пример — бес-

---

смертие души. Все «доказательства» личного бессмертия, какие предлагаются апологетами христианства, психологически невесомы. Психологически существенно то, что в наши дни едва ли кто-нибудь чувствует себя бессмертным. В потусторонний мир можно, в каком-то смысле, «верить», но в сознании людей он обладает далеко не такой актуальностью, как несколько столетий назад. Сравните, например, угрюмое бормотание этих трех стихотворений с «Иерусалим, мой счастливый дом»<sup>4</sup>. Сравнение не совсем бессмысленно. Во втором случае перед вами человек, для которого мир иной так же реален, как этот. Пусть представление его об ином мире невероятно вульгарно — спевка в ювелирном магазине, — но он верит в то, что говорит, и вера придает жизнь его словам. В первом же случае перед вами человек, который на самом деле не чувствует веры, а только соглашается с ней по сложным причинам. И сама по себе она не рождает в нем свежего литературного импульса. На определенном этапе он чувствует необходимость «цели», и нужна ему «цель» реакционная, а не прогрессивная; ближайшее прибежище — церковь, от своих членов требующая нелепости мышления, так что его творчество превращается в постоянную возню с этими нелепостями в попытке сделать их приемлемыми для себя. Сегодня церковь не может предложить ни свежей образности, ни нового словаря:

остальное —  
Молитва и послушание, мысль и действие.

Возможно, мы нуждаемся в молитве и послушании, но из нанизывания этих слов поэзии не получается. Мистер Элиот говорит также о

непосильной схватке  
Со словами и смыслами. Дело здесь не в поэзии.

---

<sup>4</sup> Баллада Дж. Ли (1587).

---

Не знаю, но могу предполагать, что борьба со словами и смыслами тяготила бы меньше, а поэзия значила бы больше, если бы он смог найти путь к вере, которая не заставляет первым делом уверовать в невероятное.

Бессмысленно рассуждать о том, могло ли пойти развитие мистера Элиота в другом направлении. Все порядочные писатели на протяжении жизни развиваются, и общее направление их развития предопределено. Нелепо нападать на Элиота, как делали некоторые левые критики, за то, что он «реакционер», и воображать, будто он мог употребить свои таланты для дела демократии и социализма. Очевидно, что скептическое отношение к демократии и недоверие к «прогрессу» ему присущи; без них он не мог бы написать ни строчки. Но можно вообразить, что он только выиграл бы, если бы пошел дальше в направлении, обозначенном его знаменитой «Англо-католической и роялистской декларацией». В социалиста он не превратился бы, но мог бы превратиться, по крайней мере, в апологета аристократии.

Феодализм и даже фашизм не обязательно смертельны для поэтов, но смертельны для прозаиков. Смертелен же для тех и других — половинчатый консерватизм современного толка.

Можно, по крайней мере, вообразить, что если бы Элиот чистосердечно следовал своим антидемократическим склонностям, был последователен в своем недоверии к возможности морального усовершенствования, то мог бы напасть на поэтическую жилу, сравнимую с прошлой. Но впасть в духовную петеновщину, вперить взгляд в прошлое, смириться с поражением, отречься от земного счастья как от невозможности, бормотать о молитве и раскаянии и считать духовным достижением взгляд на жизнь, как на «узор живых червей в утробах кентерберийских женщин» — это, конечно, наименее обнадеживающий путь для поэта.

*октябрь-ноябрь 1942 г.*

---

## Рецензия на книгу Б. Г. Лиддел Гарта «Британский метод войны»

В этом сборнике статей, написанных с 1932 года и заново отредактированных, отразилась история развития британской армии в годы между двумя войнами. Но наиболее интересной и вызывающей частью книги — и наиболее важной в настоящий момент — представляется ее начало, где дан обзор британской «традиционной большой стратегии». Бой за механизацию выигран, по крайней мере, на бумаге, но споры о Втором фронте еще кипят, и теории капитана Лиддел Гарта имеют к этому самое прямое отношение.

Что же это за «традиционная стратегия», которой мы изменили и к которой, по мнению капитана Лиддел Гарта, мы должны вернуться? Вкратце — стратегия не прямых действий и ограниченных целей. Британия с большим успехом использовала ее в хищнических войнах восемнадцатого века и отказалась от нее в десятилетие перед 1914 годом, когда вступила в тесный союз с Францией. Методы этой стратегии, по существу, коммерческие. Вы воздействуете на врага, главным образом, средствами блокады, каперства и морских десантно-диверсионных операций. Вы не создаете многочисленной армии и, насколько возможно, предоставляете сражаться на суше своим континентальным союзникам, которых поддерживаете субсидиями. Пока ваши союзники за вас

---

сражаются, вы перехватываете заморскую торговлю врага и оккупируете его отдаленные колонии. В первый же подходящий момент вы заключаете мир, либо сохраняя за собой захваченные территории, либо используя их как козыри в сделке. Такова была, действительно, типичная британская стратегия на протяжении двух веков, и характеристика «коварный Альбион» была вполне оправдана — если другие государства не вели себя в моральном смысле так же. Войны восемнадцатого века были настолько торгашескими по духу, что ход их толкуют превратно, и задним числом они кажутся более «идеологическими», чем казались их участникам. Но в любом случае стратегия «ограниченных целей» едва ли принесет успех, если вы не готовы предать союзников, когда это станет выгодно.

Как известно, в 1914–1918 годах мы порвали со своим прошлым, подчинили свою стратегию стратегии союзника и потеряли миллион убитыми. По этому поводу капитан Лиддел Гарт пишет: «В обстановке войны я не нахожу удовлетворительного объяснения этой перемене... Никакой принципиальной причины изменить традиционной политике не видно. Отсюда можно заключить, что причина — в перемене моды — в образе мыслей, вдохновленном Клаузевицем». Клаузевиц — злой гений военной мысли. Он учил — или так принято считать, — что правильная стратегия — атаковать вашего сильнейшего противника, что все решается только одним средством — боем, и что «ценой победы является кровь». Соблазнившись этой теорией, Британия «сделала свой флот вспомогательным оружием и схватилась за блестящий меч континентального производства».

Но отнести исторические перемены за счет одного теоретика едва ли правильно: теория обретает силу только тогда, когда этому способствуют материальные условия. Если Британия перестала быть коварным Альбионом, по крайней мере, на четыре года, то для этого были более веские причины, чем дружба сэра Генри

---

Уилсона<sup>1</sup> с французским Генеральным штабом. Прежде всего, очень сомнительно, осуществима ли ныне наша «традиционная» стратегия. В прошлом она опиралась на равновесие сил, после 1870 года становившегося все более шатким, и на географические преимущества, чье значение уменьшилось в связи с развитием техники. После 1890 года Британия перестала быть единственной морской державой, да и роль морской войны уменьшилась. С уходом парусников флоты стали менее мобильны, внутренние моря сделались недоступны после изобретения морской мины, а блокада стала менее действенной в связи с изобретением заменителей и механизацией сельского хозяйства. С усилением современной Германии нам стало трудно обойтись без европейских союзников, а союзник всегда потребует, чтобы вы разделили с ним бремя борьбы. Денежные субсидии мало что решают, когда на войну брошены все силы сражающейся нации.

Эта книга будит мысль, но главный ее недостаток — нежелание капитана Лиддел Гарта признать, что характер войны изменился. Стратегия «ограниченных целей» предполагает, что ваш противник устроен так же, как вы; вы хотите превзойти его, но для вашей безопасности не обязательно уничтожать его или даже вмешиваться в его внутреннюю политику. Такие условия существовали в восемнадцатом веке и даже в последних фазах наполеоновских войн, но в раздробленном мире, где мы теперь живем, они исчезли. В 1932 году или около того капитан Лиддел Гарт мог сказать: «С тех пор, как государства перестали истреблять или порабощать побежденных, абсолютная война стала делом прошлым». Беда в том, что они не перестали. Рабство, в 1932 году казавшееся таким же анахронизмом, как людоедство, в 1942-м явно воз-

---

<sup>1</sup> *Генри Уилсон* в начале первой мировой войны был заместителем начальника штаба британских экспедиционных сил, затем командующим корпусом и офицером связи с французским полевым штабом.

---

рождается, и в таких обстоятельствах вести войну в старом духе — ради выгоды, с ограниченной целью «защитить британские интересы» и заключить мир при первом же удобном случае — невозможно. Как правильно сказал Муссолини, демократия и тоталитаризм не могут существовать рядом. Любопытно, хотя об этом редко говорится, — до сих пор Британия действовала в войне именно так, как рекомендует капитан Лиддел Гарт. Мы не вели масштабную кампанию на континенте, мы использовали одного союзника за другим и мы приобрели территории, гораздо большие и потенциально гораздо более богатые, чем те, которых лишились. Но ни капитан Лиддел Гарт и никто другой не станет утверждать, что война для нас шла удачно. Никто не выступает с предложением, чтобы мы просто подмели оставшиеся французские и итальянские колонии, а затем заключили мир с Германией: даже самому невежественному человеку понятно, что такой мир не будет окончательным. Чтобы выжить, мы должны уничтожить нынешнюю политическую систему Германии, а это значит — уничтожить германскую армию. Трудно не согласиться с Клаузевицем, когда он говорил, что «надо сосредоточить силы против главного врага, который должен быть повержен первым», и что «истинной целью являются вооруженные силы», — по крайней мере, в войне, которая замешана на идеологии.

Тактические теории капитана Лиддел Гарта до некоторой степени можно отделить от стратегических, и здесь его предсказания отлично подтверждались. Ни один военный писатель нашего времени не сделал больше для просвещения публики. Но, возможно, он несколько увлекся в своей справедливой борьбе со старомодной военщиной — с людьми, которые насмехались над механизацией и до сих пор стараются свести военное обучение к привычному гавканью и топанию, отстаивают войну числом, фронтальные наступления, штыковые атаки и вообще бессмысленное кровопролитие. Под впечатлением от пашендальской катастрофы капитан Лид-

---

дел Гарт, кажется, уверовал, что войны можно выигрывать, только обороняясь или без боев — и даже, что наполовину выигранная война лучше полной победы. Это годится только тогда, когда твой противник думает так же, но с тех пор, как Европой перестала править аристократия, положение дел решительно изменилось.

*ноябрь 1942 г.*

---

## Вспоминая войну в Испании

### I

Прежде всего, о том, что запомнилось физически, — о звуках, запахах, зримом облике вещей.

Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки перед тем, как нас отправили на фронт, — громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощенные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали фляжечки вина, девушки в брюках — служащие милиции, рубившие дрова под котел, переклички ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом со звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенеллос, Роке Баластер, Хайме Доменен, Себастиан Вильгрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двоих, которые были просто подонками и теперь наверняка с рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двоих я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему — шестнадцать.

Одно из существенных воспоминаний о войне — повсюду тебя преследующие отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими о войне, и я бы к этому не возвращался,

если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше «отхожее место» сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего, но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашизма, мы на войне, на справедливой войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря о буржуазных армиях». Впоследствии было немало такого, что способствовало подобным мыслям, — скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучил зверский голод, склоки да интриги из-за каких-нибудь обидок, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.

Сам ужас армейского существования (каждый, кто был солдатом, поймет, что я имею в виду, говоря о всегдашнем ужасе этого существования) остается, в общем-то, одним и тем же, на какую бы войну ты ни угодил. Дисциплина — она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а не выполняющих наказывают; между офицером и солдатом возможны лишь отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то, верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или другую армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то

---

поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши — это вши, а бомбы — это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете. Зачем разьяснять вещи, настолько очевидные? А затем, что и английская, и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уоркер» — на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там бессмысленных, избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов, гарвинов *et hoc genus*<sup>1</sup>; что о них и толковать.

Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похвалиться воинской «славой», высмеивали рассказы об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества, — вдруг они начали писать такое, что, если переменить несколько упомянутых ими имен, решишь, что это — из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если во что и верила безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она — только горы трупов да вонючие сортиры, и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начали клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война —

---

<sup>1</sup> И прочих в том же роде (*лат.*).

---

это ад», а теперь объявившей, что «война — это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции — те, кто в 1935 году поддерживал декларацию «Корона и страна», два года спустя потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к Национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.

Что касается широких масс, их мнения, необычайно быстро меняющиеся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать, как струю воды из крана, — все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и «за» войну, и «против» войны, ни в том, ни в другом случае отчетливо не представляя себе, что она такое. С энтузиазмом рассуждая о войне в Испании, они, разумеется, понимали, что на этой войне тоже убивают и что оказаться убитым нерадостно, однако считалось, будто солдат Республиканской армии война почему-то не обрекает на лишения. У республиканцев даже сортиры воняли не так противно, а дисциплина не была настолько суровой. Просмотрите «Нью стейтсмен», чтобы убедиться: именно так и рассуждали; да и теперь о Республиканской армии пишется все тот же вздор. Мы стали слишком цивилизованными, чтобы уразуметь самое очевидное. Между тем истина совсем проста. Чтобы выжить, надо драться, а когда дерутся, нельзя не перепачкаться грязью. Война — зло, но часто меньшее из зол. Взявшие меч и погибают от меча, а не взявшие меча гибнут от гнусных болезней. Сам факт, что надо напоминать о таких банальностях, красноречиво говорит, до чего мы дошли за годы паразитического капитализма.

---

## II

В добавление к сказанному несколько слов о жестокостях.

Я мало видел жестокостей на войне в Испании. Знаю, что они иной раз чинились республиканцами и намного чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня поразило и продолжает поражать — так это привычка судить о жестокостях, веря в них или подвергая их сомнению, согласно политическим предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, творимые врагом, и никто — в творимые армией, которой сочувствуют; факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сегодняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совершают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и правые приняли на веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может круто перемениться, и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бесчинством, превратится в нелепую клевету — лишь оттого, что иным стал политический ландшафт.

Что касается нынешней войны, ситуация необычна, поскольку наша «кампания жестокостей» была проведена еще до первых выстрелов, причем проводили ее главным образом левые, хотя при нормальных условиях они всегда твердили, что не верят в рассказы про всякие бесчинства. Правые же, которые так много шумели о жестокостях, пока шла война 1914–1918 годов, предпочли бесстрастно наблюдать происходившее в нацистской Германии, решительно не замечая в ней никакого зла. Но как только началась война, вчерашние пронацисты вовсю закричали о чудовищных ужасах, тогда как антифашистами вдруг овладели сомнения, вправду ли существует гестапо. Тут не только результат советско-германского пакта. Частично все это вызвано тем, что до войны левые ошибочно полагали, будто никогда Германия не нападет на Англию, а от-

---

того можно высказываться и в антинемецком, и в антибританском духе; частично — тем, что официальная военная пропаганда присущими ей отвратительным лицемерием и самонадеянностью обязательно побудит умного человека проникнуться симпатией к врагу.

Цена, которую мы заплатили за систематическую ложь в годы первой мировой войны, выразилась и в чрезмерном германофильстве по ее окончании. С 1918 по 1933 год вас освистали бы в любом левом кружке, если бы вы высказались в том духе, что Германия тоже несет хотя бы долю ответственности за войну. Наслушавшись в те годы стольких желчных комментариев по поводу Версальского договора, я что-то не вспомню не то что споров, но хотя бы самого вопроса: «А что было бы, если бы победила Германия?». Точно так же обстоит дело с жестокостями. Правда сразу начинает восприниматься как ложь, если исходит от врага. Я заметил, что люди, готовые принять на веру любой рассказ о бесчинствах, творимых японцами в Нанкине в 1937 году, не верили ни слову о бесчинствах, совершаемых в Гонконге в 1942-м. Стараются даже убедить себя, будто нанкинских жестокостей как бы и не было, просто о них теперь разглагольствует английское правительство, чтобы отвлечь внимание публики.

К сожалению, говоря о бесчинствах, придется сказать и вещи, куда более горькие, чем это манипулирование фактами, становящимися материалом для пропаганды. Горько то, что бесчинства действительно имеют место. Скептицизм нередко порождается тем, что одни и те же ужасы приписываются каждой войне, но из этого, прежде всего, следует подтверждение истинности подобных рассказов. Конечно, в них воплощаются всякие фантазии, но лишь оттого, что война создает возможность превратить эти небылицы в реальность. Кроме того — теперь говорить это немодно, а значит, надо об этом сказать, — трудно сомневаться в том, что те, кого с допущениями можно называть «белые», в своих бесчинствах отличаются особой жестокостью, да и бесчинствуют больше, чем «красные».

---

Скажем, относительно того, что творят японцы в Китае, никакие сомнения невозможны. Невозможны они и относительно рассказов о фашистских бесчинствах в Европе, совершаемых вот уже десять лет. Свидетельств накоплено великое множество, причем в значительной части они исходят от немецкой прессы и радио. Все это действительно было — вот о чем надо думать. Это было, пусть то же самое утверждает лорд Галифакс. Грабежи и резня в китайских городах, пытки в подвалах гестапо, трупы старых профессоров-евреев, брошенные в выгребную яму, пулеметы, расстреливающие беженцев на испанских дорогах, — все это было, и не меняет дела то обстоятельство, что о таких фактах вдруг вспомнила «Дейли телеграф» — с опозданием в пять лет.

### III

Теперь два запомнившихся мне эпизода; первый из них ни о чем в особенности не говорит, а второй, думаю, до некоторой степени поможет понять атмосферу революционного времени.

Как-то рано утром мы с товарищем отправились в секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам; дело происходило под Уэской. Их и наши окопы разделяла полоса в триста ярдов — дистанция, слишком большая для наших устаревших винтовок; надо было подползти метров на сто к позициям фашистов, чтобы при удаче кого-нибудь из них подстрелить через щели в бруствере. На наше горе, нейтральная полоса проходила через открытое свекольное поле, где негде было укрыться, кроме двух-трех канав; туда надлежало добраться затемно, а возвращаться с рассветом, пока не взошло солнце. В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось — мы просидели слишком долго, и нас застигла заря. Сами мы сидели в канаве, а сзади — двести ярдов ровной земли, где и кролику не затаиться. Мы собрались с духом, чтобы все же попробовать броском вернуться к своим, как вдруг в фашистских окопах под-

---

нялся гвалт, и загомонили свистки. Появились наши самолеты. И тут из окопа выскочил солдат, видимо, посланный с донесением командиру; он побежал, поддерживая штаны обеими руками, вдоль бруствера. Он не успел одеться и на бегу подтягивал штаны. Я не стал в него стрелять. Правда, стрелок я неважный и вряд ли со ста ярдов попал бы, да и хотелось мне одного — добежать назад, пока фашисты заняты самолетами. Но при всем том не выстрелил я главным образом из-за того, что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать «фашистов», а этот, натягивающий штаны, — какой он «фашист», просто парень вроде меня, и как в него выстрелить?!

О чем говорит этот случай? Да ни о чем в особенности, потому что такое все время происходит на любой войне. Второй случай — совсем другое дело. Не уверен, что смогу о нем рассказать так, чтобы вы были тронуты, но, поверьте, на меня он произвел глубочайшее впечатление и дал почувствовать моральный дух того времени.

Еще когда я проходил подготовку, как-то появился у нас в казарме жалкий мальчишка из барселонских трущоб. Он был оборван и бос. Да и кожа у него была совсем темная (видимо, примешалась арабская кровь), и жестикулировал он отчаянно, не как европейцы, — особенно запомнилась мне протянутая рука с вертикально поставленной ладонью, чисто по-индейски. Как-то у меня стянули пачку дешевеньких сигар, тогда их можно было еще купить. По глупости я доложил об этом офицеру, и один из тех прохвостов, о которых я упоминал, тут же закричал, что у него тоже кое-что пропало — 25 песет. Почему-то офицер сразу решил, что вор — тот темнокожий подросток. В милиции за воровство карали очень сурово, теоретически могли даже расстрелять. Несчастливого парнишку повели в караулку и обыскали, он не сопротивлялся. Всего больше меня поразило, что он почти и не пытался доказать свою невиновность. Фатализм его говорил о том, в какой же отчаянной нужде он вырос. Офицер приказал ему раздеться. Со смирением, внушавшим мне ужас, он

---

снял с себя все до последнего лоскута, тряпки его перетряхнули. Понятно, не нашлось ни сигар, ни монет; он их действительно не крал. Самое печальное было то, что и потом, когда подозрения отпали, он стоял все с тем же выражением стыда на лице. Вечером я пригласил его в кино, угостил коньяком и шоколадом. Впрочем, сама попытка загладить деньгами мой проступок перед ним — разве это не ужасно? Ведь, пусть на минуту, я решил, что он вор, а такое не искупается.

Прошло несколько недель, я уже был на фронте, и у меня начались неприятности с солдатом моего отделения. Я получил звание «капо», то есть капрала, и под моей командой находилось двенадцать человек. На фронте стояло затишье, было чудовищно холодно, и главная моя забота состояла в том, чтобы часовые не засыпали на посту. И вдруг один солдат отказывается идти в караул, утверждая — вполне справедливо, — что позиция, куда его направили, пристреляна противником. Человек он был хилый, вот я и сгреб его в охапку, насильно заставляя выполнить приказ. Остальные тут же прониклись ко мне враждебностью — испанцы, когда их хватают, похоже, взрываются быстрее, чем мы. Меня вмиг окружили с криками: «Фашист! Фашист! Отпусти его! Тут не буржуйская армия, ты, фашист!» и т. д. Насколько позволял мой скверный испанский язык, я отвечал им, тоже крича во всю глотку, что приказы надо выполнять; начавшись с пустяка, вырос один из тех грандиозных скандалов, которые разваливают всякую дисциплину в Республиканской армии. Кто-то был на моей стороне, другие против меня. Рассказываю об этом я к тому, что горячее всех меня поддерживал этот чумазый подросток. Едва разобравшись что к чему, он пробился поближе ко мне и принялся страстно доказывать мою правоту. Он орал, вытягивая руку по-индейски: «Да вы что, он же у нас самый хороший капрал!» (No hay sabo como e!). Позднее он подал просьбу перевести его в мое отделение.

Почему это происшествие так меня растрогало? Потому что в обычных обстоятельствах было бы немислимо,

---

чтобы между нами снова установилась симпатия. Как бы я ни старался извиниться за то, что подозревал его в краже, это его не смягчило бы, а только еще более ожесточило. Спокойная цивилизованная жизнь имеет еще и ту особенность, что развивает крайнюю, чрезмерную тонкость чувств, при которой любые из главнейших человеческих побуждений начинают выглядеть слишком грубыми. Щедрость ранит так же сильно, как черствость, а проявления благодарности неприятны не меньше, чем свидетельства черствости души. Но в Испании 1936 года мы переживали ненормальное время. Широкие чувства и жесты там казались естественнее, чем бывает обычно. Я мог бы рассказать еще десяток похожих историй, которые ничего примечательного в себе не содержат, однако, врезались мне в память, потому что в них этот особый воздух времени, когда все ходили в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски революционных плакатов, и друг к другу обращались только словом «товарищ», и можно было за пени купить на любом углу отпечатанные листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выражения вроде «международной солидарности пролетариата» произносились с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повторять, верили, что такие фразы что-то означают. Разве можно испытывать к человеку дружеское расположение и поддержать его в минуту спора, если, заподозрив, что ты у этого человека что-то украл, тебя в его присутствии бесцеремонно обыскивали? Нельзя, конечно, — и все-таки можно, если вас объединило нечто такое, что придает чувствам широту. А это одно из косвенных следствий революции, хотя в данном случае революция осталась незавершенной и, как все понимали, была обречена.

#### IV

Борьба за власть между различными группировками испанской Республики — тема большая и слишком сложная; я не хочу ее касаться, не пришло еще время. Упоми-

---

наю об этом с единственной целью предупредить: не верьте ничему, или почти ничему из того, что пишется о внутренних делах в правительственном лагере. Из каких бы источников ни исходили подобные сведения, они остаются пропагандой, подчиненной целям той или иной партии, — иначе сказать, ложью. Правда же о войне, если говорить широко, достаточно проста. Испанская буржуазия увидела возможность сокрушить рабочее движение и сокрушила его, прибегнув к помощи нацистов, а также реакционеров всего мира. Сомневаюсь, чтобы когда бы то ни было удалось определить суть случившегося более точно.

Помнится, я как-то сказал Артуру Кёстлеру: «История в 1936 году остановилась», — и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм — в целом и, особенно в тех частностях, которые характерны для гражданской войны в Испании. Еще смолodu я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства, — было бы даже лучше, если бы они откровенно вралли. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о трусости полков, которые в действительности проявили отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные теории, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным «доктринам». Это было ужасно, хотя, впрочем, в каком-то смысле не имело ни малейшего значения. Ведь дело касалось вовсе не самого главного — речь, в частности, шла о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями, а также о стремлениях русского

---

правительства не допустить настоящей революции в Испании. Общая картина войны, которую рисовали испанские правительственные сообщения, не была лживой. Все главное, что происходило на войне, в этих сообщениях указывалось. Что же касается фашистов с их сторонниками, разве могли они придерживаться такой правды? Разве они бы сказали о своих истинных целях? Их версия событий являлась абсолютным вымыслом и другой при данных обстоятельствах быть не могла.

Единственный пропагандистский трюк, который мог удалиться нацистам и фашистам, заключался в том, чтобы изобразить себя христианами и патриотами, спасающими Испанию от диктатуры русских. Чтобы этому поверили, надо было изображать жизнь в контролируемых правительством областях как непрерывную кровавую бойню (взгляните, что пишут «Католик геральд» и «Дейли мейл» — правда, все это кажется детски невинным по сравнению с измышлениями фашистской печати в Европе), а кроме того, до крайности преувеличивать масштабы вмешательства русских. Из всего нагромождения лжи, которая отличала католическую и реакционную прессу, я коснусь лишь одного пункта — присутствия в Испании русских войск. Об этом трубили все преданные приверженцы Франко, причем говорилось, что численность советских частей чуть не полмиллиона. А на самом деле никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев, не говоря уже о миллионах местных жителей. Но такие свидетельства не значили ровным счетом ничего для франкистских пропагандистов, из которых ни один не побывал на нашей стороне фронта. Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты открыто воспевали подвиги своих «легионеров». Упоминаю только об этом, но ведь в таком стиле велась вся фашистская военная пропаганда.

---

Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь, в конце концов, не проникнет в историю? И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Если Франко удержится у власти, историю будут писать его ставленники, и — раз уж об этом зашла речь — сделается фактом присутствие несуществовавшей русской армии в Испании, и школьники будут этот факт заучивать, когда сменится не одно поколение. Но допустим, что фашизм потерпит поражение, и в сравнительно недалеком будущем власть в Испании перейдет в руки демократического правительства — как восстановить историю войны даже при таких условиях? Какие свидетельства сохранит Франко в достояние потомкам? Допустим, что не погибнут архивы с документами, накопленными республиканцами, — все равно, каким образом восстановить настоящую историю войны? Ведь я уже говорил, что республиканцы тоже часто прибегали ко лжи. Занимая антифашистскую позицию, можно создать в целом правдивую историю войны, однако это окажется пристрастная история, которой нельзя доверять в любой из не самых важных подробностей. Во всяком случае, какую-то историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды.

Знаю, распространен взгляд, что всякая принятая история непременно лжет. Готов согласиться, что история большей частью неточна и необъективна, но особая мета нашей эпохи — отказ от самой идеи, что возможна история, которая правдива. В прошлом врали с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок, но, во всяком случае, верили, что есть «факты», которые более или менее возможно отыскать. И действительно, всегда накапливалось достаточно фактов,

---

не оспариваемых почти никем. Откройте Британскую энциклопедию и прочтите в ней о последней войне — вы увидите, что немало материалов позаимствовано из немецких источников. Историк-немец основательно разоидется с английским историком по многим пунктам, и все же останется массив, так сказать, нейтральных фактов, насчет которых никто и не будет полемизировать всерьез. Тоталитаризм уничтожает эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого вида единства. Скажем, нет просто науки. Есть «немецкая наука», «еврейская наука» и т.д. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяют не только будущее, но и прошлое. Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было. Если он думает, что дважды два пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

Не детский ли это страх, не самоистязание ли — мучить себя видениями тоталитарного будущего? Но, прежде чем объявить тоталитарный мир наваждением, которое не может сделаться реальностью, задумайтесь о том, что в 1925 году сегодняшняя жизнь показалась бы наваждением, которое реальностью стать не может. Есть лишь два действенные средства предотвратить фантазмагорию, когда черное завтра объявляют белым, а вчерашнюю погоду изменяют соответствующим распоряжением. Первое из них — признание, что истина, как бы ее ни отрицали, тем не менее, существует, следит за всеми вашими поступками, поэтому нельзя ее уродовать способами, призванными ослабить ее воздействие. Второе — либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на Земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из нескольких раз-

---

новидностей фашизма воцарился повсюду в мире, — тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку своими традициями и былым сознанием защищенности приучены к сентиментальной вере, что, в конце концов, все устраивается лучшим образом и того, чего более всего страшишься, не происходит. Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где в последней главе непременно торжествует Добро, мы полуинстинктивно верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя. Главным образом на этой вере, в частности, основывается пацифизм. Не противьтесь злу, оно каким-то образом само себя изживает. Но, собственно, почему, какие доказательства, что так и должно произойти? Есть хоть один пример, когда современное промышленно развитое государство рушилось, если по нему не наносился удар военной мощью противника?

Задумайтесь хотя бы о возрождении рабства. Кто мог представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду, — это ведь самое типичное рабство. Ну, разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем — скажем, в том, что касается разъединения семей, — условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях. Нет никаких оснований полагать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется тоталитарный гнет. Мы не постигаем всего, что он означает, ибо в силу какой-то мистики проникнуты чувством, что режим, который держится на рабстве, должен рухнуть. Но стоило бы сравнить сроки существования рабовладельческих империй древности и всех современных государств. Цивилизации, построенные на рабстве, иной раз существовали по четыре тысячи лет.

---

Вспоминая древность, я со страхом думаю о том, что те миллионы рабов, которые веками поддерживали благоденствие античных цивилизаций, не оставили по себе никакой памяти. Мы даже не знаем их имен. Сколько имен рабов можно назвать, перебирая события греческой и римской истории? Я сумел бы привести два, максимум три. Спартак и Эпиктет. Кроме того, в Британском музее, в кабинете римской истории, хранится стеклянный сосуд, на дне которого выгравировано имя сделавшего его мастера: «Felix fecit». Я живо представляю себе этого бедного Феликса (рыжеволосый галл с металлическим ободом на шее), но на самом деле он, возможно, и не был рабом, так что достоверно мне известно только два имени, и, может быть, лишь немногие другие сумеют назвать больше. Все остальные рабы исчезли бесследно.

## V

Главное сопротивление Франко оказывал испанский рабочий класс, особенно городские профсоюзы. Потенциально — важно помнить, что только потенциально, — рабочий класс остается самым последовательным противником фашизма просто по той причине, что переустройство общества на началах разумности дает рабочему классу всего больше. В отличие от других классов и прослоек пролетариат невозможно все время подкупать.

Сказав это, я не хочу идеализировать рабочих. В той длительной борьбе, которая развернулась после русской революции, поражение понесли именно они, и нельзя не видеть, что повинны в этом они сами. Постоянно то в одной стране, то в другой организованное рабочее движение подавлялось открытым незаконным насилием, а пролетарии других стран, которые по теории должны были испытывать чувство солидарности, наблюдали за этим со стороны, не ударив пальцем о палец. Причина — она-то и объясняет многие втайне совершенные предательства — та, что между белыми и цветными рабочими о солидарности

---

никогда и речи не заходило. Кто же поверит в международную классовую сознательность пролетариата после событий последних десяти лет? Английских рабочих куда больше интересовал и будоражил результат вчерашнего футбольного матча, чем расправы над их товарищами в Вене, Берлине, Мадриде и еще где угодно. Но это не изменит моего убеждения, что рабочий класс будет бороться с фашизмом даже после того, как все другие капитулируют. Во Франции немцы победили с такой легкостью еще и оттого, что поразительную нестойкость выказали интеллигенты, включая тех, кто держался левых политических взглядов. Интеллигенты громче всех протестуют против фашизма, но очень многие из них впадают в пораженческие настроения, как только фашизм наносит свой удар. Они слишком хорошо все предвидят, чтобы недооценивать нависшую над ними угрозу, а главное, они поддаются подкупу; нацисты же, совершенно очевидно, считают нужным не скупиться на подачки, чтобы купить интеллигенцию. С рабочим классом все наоборот. Не умея распознать обмана, рабочие легко поддаются на приманки фашизма, но рано или поздно обязательно становятся его противниками. По-иному быть не может, оттого что они на собственной шкуре убеждаются в ложности всех фашистских посулов. Чтобы обеспечить себе стойкую поддержку рабочих, фашизм должен был бы повысить общий уровень жизни, а этого он не может, да, видимо, и не добивается.

Борьба пролетариата напоминает рост растения. Оно слепо и неразумно, но достаточно инстинкта, чтобы оно тянулось к свету, и, какие бы нескончаемые препятствия ни возникали, оно все равно к нему тянется. За что борются рабочие? Просто за сносную жизнь, которая — это они понимают все лучше — теперь вполне для них возможна. Они осознают это то более отчетливо, то инстинктивно. В Испании было время, когда люди к этому стремились совершенно осознанно, видя перед собой конкретную задачу, которую надо решить, и веря, что они ее решат. Вот откуда свойственный республиканской Испа-

---

нии первых месяцев войны необыкновенный подъем духа. Простой народ безошибочно чувствовал, что Республика ему нужна, а Франко враждебен. Люди сознавали свою правоту, потому что сражались, отстаивая то, что мир был обязан и мог им дать. Об этом надо помнить, чтобы правильно понять испанскую войну. Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны — а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, — трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не хуже других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто победит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует прогресс, а другая — реакцию.

Ненависть, вызываемая Республикой у миллионов, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, полковников блимпов и прочей публики такого рода, сама по себе достаточна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была классовая война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело простого народа повсюду на Земле. Но победил Франко, и повсюду на Земле держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее — только накипь.

## VI

Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине — где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил, и, решив продолжить борьбу, Негрин со своим правительством, видимо, отчасти рассчитывали, что мировая война, разразившаяся в 1939 году, начнется годом раньше. Раздоры в лагере Республики, о которых так много писали, не были главной причиной поражения. Созданная правительством милиция собиралась наспех, ее плохо вооружи-

---

ли, тактика была примитивной, но ничего бы не переменялось и при условии изначально полного политического единства. Когда вспыхнула война, простой испанский рабочий с фабрики не умел стрелять из винтовки (в Испании никогда не было всеобщей воинской повинности), сильно мешал наладить противодействие традиционный пацифизм левых. Тысячи иностранцев, сражавшихся в Испании, были хороши в окопах, но людей, владеющих какой-нибудь военной специальностью, среди них нашлось очень мало. Утверждение троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не саботировали революцию, вероятно, неверно. Оттого, что были бы национализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, поскольку были сильнее; у них было современное оружие, а у Республики — нет. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла.

Самое непостижимое в испанской войне — это позиция великих держав. Фактически войну выиграли для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совершенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что, достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружия на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, а по немцам нанесен мощный удар. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией; можно было даже с определенностью назвать дату ее начала — через год или два. И, тем не менее, самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам. Почему? Самый простой ответ: потому что были профашистски настроены. Это, вне сомнения, так, и все же, когда дело дошло до решительного выбора, они оказались против Германии. По сей день остается неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злона-

---

меренны или просто глупы английские правители — вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно, а бывает, что этот вопрос становится чрезвычайно важным. Что же до русских, цели, которые они преследовали в испанской войне, совершенно непостижимы. Может, правы наивные либералы, полагающие, что русские участвовали в войне для того, чтобы, защищая демократию, обуздать нацизм? Но если так, отчего их участие было столь ничтожным по масштабам, и зачем они бросили Испанию, когда ее положение стало критическим? Или согласиться с католиками, которые уверяли, что русское вмешательство должно было раздуть в Испании революционный пожар? Но зачем же они сделали все от них зависящее, чтобы подавить испанское революционное движение, защитить частную собственность и предоставить власть не рабочим, а среднему классу? А может быть, правы троцкисты, заявившие, что целью вмешательства было предотвратить революцию в Испании? Тогда проще было вступить в союз с Франко. Понятнее всего их действия становятся, если видеть за этой линией несколько мотивов, противоречащих один другому. Уверен, со временем выяснится, что внешняя политика Сталина, претендующая выглядеть дьявольски умной, на самом деле, представляет собой примитивный оппортунизм.

Как бы то ни было, испанская война продемонстрировала, что нацисты имели четкий план действий, а их противники — нет. С профессиональной точки зрения война велась на очень низком уровне, а основная стратегия была предельно простой. Побеждали те, кто был лучше вооружен. Нацисты вместе с итальянцами поставляли оружие своим друзьям-фашистам в Испании, а западные демократы и Россия отказывали в оружии тем, в ком следовало им видеть своих друзей. И поэтому Республика погибла, «изведав все, что ни одну республику не минет».

Трудный вопрос, правильно ли было побуждать испанцев, хотя победить они не могли, драться до последнего, к чему их дружно призывали левые в других странах.

---

Лично я думаю, что правильно, потому что, на мой взгляд, даже чтобы выжить, лучше сражаться и потерпеть поражение, чем капитулировать без борьбы. Пока еще рано говорить об уроках, которыми важна эта война, для того чтобы найти правильную тактику в битве с фашизмом. Оборванные, плохо вооруженные армии Республики продержались два с половиной года — несомненно, гораздо дольше, чем ожидал противник. Но и сегодня никто не знает, помешала ли фашистам эта затяжка держаться составленного ими графика или, наоборот, отсрочила большую войну, предоставив нацизму лишнее время, когда они доводили до совершенства свою военную машину.

## VII

Думая об испанской войне, я всегда вспоминаю два эпизода. Вот первый: госпиталь в Лериде, печальные голоса солдат из милиции, поющих песню с припевом, который кончался так:

Una resolucion  
Luchar hast' al fin!<sup>2</sup>

Что же, они и боролись до самого конца. Последние полтора года солдаты Республики сидели на самом скудном рационе и обходились почти без сигарет. Даже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб исчезли, табак стал редкостью, а кофе и сахар были недостижимой мечтой.

А вот и второе, что запомнилось: итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Я писал о нем на первых страницах своей книги об испанской войне и здесь не хочу повторяться. Стоит мне мысленно увидеть перед собой — совсем живым! — этого итальянца в засаленном мундире, стоит

---

<sup>2</sup> И наша решимость бороться до конца (*исп.*).

---

вглядеться в это суровое, одухотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны, утрачивают значение, потому что я точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую — они это понимали — от рождения заслуживает каждый. Думать о том, какая судьба ждала этого итальянца, горько, и сразу по нескольким причинам. Поскольку мы встретились в военном городке имени Ленина, он, видимо, принадлежал либо к троцкистам, либо к анархистам, а в наше необыкновенное время таких людей непременно убивают — не гестапо, так ГПУ. Это, конечно, вписывается в общую ситуацию со всеми ее непреходящими проблемами. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю, как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран, как воплощение народа — того, который лег в братские могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных.

Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказали ему свои услуги, поражаешься, как они несхожи. Что за конгломерат! Назовите мне иную политическую платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман, Павелич, Уильям Рэндолф Херст, Стрейчер, Букман, Эзра Паунд, Хуан Марч, Кокто, Тиссен, отец Коглин, муфтий Иерусалимский, Арнольд Ланн, Антонеску, Шпенглер, Биверли Николс, леди Хаустон и Маринетти, побудив всех их сесть в одну лодку! Но на самом деле это несложно объяснить. Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны. За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и

---

вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмысленности социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души», которое, на их взгляд, внушает куда больше надежд, чем изменение экономической системы. Петен объясняет крушение Франции тем, что народ «желает наслаждений». Чтобы оттенить это высказывание, надо всего лишь сопоставить наслаждения, доступные обычному французскому крестьянину или рабочему, с теми, которым волен предаваться сам Петен.

А наглость, с какой все эти политики, священнослужители, литераторы и прочие поучают рабочего-социалиста, коря его за «материализм»! А ведь рабочий требует для себя не более того, что эти проповедники считают жизненно необходимым минимумом. Чтобы в доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну, и чтобы постельное белье менялось как полагается, а крыша не протекала, и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, когда прозвучит гудок на ее окончание. Никто из обличающих «материализм» не мыслит без всего этого нормальной жизни. А как легко было бы достичь такого минимума, стремись мы к этой цели хотя бы лет двадцать! Чтобы весь мир добился уровня жизни Англии — для этого не потребовалось бы затрат больше, чем те, каких требует нынешняя война. Я не утверждаю — да и никто не утверждает, — что сама по себе подобная цель достаточна, а остальное решится само собой. Я говорю лишь о том, что с лишениями, с животным трудом должно быть покончено, прежде чем подступаться к большим проблемам, стоящим перед человечеством. Самая сложная из них в наше время создана утратой веры в личное бессмертие, и сделать тут нельзя ничего, пока обычный человек вынужден работать, как скот, и дрожать от стра-

---

ха перед тайной полицией. Как правы рабочие в своем «материализме»! Как они правы, считая, что сначала надо наесться, а потом хлопотать о душе, подразумевая просто порядок действий, а не ценностей! Уразумеем это, и тогда переживаемый нами кошмар хотя бы сделается объяснимым.

Все наблюдения, способные сбить с толку, все эти сладкие речи какого-нибудь Петена или Ганди, и необходимость пятнать себя низостью, сражаясь на войне, и двусмысленная роль Англии с ее демократическими лозунгами, а также империей, где трудятся кули, и зловещий ход жизни в Советской России, и жалкий фарс левой политики — все это оказывается несущественным, если видишь главное: борьбу постепенно обретающего сознание народа с собственниками, с их оплачиваемыми лжецами, с их прихлебалами. Вопрос стоит просто. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человеческую жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся?

Сам я, может быть, без достаточных оснований верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше — скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны и возможных войн будущего.

Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Через два года после нашей встречи, когда война была явно проиграна, я написал в память о нем стихи.

Солдат-итальянец мне руку пожал  
В караулке, где встретились мы.  
Мои тонкие пальцы в ладони он смял,  
Красной, как слой сурьмы.

---

Нам бы свидеться с ним никогда не пришлось,  
Если б пушки молчали вокруг.  
Но теперь то, о чем я мечтал, сбылось,  
Потому что нашелся друг.

Для тебя те слова, от которых тошнит,  
Святые — ты смысл их постиг.  
И знание людей тебя не тяготит,  
Ты усвоил его не из книг.

Нас битва влекла и пьянила борьба,  
Мы оба ринулись в бой.  
И вот оказалось, что это судьба,  
Но лишь после встречи с тобой.

Что ж, удачи тебе, итальянец-солдат!  
Но удачи для храбрых нет.  
И не думай, чем люди тебя наградят,  
Пусть душа свой оставит след.

А где скитаться ей суждено?  
Между призраков и теней,  
Между пуль и ложью — они заодно,  
Между белых и красных огней.

Ибо где он, Гонсалес Мануэль,  
Агилар где, скажи скорей?  
И где Рамон Фенеллос теперь?  
Об этом спроси у червей.

И имя, и дело твое зачеркнут  
До того, как костям истлеть.  
А ложь, что убила тебя, погребут  
Под ложью, чтоб ей не взлететь.

Но то, что в тебе увидел я,  
Насилием не сломить,  
Чист твой дух, и безгрешна совесть твоя,  
Их бомбами не убить.

*осень 1942 г.*

---

## Присяжный забавник

Наконец-то Марк Твен распахнул тяжелые ворота и вошел в «Библиотеку для всех», правда, только с двумя романами — «Приключениями Тома Сойера» и «Приключениями Гекльберри Финна», — которые достаточно хорошо известны под маркой «книг для детей» (каковыми они, конечно же, не являются). Его лучшие, наиболее характерные книги: «Налегке» (или «Простаки — дома») и даже «Жизнь на Миссисипи» — плохо знают у нас, хотя в Америке их читают и перечитывают благодаря чувству патриотизма, повсеместно вторгающемуся в литературные оценки.

Марк Твен создавал поразительно многообразные сочинения — от слащавой «биографии» Жанны д'Арк до такого шокирующего трактата, который был напечатан только для приватного пользования. Однако лучшее из написанного им вертится вокруг Миссисипи и глухих приисковых поселков на Дальнем Западе. Родился Твен в 1835 году в семье южанина средней руки, владевшего одним-двумя рабами. Его юность и молодые годы пришлись на «золотой век» в Америке, на ту пору, когда шло покорение огромных равнинных просторов, перед людьми открывались безграничные возможности, маячили неслыханные богатства, и человеческое племя чувствовало себя свободным — оно на самом деле было свободным, каким никогда не было и,

---

вероятно, не будет еще несколько столетий. «Налегке» и «Жизнь на Миссисипи» — это собрания всякой всячины: забавных историй, жанровых зарисовок, описаний быта и нравов. То серьезные, то смешные картины тогдашнего життя-бытья связаны одной темой, которую лучше всего, пожалуй, выразить так: «Смотрите, вот как ведут себя люди, которые не боятся, что завтра их уволят». Сочиняя эти книги, Марк Твен отнюдь не думал слагать гимн свободе. Его интересует прежде всего многообразие человеческой природы, оригинальные, чудные, едва ли не безумные типы, которые она способна производить, если не испытывает экономического принуждения и груза традиций. Описывая миссисипских лоцманов, плотовщиков, старателей, бандитов, он вряд ли впадает в преувеличения, хотя они так же непохожи на современного человека, как химеры, украшающие готические соборы, да и друг на друга тоже. Благодаря отсутствию внешнего давления в них развилось сильное индивидуальное начало, странное, а иногда и страшное. Государственная власть сюда практически не простиралась, церковь была слаба, проповедовала разными голосами, а земли было вдоволь — только грабастай. Если тебе разонравилась работа, ты мог двинуть хозяину в зубы и податься дальше на Запад. И главное, деньги были полноценны, самая мелкая монета ходила как добрый шиллинг.

Американские пионеры вовсе не были какими-то сверхчеловеками, им даже мужество изменяло. Целые поселки загрубелых золотоискателей позволяли бандитам терроризировать себя: им не хватало согласия, гражданского духа дать тем отпор. Они даже знали классовые различия. По старательской деревне прохаживался некий господин в сюртуке и цилиндре, но в жилетном кармане у него лежал крупнокалиберный револьвер; хотя на его счету было двадцать трупов, он упорно называл себя джентльменом и за столом держался безупречно. Как бы то ни было, судьба человека не была predetermined от рождения. Пока оставались свободные земли, выражение «Из бревенчатой хижины в Белый дом» еще не сделалось

---

мифом. В известном смысле именно ради этого парижские толпы штурмовали Бастилию, и, читая Твена, Брет Гарта, Уитмена, чувствуешь, что их старания были не напрасны.

Сам же Марк Твен не хотел быть только хроникером Миссисипи и эпохи Золотой лихорадки — он метил выше. Его знали во всем мире как юмориста и лектора-балагура. Многочисленные аудитории в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Вене, Мельбурне, Калькутте буквально покатывались со смеху, слушая его шутки и остроты, однако сейчас почти все они выдохлись и больше не смешны. (Стоит заметить, что выступления Марка Твена имели успех только у англосаксов и немцев. Что до более развитой и искушенной публики романских стран, где, как он сам сетовал, юмор вертится вокруг пола и политики, то она оставалась равнодушной к нему.)

Кроме всего прочего, Марк Твен претендовал на роль критика общества, а то и своего рода философа. У него действительно были задатки бунтаря, даже революционера, и он, очевидно, хотел развить их, но почему-то так и не развил. Он мог бы стать обличителем притворщиков и пустозвонов, глашатаем демократии, причем более значительным, чем Уитмен, благодаря духовному здоровью и врожденному чувству юмора. Вместо этого он заделался «общественным деятелем» — той самой сомнительной фигурой, перед которой угодничают дипломаты и которую жалуют венценосные особы. Возвышение Марка Твена отражает вырождение американской жизни, начавшееся после Гражданской войны.

Твена часто сравнивают с его современником, Анатолем Франсом, и это сравнение отнюдь не беспочвенно, как может показаться с первого взгляда. Оба были духовными сыновьями Вольтера, природа наделила их ироничностью и пессимизмом по отношению к жизни. Оба знали, что существующий социальный порядок — это сплошной обман, а так называемые заветные чаяния народа по большей части глубокие заблуждения. Отъявленные безбожники, оба были убеждены в том, что вселенная слепа и же-

---

стока (Твен — под влиянием Дарвина). Но здесь сходство кончается. Французский писатель гораздо более образован и начитан, более чуток в эстетическом отношении, и, главное, он обладал большим мужеством. Он действительно обличал мифы и мошенничества, а не прятался, как Марк Твен, за добродушной маской «общественного деятеля» и присяжного забавника. Он не боялся вызвать гнев у Церкви, не боялся занять непопулярную позицию в общественных делах — возьмите, например, дело Дрейфуса. Что до Твена, то, за исключением небольшого эссе «Что есть человек», он никогда не критиковал заветные чаяния, если это могло навлечь на него беду. Он сам так и не сумел отделаться от специфически американского представления, будто успех и добродетель — это одно и то же.

Есть одно странное место в «Жизни на Миссисипи», которое выдает сокровенную слабость Марка Твена. В одной из первых глав этой преимущественно автобиографической книги он просто взял и поменял время событий. Свои приключения на лодманской службе он описывает так, словно был семнадцатилетним парнишкой — на самом же деле ему тогда было уже под тридцать. Ниже в той же книге упоминается о его славном участии в Гражданской войне. Марк Твен начал сражаться — если он вообще сражался — на стороне южан, но скоро перешел на другую сторону. Такое поведение простительно мальчишке, а не взрослому человеку — отсюда и подмена в хронологии. Суть, однако же, в том, что он примкнул к северянам, как только понял, что они победят. Это обыкновение брать, где удастся, сторону сильного, убежденность, что сила всегда права, прослеживается на протяжении всей жизни Марка Твена. В книге «Налегке» у него есть любопытный рассказ о бандите по имени Слейд, который убил двадцать восемь человек — не говоря уже о других бесчисленных злодеяниях. Совершенно очевидно, что автор восхищается этим отпетым негодяем. Слейд необыкновенно удачлив — следовательно, он заслуживает восхищения. Такой взгляд на вещи, общепринятый и сегодня, закреп-

---

лен в сугубо американском выражении *to make good*, то есть добиться успеха, преуспеть.

В тот период откровенного, бесстыдного стяжательства, который последовал за Гражданской войной, вообще трудно было не поддаться стремлению к успеху, а человеку с таким темпераментом, как у Марка Твена, и подавно. Уходила в прошлое прежняя простая, жующая табак и строгающая от нечего делать щепочки демократия, воплотившаяся в Аврааме Линкольне. Наступал век дешевого иммигрантского труда и господства Большого бизнеса. Мягкими сатирическими штрихами Твен изобразил своих современников в «Позолоченном веке» и сам же заразился распространяющейся лихорадкой накопительства, вкладывая в разные предприятия значительные суммы денег и теряя их. На несколько лет он вообще бросил писать и целиком отдался бизнесу. Сколько же времени потрачено им даром на шутовство и паясничанье, на лекционные турне и званые обеды, на книжки вроде «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», где он безудержно превозносил самое низкое и вульгарное в американском национальном характере! Человек, который мог бы вырасти в провинциального самородка-Вольтера, превратился в записного застольного оратора, известного всему миру способностью сыпать анекдотами и ублажать богатых дельцов, выставляя их благодетелями общества.

Марк Твен так и не написал книг, которые должен был бы написать, и вину за это принято возлагать на его жену. Известно, что она изрядно тиранила мужа. Твен имел обыкновение каждое утро показывать жене то, что он написал накануне, а миссис Клеменс (настоящее имя Марка Твена — Сэмюэл Клеменс), вооружившись синим карандашом, начинала вычеркивать все, что казалось ей неприличным. Судя по всему, она была строгим цензором даже по меркам прошлого века. В своей книге «Мой Марк Твен» Уильям Д. Хоуэлс рассказывает, какой поднялся переполох, когда в тексте «Приключений Гекльберри Финна» обнаружилось ужасное выражение. Твен воззвал

---

к Хоуэлсу, и тот признал, что «Гек выразился бы именно так», но одновременно согласился с миссис Клеменс, что печатать это вряд ли нужно. «Черт побери!» — вот это ужасное выражение. Ни один стоящий писатель не попадет в интеллектуальное рабство к собственной жене. Если бы Твен на самом деле захотел написать что-нибудь смелое, миссис Клеменс ни за что не удержала бы его от этого. Словом, Марк Твен сдался на милость света. Очевидно, миссис Клеменс облегчила мужу капитуляцию, однако он сам пошел на капитуляцию из-за коренного изъяна в своем характере — неспособности встать выше Успеха.

Некоторые книги Марка Твена читают и будут читать, ибо в них запечатлена бесценная история быта и нравов. Его долгая жизнь пришлась на великую эпоху возвышения Америки. Когда он был ребенком, его, конечно, брали на обыкновенные пикники, и он мог увидеть, как вешают аболициониста, а умер он в ту пору, когда уже не были в новинку аэропланы. Та великая эпоха оставила небогатую литературу, так что, не будь Марка Твена, мы имели бы гораздо более смутное представление о колесных пароходах на Миссисипи или о почтовых дилижансах, пересекающих прерии. И, тем не менее, большинство исследователей его творчества сходятся во мнении, что он мог создать нечто более серьезное. Читая Твена, испытываешь удивительное ощущение, что он готов сказать что-то еще, но не решается. По страницам «Жизни на Миссисипи» и других его вещей будто движется тень какой-то значительной, глубокой и гармоничной книги.

Марк Твен начинает свою автобиографию замечанием, что внутренняя жизнь человека не поддается описанию. Мы не знаем, что именно ему хотелось сказать людям, не исключено, что недоступный пока трактат «1601 год» даст какой-то ключ к тайне, однако нетрудно догадаться: это сильно повредило бы его репутации и убавило бы его гонорары до разумных размеров.

26 ноября 1943 г.

---

## Привилегия священнослужителей: заметки о Сальвадоре Дали

Автобиографии можно верить только тогда, когда она обнаруживает что-то постыдное. Человек, представивший себя в благоприятном свете, вероятно, лжет, поскольку жизнь, когда на нее смотришь изнутри — это просто ряд поражений. Но даже вопиюще лживая книга (пример — автобиографические сочинения Фрэнка Харриса<sup>1</sup>) может, вопреки намерению автора, дать его верный портрет. К этому разряду относится недавно опубликованная «Тайная жизнь» Дали\*. Некоторые происшествия в ней явно неправдоподобны, другие переиначены и поданы в романтическом ключе. За рамками оставлено не только все унижительное, но и неизбежная обыкновенность повседневной жизни. Дали даже по собственному диагнозу нарцисс, и автобиография его — просто стриптиз в розовом свете рампы. Но как отчет о фантазиях, об извращении инстинктов, порожденном машинным веком, она весьма ценна.

Вот некоторые эпизоды его жизни, начиная с первых лет. Какие из них подлинны, а какие вымышлены, не суть важно: что ему *хотелось бы* сделать — вот что главное.

Ему шесть лет, с некоторым волнением ожидают комету Галлея:

---

<sup>1</sup> Фрэнк Харрис (1856–1931) — британский журналист и писатель. Речь идет о его четырехтомной автобиографии «Моя жизнь и романы».

\**The Secret Life of Salvador Dali*, Dial Press, New York.

---

«В ту же минуту на пороге появился служащий отцовской конторы и объявил, что комету прекрасно видно с верхней террасы. Все ринулись к лестнице, я же, парализованный ужасом, так и остался сидеть на полу. Потом, собравшись с силами, встал и очертя голову побежал на террасу и уже у самой двери увидел свою трехлетнюю сестренку — она степенно, на четвереньках двигалась за гостями. Я остановился и после секундного замешательства ударил ее ногой по голове — как по мячу. И, подхваченный бредовым ликованием, которым преисполнило меня это злодеяние, кинулся было на террасу. Но отец, оказывается, шел позади — он схватил меня, поволок в кабинет, запер там и не выпускал до самого ужина»<sup>2</sup>.

Годом раньше Дали «внезапно, как всегда приходит ко мне большинство мыслей», столкнул мальчика с моста. Рассказывается о других подобных происшествиях, среди прочего о том (*ему уже двадцать один год*), как он сбил кулаком девушку и топтал, «пока ее не отняли у меня, окровавленную».

Сальвадору пять лет; ему попадает раненая летучая мышь, и он кладет ее в ведро. На другое утро он находит ее полумертвой и облепленной муравьями, которые ее уже едят. Он берет ее в рот, с муравьями и прочим, и почти перекусывает пополам.

Он студент, и в него без памяти влюбляется девушка. Он целует и ласкает ее, чтобы возбудить как можно сильнее, но дальше идти не хочет. Решает продолжать это пять лет (называет это своим «пятилетним планом»), наслаждаться ее унижением и ощущением своей власти. Часто говорит ей, что через пять лет ее бросит, и, когда наступает срок, так и делает.

До зрелых лет онанирует и, по-видимому, любит заниматься этим перед зеркалом. В обычном смысле, он, судя по всему, лет до тридцати импотент. Познакомившись

---

<sup>2</sup> Перевод Н. Малиновской.

---

со своей будущей женой Галой, испытывает сильное искушение столкнуть ее в пропасть. Он чувствует: Галя хочет, чтобы он с ней что-то сделал, и после первого поцелуя происходит признание:

«Схватив Галу за волосы, я запрокинул ей голову и, дрожа в совершенной истерике, приказал:

— А теперь скажи, что мне с тобой сделать? Скажи медленно, глядя мне в глаза, самыми грубыми, самыми непристойными словами, чтобы мы почувствовали самый большой стыд!

...Тогда последняя тень удовольствия в глазах Галы сменилась жестоким тиранским блеском, и она ответила:

— Я хочу, чтобы ты меня убил!».

Он несколько разочарован ее требованием, потому что именно это и сам хотел сделать. Он подумывает сбросить ее с колокольни в Толедо, но воздерживается.

Во время гражданской войны в Испании он предусмотрительно не становится ни на ту, ни на другую сторону и едет в Италию. Его все сильнее тянет к аристократам, он посещает модные салоны, обзаводится богатыми покровителями и фотографируется с толстым виконтом де Ноай, которого называет своим Меценатом. Назревает война в Европе, и он озабочен только одним: подыскать место, где хорошо готовят, и откуда можно быстро удрасть в случае опасности. Оседает в Бордо, а во время французской кампании своевременно бежит в Испанию. Там успевает услышать несколько историй о зверствах красных, после чего отбывает в Америку. Конец повествования озарен респектабельностью. Тридцатисемилетний Дали становится примерным мужем, избавляется от отклонений, по крайней мере, некоторых, и полностью примиряется с католической церковью. И, насколько можно понять, хорошо зарабатывает.

Но ни в коей мере не перестает гордиться своими картинами сюрреалистического периода с такими названиями, как: «Великий мастурбатор», «Содомия черепа с роялем» и т. д. Книга полна их репродукциями. Многие

---

рисунки Дали чисто натуралистичны и отмечены одной особенностью, о которой будет речь дальше. Но в сюрреалистической живописи и фотографии выделяются две черты: сексуальная извращенность и некрофилия. Раз за разом появляются сексуальные объекты и символы — в том числе хорошо известные, вроде нашей старой знакомой — туфли на высоком каблуке, и запатентованные самим Дали, такие, как костыль и чашка теплого молока, — и довольно отчетливо прослеживается экскреторный мотив. О своей картине «Мрачная игра» он говорит: «Трусы, запачканные экскрементами, были выписаны с такой любовной реалистичностью и тщательностью», что весь сюрреалистический кружок мучался вопросом: копрофаг он или нет? Дали решительно заявляет, что нет, и что это извращение ему кажется омерзительным, но интерес его к испражнениям только этим, по-видимому, и ограничен. Рассказывая о том, как он наблюдал за женщиной, мочившейся стоя, Дали не может не добавить подробность, что она промахнулась и запачкала туфли. Ни одному человеку не дано быть носителем всех пороков, и Дали хвастается тем, что он не гомосексуалист; но в остальном он, кажется, наделен извращениями на зависть любому.

Самое навязчивое из них — некрофилия. Он сам откровенно признается в этом, но утверждает, что излечился. Лица мертвецов, трупы животных встречаются часто в его картинах, а муравьи, поедавшие полудохлую летучую мышь, появляются бесчисленное множество раз. На одной фотографии показан эксгумированный труп, сильно разложившийся. На другой — дохлые ослы гниют на роялях — это вошло в сюрреалистический фильм «Андалузский пес». Дали до сих пор вспоминает этих ослов с большим энтузиазмом:

«Гниение ослов я «изобразил», вылив на них несколько пузырьков вязкого клея. Кроме того, я вынул у них глаза и укрупнил их, вспоров ножницами. Я безжалостно разрезал им рты, чтобы выигрышнее смотрелся ос-

---

кал, и в каждый рот запихнул лишние челюсти, дабы создать впечатление, что ослы, хотя и разлагаются, но еще выблевывают немного своей смерти над другими рядами зубов, образованными клавишами черных роялей».

И, наконец, псевдофотография — «Манекен, гниющий в такси». По уже раздувшемуся лицу и груди мертвой девушки ползут громадные улитки. В подписи под фотографией Дали поясняет, что это бургундские улитки — то есть съедобные.

Конечно, в этой длинной книге, 400 страниц *in quarto*, содержится гораздо больше того, что я упомянул, но полагаю, я не изобразил превратно ее моральную атмосферу и психологическое наполнение. Книга отвратительная. Если бы книга могла испускать вонь, то эта воняла бы, что, впрочем, могло бы обрадовать Дали: перед тем, как приступить к ухаживанию за будущей женой, он с головы до ног намазался составом из козьего кала, сваренного в рыбьем клею. Все этому надо противопоставить другой факт: Дали — исключительно одаренный рисовальщик. И, судя по тщательности и уверенности его рисунка, очень усердный работник. Он эксгибиционист и карьерист, но не мошенник. Он в пятьдесят раз талантливее большинства людей, которые готовы морально осуждать его и смеяться над его живописью. Сочетание этих двух фактов ставит нас перед вопросом, редко обсуждаемым всерьез, поскольку нет почвы для согласия.

Суть в том, что мы имеем дело с прямой, неприкрытой атакой на приличия, на душевное здоровье и даже — поскольку некоторые картины Дали отравляют воображение не хуже порнографических открыток, — на самое жизнь. Что сделал Дали и что нафантазировал — об этом можно строить догадки, но во взглядах его, в его характере фундаментальная человеческая порядочность отсутствует напрочь. Он антисоциален, как вошь. Ясно, что такие люди нежелательны, и с обществом, где они процветают, что-то неладно.

---

Если показать эту книгу с ее иллюстрациями лорду Элтону, мистеру Альфреду Нойесу, авторам передовиц в «Таймс», ликующим по поводу «затмения высоколобых», — да и любому «разумному» англичанину, ненавидящему искусство, то вообразить их реакцию нетрудно. Они наотрез откажутся видеть в Дали какие-либо достоинства. Такие люди не только неспособны признать, что морально ущербное может быть эстетически верным: в сущности, они требуют от каждого художника, чтобы он похлопывал их по спине и говорил, что думать не обязательно. Особенно опасны они могут быть в такое время, как сейчас — когда министерство информации и Британский совет наделили их властью. Ибо инстинкт их требует не только раздавить всякое народившееся дарование, но и кастрировать прошлое. Прислушайтесь к возобновившейся здесь и в Америке травле высоколобых, к негодующим крикам по поводу Джойса, Пруста, Лоуренса и даже Т. С. Элиота.

Но если поговорить с человеком, способным увидеть достоинства Дали, его реакция, как правило, будет немногим лучше. Если вы скажете, что Дали, пусть он блестящий рисовальщик, все равно мелкий грязный негодяй, на вас посмотрят как на дикаря. Если вы скажете, что не любите разложившихся трупов и душевнобольных, — решат, что вы лишены чувства прекрасного.

Коль скоро «Манекен, гниющий в такси» — хорошая композиция (что бесспорно), она не может быть ущербной, отвратительной картиной; Нойес же, Элтон и другие скажут вам, что раз она отвратительна, она не может быть хорошей композицией. И средней позиции между двумя этими заблуждениями нет; вернее, она есть, но мы редко о ней слышим. С одной стороны *Kulturbolschevismus*, с другой (хотя выражение вышло из моды) — «искусство для искусства». Непристойность — проблема, крайне затруднительная для честного обсуждения. Одни слишком боятся показать, что они шокированы, другие — что их невозможно шокировать, и поэтому определить взаимоотношения искусства и морали не могут.

---

Понятно, что защитники Дали настаивают на своего рода привилегии священнослужителей<sup>3</sup>. Художник должен быть свободен от нравственных законов, которым подчиняются обычные люди. Достаточно произнести магическое слово «искусство» — и все годится. Гниющие трупы, покрытые улитками, — годятся; пинать маленьких девочек в голову — годится; даже фильм «Золотой век» годится\*. Годится и то, что Дали, годами кормившийся от Франции, бежит, как крыса, как только Франции начинает грозить опасность. Ежели ты можешь прилично писать маслом, тебе всё прощается.

Легко увидеть, насколько фальшив этот подход, если применить его к обычному преступлению. В такой век, как наш, когда художник — персона совершенно исключительная, ему позволительна некоторая безответственность, совсем как беременной женщине. Однако никто не скажет, что беременной женщине позволительно совершить убийство, и то же самое — художнику, сколь угодно одаренному. Если завтра на землю вернется Шекспир, и окажется, что его любимое развлечение — насиловать девочек в вагонах, мы ведь не скажем ему «валяй» на том основании, что он может написать еще одного «Короля Лира». И, в конце концов, самые худшие преступления — не всегда наказуемые преступления. Поощрение некрофильских грез, вероятно, приносит не меньше вреда, чем, например, воровство из карманов на скачках. Надо держать в голове одновременно два соображения: что Дали хороший рисовальщик и пакостное существо. Одно не отменяет другого и, в каком-то смысле, не сказывается на другом. От стены требуется, прежде всего, чтобы она стояла. Если она стоит, это хорошая стена, а для какой надобности она служит — дело дру-

---

<sup>3</sup> «Привилегия священнослужителей» — неподсудность духовенства светскому суду.

\*Дали упоминает «Золотой век» и говорит, что через два дня после премьеры показ его был прерван хулиганами. По сообщению *Генри Миллера*, среди прочего, там весьма подробно показывалось, как испражняется женщина.

гое. Тем не менее, даже самая лучшая на свете стена заслуживает того, чтобы ее снесли, — если она окружает концлагерь. Точно так же у нас должно быть право сказать: «Это хорошая книга (или картина), и надо, чтобы ее сжег государственный палач». Если вы не можете это сказать, хотя бы мысленно, значит, боитесь сделать выводы из того факта, что художник — тоже гражданин и человек.

Это, конечно, не значит, что автобиографию Дали или его картины надо запретить. За исключением похабных открыток, продававшихся в средиземноморских портовых городах, вообще запрещать что бы то ни было — политика сомнительная, а от фантазий Дали может быть та польза, что они проливают свет на упадок капиталистической цивилизации. Но в чем он явно нуждается — это в диагнозе. Вопрос не столько в том, что он такое, сколько в том, почему он такой. Не вызывает сомнений, что это больной ум, вероятно, не очень изменившийся в результате якобы обращения, ибо искренне кающиеся или выздоровевшие психически не хвастают публично былыми грехами. Он — симптом мировой болезни. Важно не обличать его как хама, который заслуживает порки, не защищать как гения, которому все позволено, а выяснить, почему он обнаруживает именно такой набор отклонений.

Ответ, вероятно, содержится в его живописи, а я недостаточно сведущ, чтобы ее анализировать. Но готов указать на один ключ, который может приблизить к разгадке. Это старомодная, витиеватая эдвардианская<sup>4</sup> графическая манера, к которой Дали возвращается всякий раз, когда отходит от сюрреализма. Некоторые рисунки Дали напоминают Дюрера, в одном (стр. 113) угадывается влияние Бердслея, еще в одном (стр. 269) он как будто заимствует у Блейка. Но чаще всего встречаешься с эдвардианской манерой. Когда я впервые открыл книгу и просматривал бесчисленные иллюстрации на полях, меня не оставляло ощущение какого-то сходства, только я не

<sup>4</sup> Имеется в виду эпоха короля Эдуарда VII (1901–1910).

мог определить — с чем. Я задержался на орнаментальном подсвечнике в начале Части I (стр. 7). Он напомнил мне безвкусное роскошное издание Анатоля Франса (в переводе), выпущенное, наверное, около 1914 года. Там в этом стиле были выполнены орнаментальные заставки и концовки глав. На одном конце подсвечника у Дали — изогнутое рыбообразное существо смутно знакомого вида (за основу взят, вероятно, дельфин), на другом — горящая свеча. Эта свеча, кочующая из картины в картину, — наша очень старая приятельница. Вы найдете ее с теми же живописными потеками воска по бокам на электрических лже-свечах, которые так популярны в загородных псевдотюдоровских гостиницах. Эта свеча и нижнее украшение мгновенно воспринимаются как выражение глубокой сентиментальности. Наверное, чтобы уравновесить ее, Дали щедро обрызгал лист тушью, но тщетно. Такое же впечатление возникает то и дело. Композиция внизу стр. 62 сгоди-лась бы, пожалуй, для «Питера Пэна»<sup>5</sup>. Женщина на стр. 224, хотя череп у нее вытянут до пропорций колбасы — типичная ведьма из детских книжек. Лошадь на стр. 224 и единорог на стр. 218 могли бы стать иллюстрациями к Джеймсу Бранчу Кэйбеллу<sup>6</sup>. Такое же впечатление производят рисунки несколько женоподобных юношей на стр. 97, 100 и других. Слащавость высовывается отовсюду. Убрать черепа, муравьев, омаров, телефоны и прочую парадерналию, и то и дело вы возвращаетесь в мир Барри, Рэ-кама<sup>7</sup>, Дансейни<sup>8</sup> и «Где кончается радуга»<sup>9</sup>.

Любопытно, что кое-какие из скверных проделок в автобиографии созвучны тому же периоду. Когда я читал пассаж, процитированный в начале статьи, — о том, как он пнул младшую сестру, — в голове у меня забрезжило какое-то воспоминание. Что это? Ну, конечно! «Страшные

<sup>5</sup> Пьеса английского драматурга *Джеймса Барри* (1860–1937).

<sup>6</sup> *Дж. Б. Кэйбелл* (1879–1958) — американский романист и критик.

<sup>7</sup> *Артур Рэкам* (1867–1939) — английский художник и иллюстратор.

<sup>8</sup> *Эдуард Дансейни* (1878–1967) — английский драматург и сказочник.

<sup>9</sup> Детская пьеса миссис *Клиффорд Миллс*.

---

стишки для свирепых семеек» Гарри Грэма. Они были очень популярны году в 12-м, и один:

Очень огорчается  
Бедный мальчик Вилли.  
Он сломал сестренке шею,  
И его за это сладкого лишили,

– вышел прямо из сюжета Дали. Дали, конечно, знает о своих эдвардианских склонностях и зарабатывает на этом капитал при помощи, условно говоря, стилизации. Он признается в особой любви к 1900 году, утверждая, что каждый декоративный предмет 1900 года полон тайны, поэзии, эротики, безумия, извращенности и т. д. Стилизация, однако, предполагает подлинную любовь к предмету подражания. При этом, если не всегда, то довольно часто интеллектуальной склонности сопутствует иррациональная, даже ребяческая тяга к тому же самому. Скульптор, например, занят поверхностями и кривыми, но, кроме того, получает удовольствие от самой возни с глиной или камнем. Механику приятно прикосновение к инструменту, звук динамо, запах масла. Психиатр сам обычно склонен к той или иной сексуальной аномалии. Дарвин стал биологом отчасти потому, что жил в деревне и любил животных. И вполне возможно, что как будто бы нездоровый культ всего эдвардианского у Дали (например, «открытие» станций метро, построенных в 1900-х годах), — лишь симптом более глубокой и менее осознанной привязанности. Бесчисленные, прекрасно исполненные копии иллюстраций из учебников, разбросанные по полям, с серьезными названиями *le rossignol*, *une montre*<sup>10</sup> и т. д., может быть, задуманы отчасти как шутка. Мальчик в бриджах, играющий в дьяболо на стр. 103, — типичный рисунок той эпохи. Но возможно, Дали поместил их в книгу потому, что у него есть потребность так рисовать, потому что он на самом деле принадлежит этой эпохе и этому стилю.

<sup>10</sup> Соловей, часы (фр.).

---

Если так, то его отклонения в какой-то мере объяснимы. Возможно, это способ убедить самого себя, что он — не заурядность. Две черты, которыми Дали обладает безусловно, — талант графика и животный эгоизм. «В семь лет, — говорит он в первом абзаце книги, — я хотел стать Наполеоном. И с тех пор мои амбиции постоянно росли». Сказано с намерением поразить, но по существу это, без сомнения, правда. Такие чувства отнюдь не редкость. «Я знал, что я гений, — сказал мне как-то один человек, — за долго до того, как выяснил, в чем именно буду гением». А предположите, что у вас нет ничего, кроме эгоизма и таланта, который не идет выше локтя; предположите, что настоящее ваше призвание — подробный, академический рисунок и предназначено вам быть иллюстратором учебников. Как тут стать Наполеоном?

Один путь есть всегда: через *зловредность*. Всегда делать то, что шокирует и ранит людей. В пять лет столкнуть мальчика с моста, отхлестать старого доктора метелкой по лицу и разбить ему очки — или, по крайней мере, помечтать об этом. Двадцатью годами позже вырезать ножницами глаза у дохлого осла. Так ты всегда будешь чувствовать себя оригиналом. К тому же это окупается! И совсем не так опасно, как уголовное преступление. Даже если сделать скидку на возможные цензурные изъятия в автобиографии Дали, ясно, что доставалось ему за эти выходы гораздо меньше, чем досталось бы в прошлые времена. Он вырос в развращенном мире 1920-х годов, когда изломанность царила повсюду, и все европейские столицы кишели аристократами и рантье, забросившими спорт и политику и принявшими покровительствовать искусствам. Вы швыряли им дохлых ослов, и они вам швыряли деньги. Патологический страх перед кузнечиками — несколько десятилетий назад над ним просто смеялись бы, — сделался интересным «комплексом», и на нем можно было заработать. А рухнет этот мир под натиском немецкой армии — тебя ждет Америка. И всё это можно приправить религиозным обращением, перебравшись одним прыжком

---

ком, без тени раскаяния, из модных салонов Парижа на лоно Авраамово.

Таковы, можно думать, основные контуры истории Дали. Но почему извращения его именно такие и почему так легко было продавать искусственной публике такие ужасы, как разлагающиеся трупы — это вопросы к психологу и социологу. У марксистской критики с такими явлениями, как сюрреализм, разговор короткий: «Это буржуазные вырожденцы» (постоянно обыгрываются «трупные яды» и «загнивающий класс рантье»), и всё тут. Возможно, это — констатация факта, но не выявление связей. Все же хочется понять, *почему* Дали склонен к некрофилии (а, скажем, не к гомосексуализму), *и почему* рантье и аристократы желают покупать его картины, вместо того, чтобы охотиться или предаваться любовным утехам, как их деды. Само по себе моральное осуждение ничего нам не объяснит. Но и не надо притворяться ради «объективности», будто такие произведения, как «Манекен, гниющий в такси» морально нейтральны. Они отвратительны и тлетворны, и от этого факта должно отправляться любое исследование.

*июнь 1944 г.*

---

## Тобайас Смоллетт, лучший шотландский романист

Заезженное слово «реализм» употребляется, по меньшей мере, в четырех значениях, но применительно к роману чаще всего означает фотографическое изображение повседневной жизни. В «реалистическом» романе диалог идет на разговорном языке, а физические объекты описаны таким образом, что их можно мысленно увидеть. В этом смысле все современные романы более «реалистичны», чем прошлые, потому что описание повседневных сцен и построение естественно звучащего диалога — в большой степени вопрос технических приемов, которые передаются из поколения в поколение, постепенно совершенствуясь. Но в другом отношении, ходульные, искусственные романы XVIII века «реалистичнее» почти всех последующих — а именно, в отношении мотивов, движущих людьми. Они, может быть, слабы в описании пейзажа, но исключительно хороши в описании негодяйства. Это свойственно даже Филдингу, хотя в «Томе Джонсе» и «Амелии» уже заметно морализаторство, которое станет характерной чертой английских романов в последующие 150 лет. Но гораздо больше свойственно Смоллетту, чью выдающуюся интеллектуальную честность можно связать с тем, что он не был англичанином.

Смоллетт писал плутовские романы — длинные, бесформенные истории, полные фарсовых и невероятных

---

приключений. В какой-то мере он наследует Сервантесу, которого переведил на английский и даже обокрал в «Сэре Ланселоте Гривзе». Естественно, что многое из написанного им читать уже не стоит — в том числе, возможно, и его самую расхваленную книгу «Хамфри Клинкера», эпистолярный роман, в XIX веке считавшийся сравнительно приличным, поскольку большинство непристойностей спрятаны в каламбурах. Но настоящие шедевры Смоллетта — «Родрик Рэндом» и «Перигрин Пикль», откровенно порнографические, на безобидный манер, с кусками чистого фарса, не превзойденными в английской литературе.

Диккенс в «Давиде Копперфильде» называет среди своих любимых детских книг эти две, но иногда приписываемое ему сходство со Смоллеттом весьма поверхностно. В «Пиквикском клубе» и еще нескольких ранних книгах Диккенс пользуется формой плутовского романа — тут и бесконечные поездки туда и сюда, и фантастические приключения, и готовность пожертвовать каким угодно правдоподобием ради шутки, но моральная атмосфера сильно изменилась. Между эпохой Смоллетта и Диккенсом произошла не только французская революция, но и образовался промышленный средний класс, склонявшийся к *низкой церкви*<sup>1</sup> и пуританский по взглядам. Смоллетт пишет о среднем классе, но о торговом и профессиональном среднем классе — это родственники землевладельцев, перенимающие манеры у аристократии.

Дуэлянтство, азартные игры и блуд для него как будто бы почти нейтральны в этическом плане. В частной жизни он вел себя лучше большинства писателей. Он был верным мужем и сократил свой век непомерной работой ради семьи, он был стойким республиканцем, ненавидевшим Францию как страну пышной монархии, и шотландским патриотом в ту пору, когда свежа еще была память о

---

<sup>1</sup> *Низкая церковь* — направление в англиканской церкви; отрицательно относится к обрядности и делает упор на изучение Библии, в отличие от *высокой церкви*, тяготеющей к католичеству и придающей большое значение авторитету священников и ритуалу.

---

восстании 1745 года, и быть шотландцем было совсем не модно. Но чувство греха у него очень слабое. Его герои совершают поступки — и совершают чуть ли не на каждой странице, — которые в любом английском романе XIX века потребовали бы немедленной небесной кары. Порочность, кумовство, беспорядок, отличавшие общество XVIII века, он принимает как закон природы, и в этом его очарование. Многие лучшие места в его книгах были бы погублены вторжением нравственного чувства.

«Перигрин Пикль» и «Родрик Рэндом» развиваются примерно по одной схеме. Оба героя испытывают разнообразные превратности судьбы, много странствуют, соблазняют без счета женщин, попадают в долговую тюрьму, под конец счастливо женятся и процветают. Из них Перигрин — несколько больший мерзавец, поскольку не имеет профессии (Родрик — корабельный врач, как и Смоллетт в свое время), и потому может больше времени уделить соблазнению женщин и розыгрышам. Но ни тот, ни другой ни разу не показаны действующими из бескорыстных побуждений, и ниоткуда не видно, что вера, политические убеждения и даже обыкновенная честность играют серьезную роль в делах человека.

В мире смоллеттовских романов есть только три добродетели. Одна — феодальная преданность (и у Родрика, и у Перигрина есть вассал, верный хозяину до гроба); другая — мужская «честь», то есть готовность драться по любому поводу, и третья — женское «целомудрие», неразрывно соединившееся с идеей раздобыть мужа. В остальном всё позволено. Ничего зазорного, например, сжульничать в картах. Родрику, разжившемуся тысячей фунтов, кажется совершенно естественным купить щегольской наряд и отправиться в Бат, чтобы там, выдавая себя за богача, подцепить наследницу. Оказавшись во Франции без работы, он решает поступить в армию, а поскольку ближе всего французская, вступает в нее и сражается с британцами при Деттингене, что не мешает ему вскоре драться на дуэли с французом, оскорбившим Британию.

---

Перигрин месяцами занимается тем, что готовит чудовищно жестокие розыгрыши, излюбленное развлечение XVIII века. Например, когда незадачливый английский художник попадает в Бастилию за какое-то мелкое нарушение, Перигрин с товарищами, пользуясь тем, что он не знает языка, объясняют ему, что его приговорили к колесованию. Чуть позже сообщают, что наказание заменено на кастрацию, а потом внушают ему, что он бежит из тюрьмы переодетым, тогда как на самом деле он нормальным образом отпущен из заключения.

Почему интересно читать об этих мелких гадостях? Во-первых, потому, что это смешно. У континентальных писателей, повлиявших на Смоллетта, возможно, найдутся истории получше, чем европейское путешествие Перигрина, но в английской литературе ничего лучшего в этом роде нет. Во-вторых, напроць исключив «хорошие» мотивы и не проявляя никакого уважения к человеческому достоинству, Смоллетт зачастую достигает такой правдивости, какая не давалась более серьезным романистам. Он готов говорить о вещах, которые происходят в реальной жизни, но в беллетристику почти никогда не попадают. Родрик Рэндом, например, на каком-то этапе своих приключений подхватывает венерическую болезнь — по-моему, больше ни с кем из английских романских героев такого не случалось. И то, что Смоллетт, при своих вполне просвещенных взглядах, принимает покровительство, корыстное использование служебного положения и общую развращенность как должное, придает отдельным местам его книг большой исторический интерес.

Одно время Смоллетт служил во флоте, и в «Родрике Рэндоме» дан не только неприкрашенный отчет о Картахенской экспедиции, но и необыкновенно яркое и отталкивающее изображение внутренностей военного корабля — в то время своего рода плавающей энциклопедии болезней, неудобств, тирании и некомпетентности. Корабль Родрика на время попадает под начало молодого че-

---

ловека из благородной семьи, хлыща, надушенного гомосексуалиста, который все время плавания проводит в своей каюте, чтобы избежать общения с грубыми матросами, и чуть не падает в обморок от запаха табака. Сцены в долгой тюрьме еще лучше. В тюрьме того времени должник, не имевший средств, мог вполне умереть с голоду, если не клянчил у более обеспеченных соседей. Один из сокамерников Родрика дошел до того, что остался совсем без одежды и, дабы сохранить приличия, отрастил очень длинную бороду. Некоторые заключенные, само собой разумеется, — поэты, и книга содержит в себе отдельное повествование: «Трагедия мистера Мелопойна»; всякого, кто верит, будто покровительство аристократа — хорошее подспорье для литературы, она заставит лишний раз подумать.

На позднейших английских писателей Смоллетт повлиял меньше, чем его современник Филдинг. Филдинг пишет о таких же бурных приключениях, но о грехе помнит постоянно. Интересно наблюдать, как в «Джозефе Эндрюсе» Филдинг начинает с намерения написать чистый фарс, а затем, словно бы невольно, принимается наказывать порок и вознаграждать добродетель так, как это было принято в английских романах чуть ли не до нынешнего дня. Том Джонс сгодился бы для романа Мередита<sup>2</sup> или, если на то пошло, Иэна Хейя, тогда как Перигрин Пикль — фигура более европейского склада. Писатели, пожалуй, наиболее родственные Смоллетту, — Сёртис и Марриат<sup>3</sup>, но когда сексуальная откровенность стала невозможной, плутовской роман лишился, наверное, половины своего содержимого. Постоялый двор XVIII века, где отправиться в собственную спальню было почти противоестественно, стал потерянным царством.

<sup>2</sup> *Джордж Мередит* (1828–1909) — английский романист.

<sup>3</sup> *Роберт Сёртис* (1805–1864) — английский писатель и журналист. *Фредерик Марриат* (1792–1848) — английский писатель, автор морских романов.

---

В наши дни разные английские писатели — Ивлин Во, например, или Олдос Хаксли в ранних романах, — черпая из других источников, пытались возродить плутовскую традицию. Стоит только посмотреть на их старания шокировать читателя и собственную их готовность быть шокированными — между тем как Смоллетт пытался просто насмешить естественным для себя способом, — чтобы стало понятно, какие накопления жалости, приличий и гражданственности образовались за то время, которое отделяет его век от нашего.

*сентябрь 1944 г.*

---

## Артур Кёстлер

Одна из бросающихся в глаза особенностей английской литературы нашего времени — обилие иностранцев, игравших в ней ведущую роль: вспомним Конрада, Генри Джеймса, Шоу, Джойса, Йейтса, Паунда, Элиота. Впрочем, если затронут национальный престиж, можно сказать, что Англия смотрится вполне достойно во многих областях литературы, и такой вывод будет совершенно справедлив, пока речь не заходит о литературе, грубо говоря, политической, памфлетной. Я подразумеваю ту особую рода литературу, которая возникла в ходе политической борьбы на европейской сцене, начиная с подъема фашизма. Такая литература объединяет в себе романы, автобиографии, «репортажи», социологические трактаты, просто памфлеты — важно, что они выросли на одной и той же почве и примечательны эмоциональной атмосферой, в большой степени однородной для них всех.

Среди выдающихся представителей этой литературной школы — Силоне, Мальро, Сальвемини, Боркенау, Виктор Серж, наконец, Кёстлер. Одни из них предпочитают художественное творчество, другие нет; роднит их то, что все они стремятся запечатлеть современную историю, однако историю неофициальную, ту, о которой молчат пособия и лгут газеты. И еще их роднит то обстоятельство, что все они принадлежат континентальной Европе. Если и

---

преувеличение, то вовсе не большое заключено в констатации, что любая публикуемая у нас книга о тоталитаризме, которую через полгода после ее выпуска все еще интересно читать, — книга переводная. Что до английских авторов, они за последние десять лет выпустили прорву политических книг, среди которых трудно найти что-нибудь обладающее художественной ценностью, равно как и ценностью политической. Например, с 1936 года существует Клуб левой книги. А много ли вы вспомните хотя бы по названиям книг из числа им рекомендованных? Идет ли речь о нацистской Германии, Советской России, Испании, Абиссинии, Австрии, Чехословакии или иных схожих темах, англичанам приходится довольствоваться легковесными репортажами, пристрастными памфлетами, предлагающими некритически усвоенные и как следует не переваренные пропагандистские тезисы или крайне немногочисленные пособия-справочники, которым можно доверять. У нас нет и отдаленно напоминающего, допустим, «Фонтану» или «Слепящую тьму», потому что фактически ни один английский писатель не имел возможности понаблюдать тоталитаризм изнутри. В Европе за последние десять с лишним лет средним классам довелось пережить многое такое, чего в Англии не испытал даже пролетариат. Большинству названных мною европейских писателей и многим другим, которые им близки, потребовалось пойти против закона, чтобы прорваться на арену политической жизни; есть среди них такие, кто бросали бомбы и участвовали в уличных боях, многие узнали тюрьму и концлагерь, пересекали границу под чужим именем или с поддельным паспортом. Представить себе в подобной роли ну хотя бы профессора Ласки — невысказано. Вот отчего в Англии и не существует, скажем так, литературы концлагерей. Мы, конечно, знаем, что есть специфический мир тайной полиции, контроля над мыслью, пыток, инсценированных судебных процессов, мы всего этого, в целом, не одобряем, однако эмоционально такие явления от нас очень далеки. Одним из следствий этого положения вещей было и есть то, что Англия

---

почти не создала литературы, выразившей разочарование в Советском Союзе. Есть неодобрение, сопровождаемое незнанием, и есть восторги, не допускающие критических нот, но между этими крайностями не существует почти ничего. Скажем, о московских процессах над вредителями отзывались по-разному, однако мнения разделились лишь по поводу истинной или мнимой виновности осужденных. Нашлось всего несколько людей, которым достало понимания, что эти процессы отвратительны и ужасны, независимо от того, было ли для них какое-то основание. Английские протесты против преступлений нацистов были тоже чем-то эфемерным, поскольку эти протесты регулировались политической конъюнктурой, словно бы кран то открывали, то закрывали. Чтобы понимать природу вещей, о которых я говорю, нужно умение вообразить себя жертвой, и мысль, что «Слепящую тьму» мог бы написать англичанин, столь же неправдоподобна, как допущение, что автором «Хижина дяди Тома» явился бы рабовладелец.

Все, что печатает Кёстлер, сосредоточено вокруг московских процессов. Главная его тема — перерождение революции, когда начинают сказываться растлевающие последствия завоевания власти, а особый характер сталинской диктатуры побудил Кёстлера проделать эволюцию вспять, к взглядам, близким консерватизму, пропитанному пессимистическими настроениями. Я не знаю, сколько он написал книг. Происходя из Венгрии, он начал писать по-немецки, а в Англии вышло пять его произведений — «Испанское завещание», «Гладиаторы», «Слепящая тьма», «Мир голодных и рабов», «Приезд и отъезд». Материал во всех них один и тот же, а атмосфера кошмара неизменно воцаряется уже с первых страниц. В трех из пяти названных мною книг действие полностью или почти полностью происходит в тюрьме.

Когда началась Гражданская война, Кёстлер находился в Испании как корреспондент «Ньюс кроникл» и в начале 1937 года попал в плен к фашистам, захватившим Малагу. Его едва не пристрелили на месте, а затем на не-

---

сколько месяцев заточили в крепость, где каждую ночь он слышал залпы — казнили сторонников Республики — и сам подвергался более чем реальной опасности оказаться среди казненных. Это не просто случайный поворот судьбы — «с кем не бывает»; весь стиль жизни Кёстлера сделал такое испытание естественным и неизбежным. Человек, безразличный к политике, вообще не очутился бы в такое время на Пиренеях, а осторожный наблюдатель позаботился бы выехать из Малаги до появления фашистов, да и они действовали бы куда умереннее, имей они дело с обычным журналистом, представляющим британскую или американскую прессу. В книге, где Кёстлер рассказывает о пережитом — «Испанское завещание», — есть замечательные страницы, но, не говоря уже о том, что, как все репортажи, она написана наспех, местами она явственно отдает фальшью. Тюремные сцены наполнены той атмосферой кошмара, которую можно назвать фирменным знаком произведений Кёстлера, однако все остальное слишком окрашено ортодоксальными верованиями тогдашних приверженцев Народного фронта. Отыщется одно-два места, словно бы специально добавленных, чтобы удовлетворить требования Клуба левой книги. В то время Кёстлер, кажется, еще был коммунистом или только что вышел из партии, а сложная расстановка политических сил в ходе Гражданской войны лишала коммуниста возможности честно рассказать о борьбе, которая происходила в стане республиканцев. Едва ли не все левые повинны в том, что после 1933 года они стремились быть антифашистами, не обличая тоталитаризм. К 1937 году Кёстлер это уже понимал, но не чувствовал себя достаточно свободным, чтобы соответствующим образом высказаться. Гораздо ближе к этому он подошел, собственно, даже об этом сказал, хотя и аллегорически, в своей следующей книге «Гладиаторы», напечатанной за год перед войной и отчего-то почти не привлечшей к себе внимания.

«Гладиаторы» кое в чем разочаровывают. Это роман о Спартаке, гладиаторе-фракийце, возглавившем восста-

---

ние рабов, которое вспыхнуло в Италии около 65 года до нашей эры, а всякому, кто обращается к подобной теме, неизбежно приходится выдержать невыигрышное для него сравнение с «Саламбо». В наш век невозможно написать такой роман, как «Саламбо», хотя бы и обладая флоберовским талантом. Самое главное в «Саламбо» даже не точность подробностей, с какими воссоздана эпоха, а последовательная безжалостность автора. Флобер мог проникнуться этой свойственной античности каменной жесткостью, потому что в середине XIX века еще удавалось сохранить незамутненное спокойствие ума. Люди располагали временем, чтобы погрузиться в созерцание прошлого. А в наши дни и прошлое, и будущее слишком ужасают, от них нельзя укрыться, и, погружаясь в историю, в ней ищут параллели к современности. Кёстлер делает Спартака аллегорическим персонажем, примитивной разновидностью вождя пролетарской диктатуры. Если Флобер усилием воображения смог изобразить своих наемников именно такими, какими должны были быть люди в канун христианской эпохи, то Спартак — наш современник, переодетый в античный наряд. Это, впрочем, было бы не столь существенно, если бы Кёстлер в полной мере осознавал смысл созданной им аллегии. Революции никогда не удаются — вот его основная тема. Но отчего они не удаются, он сам в точности не знает, и эта неуверенность автора передается повествованию, делая загадочными, неправдоподобными фигуры главных персонажей.

Несколько лет восставшим рабам неизменно сопутствует успех. Их армия растет, достигая численности в сотни тысяч человек, они завоевывают обширные области в Южной Италии, заключают союз с пиратами, в то время хозяйничавшими на Средиземном море, наконец, принимаются строить собственный город — его назовут Город Солнца. В этом городе люди должны стать свободными и равными, а главное — счастливыми: ни рабов, ни голода, никакой несправедливости, наказаний плетью, казней. Видимо, во все времена мечта о справедливо устроенном

---

обществе властно владеет человеческим воображением, воплощаясь в представления то о Царствии Божьем, то о бесклассовом обществе, то о некогда существовавшем Золотом веке, которого мы, деградируя, лишились. Не приходится говорить, что мечта рабов осталась невоплощенной. Едва успела оформиться их коммуна, как выяснилось, что в ней ничуть не меньше несправедливостей, чем было прежде, и все так же неотвратимы и тяжкий труд, и неискоренимый страх. Для наказания преступников приходится возродить даже крест, этот символ рабства. Решающий момент тот, когда Спартак оказывается вынужденным распять двадцать самых давних и верных своих последователей. После этого Город Солнца обречен, стан рабов расколот и их поочередно сокрушают, а последние пятнадцать тысяч захвачены и распяты.

Серьезный изъян рассказываемой нам истории в том, что мотивы самого Спартака так и остаются непроясненными. Служитель Фемиды римлянин Фульвий, который присоединился к восставшим, ведет хронику событий и пытается осмыслить знакомую дилемму целей и средств. Невозможно ничего достичь, не желая прибегать к силе и хитрости, но, если к ним прибегнуть, извращенными окажутся изначальные побуждения. Однако под пером Кёстлера Спартак вовсе не жаждет власти, а с другой стороны, ничуть не похож на визионера. Им движет некая неясная сила, которой он сам не понимает, и часто его охватывает сомнение, не следовало бы ему, пока все идет хорошо, остановиться, отказаться от своего начинания и бежать в Александрию. Так или иначе, республика рабов терпит крах не столько из-за борьбы претендентов на власть, сколько по причине гедонистических побуждений. Свобода не приносит удовлетворения рабам, потому что они все равно вынуждены трудиться, а окончательный распад происходит из-за того, что наиболее дезорганизованные из них, менее всего поддавшиеся цивилизации — преимущественно галлы и германцы — продолжают вести себя как бандиты и после установления республики. Возможно, так оно и было —

---

мы ведь очень мало знаем о восстаниях рабов в те давние времена, однако, объясняя крах Города Солнца тем, что галла Криксия невозможно удержать от грабежей и насилий, Кёстлер оказывается где-то на перепутье между историей и аллегорией. Если Спартак является прообразом современных революционеров — а ясно, что именно таким он задуман, — он должен потерпеть поражение из-за невозможности сочетать власть со справедливостью. А у Кёстлера он вышел едва ли не пассивным персонажем, который не столько действует, сколько остается орудием в чужих руках, — и это не всегда убеждает. Частичная неудача романа объяснима тем, что центральная проблема — что есть революция? — обходится стороной или, во всяком случае, не получает разрешения.

По-своему и не столь заметно обходится она стороной и в следующей книге Кёстлера, его шедевре «Слепящая тьма». Однако этот роман все-таки удался, поскольку речь в нем идет о конкретных людях, и главный интерес представляет психология этих людей. «Слепящая тьма» повествует об аресте и казни старого большевика Рубашова, который поначалу отрицает предъявленные ему обвинения, но в конце признается в преступлениях, которых, как ему прекрасно известно, он никогда не совершал. Выношенность мысли, отказ от всякой сенсационности и разоблачительного пафоса, ирония и сострадание, которыми пронизан роман Кёстлера, — вот доказательство, что за такие темы лучше всего браться европейцам. Книга Кёстлера достигает трагедийного звучания, тогда как из-под пера английского или американского автора вышел бы в лучшем случае полемический трактат. Кёстлер глубоко пережил все, о чем пишет, а оттого способен придать написанному эстетическую значимость. А вместе с тем, в его книге есть явственная политическая подоплека — в данном случае она не столь важна, но на последующих произведениях скажется отрицательным образом.

Естественно, все в этом романе сосредоточено вокруг самого важного вопроса: отчего Рубашов признался?

---

Он не повинен ни в чем, точнее говоря, он не виновен, за вычетом одного существенного момента: ему не нравится сталинский режим. Приписываемые ему акты предательства — чистый вымысел. Его даже не подвергали пыткам, по крайней мере, не особенно усердствовали в этом отношении. Изводят его одиночество, зубная боль, нехватка табака, яркий свет лампы, направленной прямо в лицо, бесконечные допросы, однако само по себе все это не могло бы сломить испытанного революционера. Нацисты обходились с ним более жестоко, но он остался крепок духом. Признания, которые делались в ходе московских процессов, можно объяснить тремя причинами:

1. Обвиняемые были действительно преступниками.
2. Обвиняемых подвергали пыткам и, возможно, шантажировали угрозами родственникам и друзьям.
3. Обвиняемых сломали отчаяние, духовная катастрофа или верность партии, ставшая второй натурой.

Первое объяснение решительно не годится для «Слепящей тьмы», поскольку тогда это была бы совсем другая книга, и, хотя здесь не место рассуждать о том, что собой представляли процессы, должен добавить на основании очень скудных свидетельств, что, по всей очевидности, расправы над большевиками были судебной инсценировкой. Если согласиться с тем, что обвиняемые не совершали никаких преступлений или, во всяком случае, тех, в которых признались, здравый смысл подсказывает второе из предложенных объяснений. Кёстлер, однако, склоняется к третьему, как и троцкист Борис Суварин, автор памфлета «Кошмар в СССР». Рубашов делает свои признания, поскольку не находит причин, отчего он не должен их сделать. Для него давно утратили всякий смысл такие понятия, как справедливость и объективная истина. Десятки лет он оставался человеком партии, ею и созданным, а теперь партия требует, чтобы он признал за собой вину в преступлениях, которых не было. И хотя его пришлось запугивать и ломать, под конец он даже гордится своим решением признаться. Рубашов чувствует собственное пре-

---

восходство над несчастным царским офицером, перестукивающимся с ним из соседней камеры. Офицер потрясен, узнав, что Рубашов намерен капитулировать. С его «буржуазной» точки зрения, каждый, даже если он большевик, должен твердо держаться своих принципов. Честь, по его понятиям, повелевает делать то, что находишь истинным. А Рубашов отстукивает в ответ: «Честь — это полезность делу без гордыни», — и не без удовлетворения отмечает для себя, что он перестукивается своим пенсне, а его сосед, этот реликт прошлого, для той же цели пользуется моноклем. Подобно Бухарину, Рубашов упирается в стену непроницаемой тьмы. Что за нею, какой кодекс морали, какое чувство верности, какие разграничения добра и зла, чтобы он осмелился бросить вызов партии и переносить новые муки? Он не просто одинок, он пуст внутри себя. Он совершил преступление тяжелее тех, в которых его теперь обвиняют. Он, например, во время тайной поездки с партийным поручением в нацистскую Германию выдал гестапо собственных своевольных единомышленников, чтобы от них избавиться. Любопытно, что если у него и есть источник, дающий духовные силы, то им служат лишь воспоминания о детстве в отцовской усадьбе. Последнее, что он вспомнит, когда в него выстрелят сзади, — листья росших там тополей. Рубашов из поколения старых партийцев, почти истребленного в ходе чисток. Он воспитан на искусстве, на литературе, он знает мир за пределами России. Он составляет резкий контраст с Глеткиным, молодым следователем ГПУ, ведущим допросы, — это типичный «образцовый член партии», который абсолютно не ведает ни угрызений совести, ни сомнений, своего рода граммофон, наделенный способностью соображать. В отличие от Глеткина, для Рубашова не все начинается с революции. Разум Рубашова, прежде чем партия подчинила его себе, не был совершенно чистым листом. Превосходство арестованного над следователем, в конечном счете, объясняется уже самим буржуазным происхождением Рубашова.

---

Думаю, невозможно прочесть «Слепящую тьму» просто как историю, рассказывающую о перипетиях судьбы вымышленного героя. Ясно, что перед нами книга о политике, основывающаяся на фактах истории и предлагающая объяснение событий, которые вызывают разноречивый отклик. В Рубашове можно опознать Троцкого, Бухарина, Таковского или еще кого-то из относительно цивилизованных личностей, какие встречались среди старых большевиков. Касаясь московских процессов, невозможно уйти от вопроса: «Почему обвиняемые признавались?» — и любой ответ будет обладать политическим смыслом. Кёстлеровский ответ, в сущности, таков: «Потому что этих людей испортила революция, которой они служили», — а тем самым нас подводят к выводу, что революция по самой своей природе заключает в себе нечто негативное.

Если исходить из мысли, что обвиняемых на московских процессах заставили признаться, прибегнув к каким-то формам террора, это будет означать лишь одно: не могут быть оправданы действия тех вождей революции, которые не пренебрегают подобными методами. Однако книга Кёстлера заставляет предположить, что Рубашов, обладающий властью, был бы ничуть не лучше Глеткина, верней, лучше, но лишь в меру того, что его взгляды по-прежнему остаются теми, которые хотя бы отчасти сформировались еще до революции. Стало быть, революция, на взгляд Кёстлера, ведет к моральному падению. Достаточно отдаться революции, и, в конце концов, с неизбежностью станешь либо Рубашовым, либо Глеткиным. Дело не просто в том, что «власть растлевают», — растлевают и способы борьбы за власть. А поэтому любые усилия преобразовать общество насильственным путем кончаются подвалами ГПУ, а Ленин порождает Сталина, и сам стал бы напоминать Сталина, проживи он дольше.

Разумеется, Кёстлер не говорит этого прямо, а возможно, даже не вполне осознает смысл того, что им объективно сказано. Он описывает тьму, но такую, которая наступила, когда должен был сиять полдень. Иногда ему ка-

---

жется, что все могло сложиться иначе. Для людей левой ориентации неизбежны представления, будто вся беда из-за чьего-то предательства, и что чья-то личная вина объясняет неудачу всего предприятия. Поэтому в «Приезде и отъезде» Кёстлер гораздо более последовательно займет позицию отрицания революции, но между этой книгой и «Слепящей тьмой» была еще одна: «Мир голодных и рабов» — чисто автобиографический рассказ, лишь косвенно затрагивающий проблемы, поставленные в знаменитом романе. В согласии со всем стилем своей жизни Кёстлер, застрявший к началу войны во Франции, был — как иностранец, как видный антифашист — немедленно арестован и интернирован правительством Даладье. Первые девять месяцев войны он провел преимущественно в лагере, а после падения Франции бежал и сложными путями добрался до Англии, где его в качестве нежелательного иностранца снова посадили. На этот раз, впрочем, он был быстро выпущен. «Мир голодных и рабов» — ценный репортаж, и вкупе с немногими другими честными свидетельствами, появившимися во время разгрома, он напоминает, до каких пределов способна опускаться буржуазная демократия. Сейчас, когда Франция освобождена и полным ходом идет облава на коллаборационистов, мы склонны позабыть то, в чем многие наблюдатели событий 1940 года удостоверились на собственном опыте: примерно сорок процентов французского населения было настроено либо откровенно прогермански, либо вполне безразлично. Для невоюющих правдивые книги о войне всегда неприемлемы, и книга Кёстлера встретила не самый доброжелательный отклик. В ней никто не принадлежал к числу героев — ни буржуазные политики, которые полагали, будто борьба против фашизма оправдывает безотлагательный арест всех сторонников левых взглядов, если только их удастся выявить, ни французские коммунисты, занявшие, в сущности, пронацистские позиции и всеми силами старавшиеся подорвать военную мощь своей страны, ни рядовые граждане, склонные внимать проходим-

---

цам вроде Дорио, как серьезным политическим лидерам. Кёстлер передает свои поразительные беседы с другими заключенными концлагеря, добавляя, что до той поры, подобно большинству социалистов и коммунистов, вышедших из среднего сословия, вплотную не сталкивался с настоящим пролетариатом, а имел дело лишь с его образованным меньшинством. Его вывод пессимистичен: «Без просвещения масс невозможен никакой социальный прогресс, но без социального прогресса нечего говорить о просвещении масс». Кёстлер, написавший «Мир голодных и рабов», уже не идеализирует простой народ. Он отошел от сталинизма, не став и троцкистом. Вот то звено, которое связывает эту книгу с «Приездом и отъездом», где революционное мироощущение, как оно понимается нормальными людьми, отвергнуто, видимо, навсегда.

«Приезд и отъезд» — книга неудачная. Лишь по видимости это роман, а на самом деле сразу выясняется, что мы читаем трактат, имеющий целью доказать следующее: революционные верования есть всего лишь рационализированная форма невротических комплексов. Чрезмерно, подчеркнута симметричная по композиции книга начинается и завершается одинаково — побегом в другую страну. Молодой венгр, бывший коммунист, покидает родину, в конце концов, оказавшись в Португалии, где надеется поступить на службу к англичанам — тогда единственным, кто сражался с немцами. Его восторженность несколько умеряет то обстоятельство, что в британском консульстве к нему не испытывают ни малейшего интереса, несколько месяцев его вообще не замечая, а тем временем деньги у него кончаются, и эмигранты из сообразительных оформляют бумаги в Америку. Соблазн сменяется соблазном: искушение Силой в образе нацистского пропагандиста, искушение плотью в облике юной французенки, искушение — уже после того, как герой пережил нервное расстройство, — Дьяволом, явившимся под личиной врача-психоаналитика. Этот врач выуживает из героя признание, что его революционный пыл поддерживается вовсе

---

не верой в историческую необходимость, а мучительным комплексом вины за то, что ребенком он пытался ослепить новорожденного брата. К тому времени, как явилась возможность поехать на стороне союзников, у героя исчезли всякие причины этого добиваться, и он готов уже ехать в Америку, но тут им вновь овладевают иррациональные побуждения. Выходит так, что отказаться от борьбы ему не по силам. И в последнем эпизоде мы видим его парящим под парашютом над собственной землей — он будет тайным британским агентом в Венгрии.

Для декларации политического свойства (а книга, собственно, ею является) этого недостаточно. Разумеется, во многих случаях, если не всех, стимулом революционной деятельности служит человеку чувство собственной неустроенности. Борющиеся против общественного устройства — в целом, люди, у которых есть причины быть им неудовлетворенными, а для нормального человека в здравом уме насилие, противозаконные акции ничуть не привлекательнее, чем война. Молодой нацист из «Приезда и отъезда» пронизательно замечает, что надо только взглянуть, до чего уродливы женщины, посвятившие себя левому движению, и станет ясно, в чем его слабость. Но такие наблюдения, в конце концов, не дискредитируют дело социализма. Поступки, независимо от мотивов, которыми они вызваны, увенчиваются определенными результатами. Очень может быть, что Марксом двигали зависть и озлобленность, однако это еще не доказывает ложности его теорий. Заставив героя «Приезда и отъезда» принять свое окончательное решение единственно из инстинктивного желания не уклоняться от опасностей и не отказываться от действия, Кёстлер заставил его и поглотить, причем неожиданно. Имея за плечами такой, как у него, опыт, человек не может не понимать, что есть вещи, сделать которые необходимо, «хороши» или «плохи» резоны, требующие, чтобы мы их делали. История должна двигаться в определенном направлении, пусть даже ее приходится при этом подталкивать стараниями психопата

---

тов. В «Приезде и отъезде» один за другим рушатся идо­лы, которым поклонялся Петер. Русская революция пере­родилась. Англия, символом которой выступает консул со скрюченными ревматизмом пальцами, ничуть не привле­кательнее, а пролетариат с его классовым сознанием и ин­тернационализмом — сущий миф. Но из всего этого — ведь Кёстлер и его герой, в конце концов, все же решают, что воевать «надо», — следует вывод о необходимости низвергнуть Гитлера, убрав этот мусор, а убирая мусор, не рассуждают, достойны ли и правильны мотивы.

Чтобы вынести разумное политическое решение, нужно обладать картиной будущего. У Кёстлера ее сей­час, видимо, нет, верней, есть целых две, но они исключают одна другую. В качестве высшей цели он выдвигает Земной рай, Город Солнца, который строили гладиаторы, — он дразнил воображение социалистов, анархистов и ве­роотступников сотни лет. Но разум подсказывает Кёстле­ру, что Земной рай отдалается на совсем уж неопределен­ное расстояние, а непосредственно впереди нас ждут кро­вавые войны, тирания и лишения. Недавно он сказал о себе, что является «временным пессимистом». На гори­зонте сплошные ужасы, однако, каким-то образом все кончится хорошо. Это умонастроение становится среди думающих людей все более распространенным. Оно — следствие того, что, отойдя от ортодоксальной религиоз­ности, оказывается, невероятно тяжело принять реаль­ную земную жизнь со всеми ее неизбежными бедами, а с другой стороны, порождено оно и сложностью обустрой­ства жизни, чтобы она стала сносной, — теперь все пони­мают, насколько добиться этого труднее, чем недавно ду­малось. Примерно с 1930 года мир не предоставляет ника­ких аргументов для оптимизма. Вокруг одна только ложь, ненависть, жестокость, невежество, сплетающиеся в тугой узел, а за нашими сегодняшними бедами уже вырисовы­ваются куда большие несчастья, о чем европейское созна­ние только начало догадываться. Очень вероятно, что са­мые существенные проблемы, стоящие перед человеком,

---

никогда не будут решены. Но ведь с этим невозможно смириться! Укажите мне человека, который, окинув взглядом сегодняшний мир, скажет: «Таким он навеки и останется, и даже через миллион лет ничто, по существу, не переменится к лучшему».

Без труда находят выход лишь верующие, поскольку считают земное бытие не более как шагом к вечному. Однако не так уж много теперь людей, которые верят в жизнь после смерти, и число их все убывает. Христиан­ские церкви, возможно, не выстояли бы одной силой сво­их идей, если разрушить экономический их базис. По-на­стоящему проблема заключается в том, каким образом восстановить религиозное мироощущение, осознав смерть конечным фактом. Чувство счастья способны ощутить лишь те, кто не считает, что счастье является це­лью жизни. Однако слишком неправдоподобно, чтобы с этим согласился Кёстлер. В его книгах есть естественный гедонистический оттенок, а результатом становится не­способность обрести политическую позицию после того, как он порвал со сталинизмом.

Русская революция, событие, оказавшееся главным в жизни Кёстлера, вдохновлялась великими надеждами. Мы теперь об этом забываем, однако четверть века назад с уверенностью ожидали, что русская революция увенча­ется осуществлением Утопии. Этого, незачем доказывать, не произошло. Кёстлер слишком хорошо знает, что ожи­дания не сбылись, но и слишком ясно помнит о целях, ко­торые провозглашались. Более того, обладая зрением ев­ропейца, он способен совершенно точно сказать, что такое чистки и массовые депортации; он в отличие от Шоу или от Ласки знает, с какого конца надо смотреть в телескоп, когда наблюдаешь подобные вещи. И вот он делает вывод: к таким итогам ведут все революции. А значит, ничего не остается, как только использовать «временный песси­мизм», то есть держаться подальше от политики, создать некий оазис, где ты сам и твои друзья сохраняют головы яс­ными, да надеяться, что лет через сто положение каким-то

---

образом переменится к лучшему. В основе всего этого лежит гедонизм Кёстлера, побуждающий его признать желательным Земной рай. Но предположим, что желательный ли, нежелательный, он просто невозможен. Предположим, что до какой-то степени страдание неотделимо от человеческой жизни, и что выбор, стоящий перед человеком, — это всегда выбор из нескольких зол, и даже, что цель социализма не в том, чтобы сделать мир совершенством, но чтобы сделать его лучше. Все революции обречены на неудачу, однако, это не одна и та же неудача. Нежелание признать это и привело Кёстлера к сегодняшнему тупику, сделав «Приезд и отъезд» книгой мелкой по сравнению с теми, которые он писал прежде.

*сентябрь 1944 г.*

---

## **Антисемитизм в Британии**

В Британии живут примерно 400 тысяч евреев и несколько тысяч или, самое большее, десятков тысяч еврейских беженцев прибыло в страну с 1934 года. Еврейское население почти целиком сосредоточено в пяти-шести больших городах и занято в основном производством и продажей пищевых продуктов, одежды и мебели. Евреям принадлежит или частично принадлежит несколько больших монополий, таких как «Империал кемикл индастриз», одна или две крупных газеты и, по крайней мере, одна большая сеть универсальных магазинов, но было бы большой неправдой сказать, что евреи доминируют в британской деловой жизни. Наоборот, они, кажется, не поспевают за современными процессами слияния и задержались в тех областях, где дела по необходимости ведутся в малом масштабе и старомодными методами.

С этих фактов, известных всякому информированному человеку, я начал для того, чтобы подчеркнуть: в Англии нет никакой реальной еврейской «проблемы». Евреи не настолько многочисленны и могущественны, и сколько-нибудь заметным влиянием пользуются лишь в так называемых «интеллектуальных кругах». Однако, по общему признанию, антисемитизм усиливается, он обострился из-за войны, и заражены им даже гуманные и

---

просвещенные люди. Он не принимает буйных форм (англичане в подавляющем большинстве спокойны и законопослушны), но идеология эта злокачественная и при благоприятных обстоятельствах может дать политические результаты. Вот примеры антисемитских замечаний, которые мне довелось услышать за последний год или два:

Канторский служащий средних лет: «На работу я езжу обычно на автобусе. Это дольше, но теперь мне не хочется ездить с Голдерс Грин. На этой линии слишком много избранного народа».

Торговка в табачной лавке: «Нет, у меня нет спичек. Спросите там, у дамы, чуть подальше. У нее всегда есть спички. Она, видите ли, из избранного народа».

Молодой интеллигент, коммунист или почти коммунист: «Нет, я не люблю евреев. Никогда не делал из этого секрета. Не выношу их. Притом, что я, конечно, не антисемит».

Женщина из среднего класса: «Ну, антисемиткой меня никто не назовет, но я действительно думаю, что эти евреи ведут себя совершенно отвратительно. Всегда лезут без очереди и так далее. Они отвратительные эгоисты. По-моему, они сами виноваты в том, что с ними делают».

Молочник: «Еврей работы не делает, такой, как англичане. Он чересчур умный. Мы работаем вот чем (показывает бицепсы). Они работают вот чем (стучит себя по лбу)».

Аудитор, разумный, по образу мыслей скорее левый: «Эти жида — прогерманская публика. Завтра же перебегут к нацистам, если те сюда войдут. Я по службе много их вижу. В глубине души восхищаются Гитлером. Всегда подлизываются к тому, кто их пнет».

Разумная женщина, которой предложили книгу об антисемитизме и немецких зверствах: «Не показывайте это мне, пожалуйста, не показывайте. Я только еще больше возненавижу евреев».

---

Подобными замечаниями я мог бы заполнить не одну страницу, но этих пока достаточно. Из них вытекают два вывода: один — очень важный, и я вернусь к нему чуть позже, — что люди с определенным уровнем умственного развития стыдятся быть антисемитами и стараются провести различие между «антисемитизмом» и «нелюбовью к евреям». Второй — что антисемитизм иррационален. Евреев обвиняют в конкретных прегрешениях (например, в том, что они плохо себя ведут в продовольственных очередях), которые обвиняющему представляются очень неприятными; но очевидно, что эти обвинения — просто-напросто попытка оправдать какой-то глубинный предрасудок. Опровергать их с помощью фактов и статистики бесполезно, а иногда и хуже, чем бесполезно. Как показывает последнее из приведенных замечаний, люди способны оставаться антисемитами или, по крайней мере, не любить евреев, понимая при этом, что чувства их обосновать невозможно. Если вы кого-то не любите, вы его не любите, — и всё тут: сколько ни тверди о его добродетелях, вашего отношения это не улучшит.

Получилось так, что война способствовала росту антисемитизма и в глазах многих рядовых людей отчасти его как-то оправдала. Начать с того, что евреи — единственный народ, о котором можно с полной уверенностью сказать, что он выиграет от победы союзников. Следовательно, теория, что «это — еврейская война», выглядит отчасти правдоподобно, тем более что роли евреев в военных усилиях редко отдается должное. Британская империя — громадная, разнородная структура, скрепленная, в первую очередь, взаимным согласием, и зачастую бывает необходимо преувеличить достоинства менее надежных элементов за счет более лояльных. Освещая подвиги солдат-евреев или даже признавая существование значительной еврейской армии на Ближнем Востоке, мы рискуем вызвать враждебность в Южной Африке, арабских странах и в других местах. Проще молчать об этом, и пусть обыватель думает, что евреи особенно ловко отде-

---

льваются от военной службы. Затем, евреи заняты именно в тех областях, которые во время войны становятся непопулярны у гражданского населения. Евреи торгуют по большей части продовольствием, одеждой, мебелью и табаком — именно теми товарами, которых хронически не хватает, что ведет к завышению цен, черному рынку и блату. Опять-таки, распространенное обвинение, будто евреи показали себя трусами под бомбежкой, выглядело обоснованным во время больших налетов в 1940 году. Тогда особенно сильно пострадал еврейский квартал Уайтчепела, и масса оставшихся без жилья евреев распространилась по всему Лондону. Если судить только по явлениям военного времени, то нетрудно будет вообразить, будто антисемитизм — это квазирациональная идея, основанная на ошибочных посылках. И, естественно, антисемит считает себя существом разумным. Всякий раз, когда я касался этой темы в газетной статье, в ответ приходила обширная почта, и всякий раз были письма от уравновешенных, среднего достатка людей — врачей, например, — не имеющих экономических оснований для жалоб. Эти люди всегда говорят (как и Гитлер в «Mein Kampf»), что первоначально не были предубеждены против евреев, а к теперешним взглядам пришли просто путем наблюдений. Но одна из характерных черт антисемита — способность верить в истории, которые наверняка не могли быть правдой. Хороший пример такой истории — несчастье, случившееся в Лондоне в 1942 году, когда толпа, напуганная близким разрывом бомбы, кинулась в метро, причем больше ста человек было раздавлено насмерть. В тот же день по Лондону пошли слухи, что «виноваты евреи». Понятно, что если люди верят в такое, спорить с ними бесполезно. Единственное, что имеет смысл, — выяснить, почему они верят нелепостям одного определенного рода, в других отношениях оставаясь здравомыслящими людьми.

А теперь позвольте мне вернуться к упомянутому выше выводу о распространенности антисемитизма и о

---

нежелании людей сознаться в нем. Среди образованной публики антисемитизм считается непростительным грехом, причем совершенно другого рода, чем прочие расовые предрассудки. Люди будут всеми силами доказывать, что они *не* антисемиты. Так, в 1943 году в синагоге Сент-Джонс-Вуда состоялось молебствие о польских евреях. Местные власти объявили, что жаждут принять в нем участие, и на службе присутствовали мэр района в своей мантии с цепью, представители всех церквей, подразделения ВВС, войск местной обороны, сестры милосердия, бойскауты и бог знает кто еще. Внешне это была трогательная демонстрация солидарности со страдающими евреями. А по существу — *сознательное* усилие людей вести себя прилично, хотя истинные чувства у многих были совсем иными. Этот район Лондона — отчасти еврейский, антисемитизм здесь распространен, и я отлично понимал, что кое-кому из сидящих рядом в синагоге он не чужд. Между прочим, командир моего взвода местной обороны, особенно настаивавший, что мы должны «хорошо себя показать» на молебствии, в прошлом был чернорубашечником Мосли. Пока такая раздвоенность чувств существует, с массовым насилием над евреями Англия не примирится, и, что еще важнее, антисемитское законодательство у нас невозможно. Сегодня антисемитизм не может стать *респектабельным*. Но это не такое большое достижение, как может показаться.

Преследования в Германии, кроме всего прочего, помешали серьезному исследованию антисемитизма. Группа по изучению общественного мнения «Масс обзервейшн» год или два назад произвела короткое и неудовлетворительное обследование; дальнейших попыток не было, а если и были, то результаты их держатся под секретом. В то же время сознательные люди всячески избегали любой темы, могущей задеть чувства евреев. После 1934 года «еврейский анекдот» исчез, как по волшебству, с открыток, из периодики, из мюзик-холла, а появление несимпатичного еврейского персонажа в романе или рассказе, стало счи-

---

таться антисемитизмом. В палестинском вопросе стало требованием этикета среди просвещенных людей безоговорочно принимать аргументацию евреев и не учитывать арабских требований — отношение, само по себе, может быть, и правильное, но определявшееся в первую очередь тем, что евреи были пострадавшей стороной, и критиковать их не следовало. Таким образом, из-за Гитлера сложилась ситуация, когда пресса фактически подвергалась цензуре в интересах евреев, а неофициальный антисемитизм усиливался даже среди чувствительных и разумных людей. Особенно заметно это стало в 1940 году, когда интернировали беженцев. Всякий мыслящий человек, конечно, понимал, что обязан протестовать против массового заключения в лагеря несчастных иностранцев, которые и в Англии-то оказались чаще всего потому, что были противниками Гитлера. Но в частном порядке приходилось слышать выражения совсем других чувств. Незначительное меньшинство беженцев вели себя крайне бестактно, и отношение к ним неизбежно было окрашено антисемитизмом, поскольку в основном это были евреи. Один выдающийся деятель лейбористской партии — я не назову его, но это один из наиболее почитаемых людей в Англии, — сказал мне с большим раздражением: «Мы не просили этих людей приезжать к нам. Сами приехали — сами отвечают за последствия». Разумеется, он подписывал все петиции и манифесты против интернирования иностранцев. Это ощущение, что антисемитизм есть нечто позорное и грешное, нечто чуждое цивилизованному человеку, не способствует научному подходу, и многие люди признаются в том, что им страшно вдаваться в этот предмет. Иначе говоря, они боятся обнаружить не только то, что антисемитизм распространяется, но и то, что в них самих он сидит.

Чтобы осмыслить это в перспективе, надо вернуться на несколько десятилетий назад, к тем дням, когда Гитлер был безработным маляром, и о нем никто не слышал. Тогда выяснится, что, хотя антисемитизм сейчас достаточно заметен, его, вероятно, *меньше* в Англии, чем тридцать лет

---

назад. Антисемитизм как продуманная расовая и религиозная доктрина в Англии никогда не пользовался популярностью. Не вызывали особого недовольства межнациональные браки и евреи, занимавшие видное положение в обществе. Тем не менее, тридцать лет назад считалось чуть не законом природы, что еврей — фигура смешная, у него сильный ум, но некоторые изъяны в «характере». Теоретически он никак не был ограничен в правах, но на деле не имел доступа к определенным профессиям. Его не взяли бы, например, офицером во флот или в отборный полк. В закрытой школе еврейскому мальчику всегда доставалось. Конечно, о его еврействе могли забыть, если он был особенно обаятелен или спортивен, но, в общем, это был врожденный дефект наподобие заикания или родимого пятна. Богатые евреи предпочитали брать себе аристократические английские или шотландские фамилии, и обывателю казалось это вполне естественным, так же, как естественно для преступника менять свою. Лет двадцать назад в Рангуне, когда я сидел с приятелем в такси, к нам подбежал оборванный светлокотый мальчик и стал рассказывать запутанную историю о том, как он приехал из Коломбо на пароходе, и ему нужны деньги, чтобы вернуться назад. По внешнему виду и манерам его было трудно «определить», и я сказал ему: «Ты очень хорошо говоришь по-английски. Ты какой национальности?» Он с готовностью, старательно подражая чисто английскому произношению, ответил: «Я еврей, сэр!». И, помню, я повернулся к моему спутнику и сказал полушутливо: «Открыто это признает».

Все евреи, которых я знал прежде, стыдились того, что они евреи, или, во всяком случае, старались не говорить о своем происхождении, а, будучи вынуждены к этому, предпочитали пользоваться словом «Hebrew, а не «Jew».

Отношение рабочего класса к ним было не лучше. Еврей, выросший в Уайтчепеле знал, что подвергнется нападению или оскорблению, если забредет в христианские трущобы по соседству, а «еврейские анекдоты» на эстраде

---

и в комиксах почти всегда были обидными\*. Происходила и литературная травля евреев, под пером Беллока, Честертона и их последователей достигшая почти континентального уровня грубости. В более умеренных формах этим грешили и не католические писатели. Антисемитские мотивы слышатся в английской литературе со времен Чосера и, не вставая из-за стола, чтобы заглянуть в книги, я могу припомнить у Шекспира, Смоллетта, Теккерея, Бернарда Шоу, Г. Дж. Уэлса, Т. С. Элиота, Олдоса Хаксли и многих других такие пассажи, что, будь они написаны сейчас, их заклеямили бы как антисемитские. Сходу могу припомнить всего лишь двух английских писателей, которые определенно старались держать сторону евреев, — Диккенса и Чарльза Рида. И даже если рядовой интеллигент не соглашался с мнением Беллока и Честертона, он их не осуждал. Бесконечные тирады Честертона против евреев, которые он вставлял в свои эссе и рассказы к месту и не к месту, ни разу не причинили ему неприятностей — напротив, Честертон был одной из самых уважаемых фигур на английской литературной сцене. Всякий, кто стал бы писать в таком духе сейчас, вызвал бы бурю негодования или, что более вероятно, не смог бы печататься.

Если, как я полагаю, предубеждение против евреев в Англии всегда было распространено, то вряд ли оно уменьшилось из-за Гитлера. Из-за него возникло лишь четкое разделение между политически сознательными

---

\* Интересно сравнить «еврейский анекдот» с другим стандартным номером в мюзик-холле, с «шотландским анекдотом», внешне его напоминающим. Иногда история (например, еврей и шотландец пришли в пивную и оба умерли от жажды) рассказывается таким образом, что обе национальности выглядят одинаково, но часто еврею приписывают только хитрость и скупость, тогда как шотландец наделяется еще и физической крепостью. Например, анекдот о том, как еврей и шотландец пришли на собрание, предполагавшееся бесплатным. Неожиданно начинается сбор средств, и, чтобы избежать расходов, еврей падает в обморок, а шотландец его выносит. То есть демонстрирует атлетические способности. Если бы было наоборот, история выглядела бы как неправильно.

---

людьми, понимающими, что сейчас не время забрасывать евреев камнями, и несознательными людьми, чей природный антисемитизм обострился в связи с нервным напряжением войны. Следовательно, можно предположить, что многие люди, которые скорее умрут, чем признаются в антисемитских чувствах, втайне их разделяют. Я говорил где-то, что антисемитизм, по моему мнению, — невроз, но доводы в пользу него, конечно, находятся, в них искренне верят, и отчасти они верны. У простого человека довод тот, что еврей — эксплуататор. Этому есть частичное подтверждение: еврей в Англии — обычно мелкий предприниматель, то есть человек, чье хищничество более очевидно и понятно, чем, скажем, хищничество банка или страховой компании. На более высоком умственном уровне антисемитизм объясняют тем, что еврей распространяет недовольство и ослабляет национальный дух. Внешне и для этого есть какие-то основания. За последние двадцать пять лет деятельность тех, кого зовут «интеллектуалами», принесла много вреда. Думаю, не будет преувеличением сказать, что если бы «интеллектуалы» проделали свою работу чуть более основательно, Британия в 1940 году капитулировала бы. Но среди недовольной интеллигенции, разумеется, много евреев. Поэтому утверждения, будто евреи — враги нашей культуры и подрывают моральный дух, не лишены правдоподобия. При ближайшем рассмотрении, это — вздор, но всегда найдется несколько выдающихся людей, на которых можно сослаться в доказательство. В последние несколько лет возникла сильная реакция против весьма поверхностного левачества, модного в предыдущие десятилетия и представленного такими организациями, как Клуб левой книги. Эта реакция (смотри, например, такие книги как «Добрая горилла» Арнольда Ланна или «Не жалейте флагов» Ивлиана Во) окрашена антисемитизмом, и он, вероятно, проявился бы сильнее, не будь эта тема столь щекотливой.

Вот уже несколько десятилетий в Британии не было националистической интеллигенции, из-за которой

---

стоило бы поднимать тревогу. Но британский национализм, то есть национализм интеллектуального пошиба, может возродиться и, вероятно, возродится, если Британия выйдет из войны очень ослабленной. Молодые интеллектуалы 1950-х годов могут оказаться такими же наивными патриотами, как в 1914-м. В этом случае антисемитизм того рода, который процветал среди антидрейфусаров во Франции, и который пытались импортировать сюда Честертон и Беллок, может найти опору. У меня нет законченной теории относительно происхождения антисемитизма. Оба имеющихся объяснения — что он обусловлен экономическими причинами или же, что это наследие Средних веков, — кажутся мне неудовлетворительными, хотя признаю, что если их объединить, то они объясняют многие факты. С уверенностью могу сказать одно: антисемитизм — часть более общей проблемы национализма, которую всерьез еще не изучали, а еврей — очевидно, козел отпущения, хотя *какие грехи* на него переложены, мы пока не знаем. В этой статье я основываюсь преимущественно на собственном ограниченном опыте и, возможно, любой мой вывод будет оспорен другими наблюдателями. Данных об этом предмете почти нет. Поэтому, ни на чем не настаивая, я изложу свои мнения. Сводятся они к следующему:

Антисемитизма в Англии больше, чем мы хотели бы признать, и война обострила его; но если мерить десятилетиями, а не годами, то нельзя утверждать, что он усилился.

Сегодня он не ведет к открытым преследованиям, но делает людей равнодушными к страданиям евреев в других странах.

В основе своей он иррационален и к аргументам глух.

Преследования в Германии заставили людей скрывать антисемитские чувства, и таким образом затемнили всю картину.

Этот предмет требует серьезного исследования.

---

Разъяснения заслуживает только последний пункт. Чтобы изучить предмет научно, требуется отстраненное отношение, а оно дается трудно, когда затронуты ваши интересы или эмоции. Многие люди, вполне способные рассуждать объективно о морских ежах или, скажем, о квадратном корне из двух, превращаются в шизофреников, когда их вынудят задуматься об источниках своего дохода. Почти все, написанное об антисемитизме, обеспечивается предположением автора, что сам он ему не подвержен. «Поскольку я знаю, что антисемитизм иррационален, — полагает он, — во мне его быть не может». Таким образом, он не способен начать свое исследование с того единственного места, где мог бы получить какие-то надежные данные — то есть с собственного сознания.

Без особого риска, мне кажется, можно предположить, что болезнь, расплывчато именуемая национализмом, теперь почти повсеместна. Антисемитизм — лишь одно из проявлений национализма, и не все страдают этой болезнью именно в такой форме. Еврей, например, не будет антисемитом; но многие еврей-сионисты кажутся мне просто антисемитами навыворот, так же, как многие индийцы и негры демонстрируют обычные расовые предрассудки в перевернутом виде. Суть в том, что в современной цивилизации чего-то, какого-то психологического витамина не хватает, и в результате все мы более или менее заражены безумной идеей, что целые расы или нации непонятным образом воплощают добро или зло. Пусть попробует любой современный интеллектуал внимательно и честно заглянуть себе в душу и не найти там националистических симпатий или ненависти того или иного рода. Именно то, что он может испытывать подобные эмоциональные толчки, но при этом бесстрастно оценивать их, осознавая их природу, и придает ему статус интеллектуала. Нетрудно понять поэтому, что исходным пунктом в любом исследовании антисемитизма должно быть не: «почему к этому явно иррациональному убеждению склоняются другие люди?», но: «почему антисеми-

---

тизм привлекает *меня*? Что в нем есть такого, из-за чего я чувствую в нем какую-то правду?». Если задать себе этот вопрос, то обнаружишь, по крайней мере, свои основания, а может быть, и то, что под ними лежит. Антисемитизм надо исследовать — я не скажу, что антисемитам, но, во всяком случае, людям, которые сознают, что не свободны от такого рода чувств. Когда Гитлер исчезнет, станет возможно настоящее исследование этого предмета, и начать, наверное, лучше не с развенчания антисемитизма, а с систематизации всех доводов в его пользу, какие можно найти у себя в голове и у всех прочих. Таким образом, можно будет добраться до его психологических корней. Но что от антисемитизма можно радикально излечиться, не излечившись от более общей болезни — национализма, я не верю.

*апрель 1945 г.*

---

## Заметки о национализме

Байрон где-то употребляет французское слово *longueur*<sup>1</sup> и замечает мимоходом, что хотя в Англии у нас слова для этого нет, но обозначаемое им имеется в избытке. Подобным же образом, есть умонастроение, настолько сейчас распространенное, что влияет на наши мысли чуть ли не о каждом предмете, но все еще безымянное. В качестве ближайшего эквивалента я выбрал слово «национализм», но, как вскоре станет ясно, я употребляю его не совсем в обычном смысле — хотя бы потому, что чувства, о которых пойдет речь, не обязательно направлены на нацию, то есть на какой-то один народ и географическую область. Оно может быть связано с какой-то церковью или классом, а может и действовать всего лишь негативно, *против* чего-то, без всякой потребности в позитивном объекте.

Под «национализмом» я подразумеваю, прежде всего, привычку думать, что людей можно классифицировать как насекомых и что к целым группам людей, численностью в миллионы и десятки миллионов, можно с уверенностью прикрепить ярлык «хорошие» или «плохие»\*.

<sup>1</sup> Здесь приблизительно: «неясное томление».

\* О нациях и даже о еще более неопределенных совокупностях, таких, как католическая церковь или пролетариат принято думать как об индивидуумах. В любой газете встречаешь явно абсурдные высказывания типа: «Германия по природе своей вероломна». А безответственные обоб-

---

А во-вторых — и это еще важнее, — я понимаю под ним привычку отождествлять себя с нацией или другой группой, ставя ее выше добра и зла и не признавая другого долга, кроме защиты ее интересов. Национализм не надо путать с патриотизмом. Оба слова употребляются настолько свободно, что любое определение будет спорным, однако между ними надо проводить различие, поскольку заключены в них две разные и даже противоположные идеи. Под патриотизмом я понимаю преданность определенному месту и определенному образу жизни, который ты считаешь наилучшим, но не желаешь навязывать другим. Патриотизм по своей природе оборонителен — и в военном, и в культурном смысле. Национализм же неотделим от стремления к власти. Неизменная цель всякого националиста — больше власти и больше престижа, не для себя, а для нации или иной группы, в которой он расформировал свою индивидуальность.

Пока речь идет о легко опознаваемых и стяжавших дурную славу националистических движениях в Германии, Японии и других странах, все это достаточно очевидно. Столкнувшись с таким явлением, как нацизм, который мы можем наблюдать извне, почти все отзовутся о нем одинаково. Но тут я должен повторить то, что сказал выше: я использую слово «национализм» лишь за неимением лучшего. В широком смысле, как я его понимаю, национализм включает в себя такие движения и тенденции, как коммунизм, политический католицизм, сионизм, антисемитизм, троцкизм и пацифизм. Он не обязательно означает верность правительству или стране, тем более своей стране, и даже не совсем обязательно, чтобы реально существовала группа, к которой он тяготеет. Вот несколь-

---

щения касательно национального характера («Испанец — прирожденный аристократ» или «Все англичане — лицемеры») слышишь чуть ли не от каждого. Время от времени жизнь наглядно показывает, что эти обобщения безосновательны, но привычка к ним сохраняется, и грешат этим даже люди, явно интернационалистических взглядов, например, Толстой и Бернард Шоу.

---

ко очевидных примеров. Еврейство, ислам, христианский мир, пролетариат и белая раса — все объекты страстных националистических чувств; но в существовании их вполне можно усомниться, и ни для одного из них нет такого определения, которое устроило бы всех.

Стоит еще раз подчеркнуть, что националистическое чувство может быть чисто негативным. Есть, например, троцкисты, которые стали просто врагами СССР, но определенного объекта лояльности не имеют. Если понять вытекающие из этого следствия, природа того, что я подразумеваю под национализмом, станет гораздо яснее. Националист — это тот, кто мыслит исключительно или главным образом понятиями соперничества и престижа. Он может быть позитивным или негативным националистом — то есть может направить свою психическую энергию либо на возвышение, либо на очернение чего-то, — но в любом случае его мысли вращаются вокруг побед, поражений, триумфов и унижений. Историю, в особенности современную историю, он видит как беспрестанное возвышение или упадок каких-то могущественных сообществ, и всякое событие представляется ему доказательством того, что его сторона на подъеме, а какой-то ненавистный противник катится под уклон. Но важно не путать национализм с простым культом успеха. Националист не руководствуется принципом: примазаться к сильнейшей стороне. Наоборот, выбрав сторону, он убеждает себя, что она и есть сильнейшая, и способен держаться этого убеждения, даже когда все факты говорят об обратном. Национализм — жажда могущества, умеряемая самообманом. Каждый националист способен на самую вопиющую бесчестность, но, поскольку он сознательно служит чему-то большему себя, всегда непоколебимо уверен в своей правоте.

Теперь, когда я дал это пространное определение, мне кажется, можно утверждать, что умонастроение, о котором идет речь, весьма распространено среди английской интеллигенции и больше — среди нее, чем среди ос-

---

тального народа. Ибо для тех, кого волнует современная политика, некоторые темы настолько увязаны с соображениями престижа, что вполне рациональный подход к ним почти невозможен. Из сотен примеров, имеющих в нашем распоряжении, возьмем такой вопрос: кто из трех союзников — СССР, Британия или США — сделал больше для разгрома Германии? Теоретически на него можно было бы дать обоснованный и даже бесспорный ответ. На деле, однако, необходимых выкладок сделать нельзя, ибо всякий, кто захочет поломать над этим вопросом голову, неизбежно будет рассматривать его в плане престижа. Поэтому он *сначала* решит его в пользу России, Британии или Америки и только *потом* станет подыскивать доводы, подтверждающие его мнение. И есть огромное множество подобных вопросов, на которые честный ответ можно получить лишь от того, кому вообще безразлична тема, и чье мнение, по всей вероятности, ничего не будет стоить. Этим отчасти объясняется поразительная близорукость сегодняшних политических и военных предсказаний. Любопытно, что из всех «экспертов», независимо от школы, не нашлось ни одного, который предвидел бы такое вероятное событие, как русско-германский пакт 1939 года\*, а когда о пакте стало известно, стали даваться самые разнообразные объяснения и предсказания, чуть ли не сразу опровергавшиеся событиями, поскольку основывались они почти всякий раз не на исследовании вероятностей, а на желании представить СССР хорошим или плохим, сильным или слабым. Политические и военные комментаторы, подобно астрологам, могут пережить без ущерба для себя любую ошибку, потому что их верные поклонники ждут от них не оценки фактов, а подо-

---

\* Некоторые авторы консервативного направления, такие как Питер Дракер, предсказывали соглашение между Германией и Россией, но ожидали настоящего долговременного союза или слияния. Ни марксисты, ни другие левые писатели какой бы то ни было окраски даже не задумались о возможности такого пакта.

---

грева своих националистических чувств\*, и эстетические суждения, особенно литературные суждения, часто бывают искажены так же, как политические. Индийскому националисту трудно получать удовольствие от Киплинга, а консерватору — разглядеть достоинства в Маяковском: всегда есть искушение сказать, что книга, чье направление тебе не нравится, должна быть плохой в *литературном* отношении. Люди с националистическим мировоззрением часто совершают эту подтасовку, не сознавая своей нечестности.

В Англии, если брать в чисто количественном отношении, преобладающей формой национализма, вероятно, будет старорежимный британский джингоизм. Он, безусловно, еще распространен и гораздо шире распространен, чем полагало большинство наблюдателей лет десять назад. Однако в этой статье меня занимают, главным образом, реакции интеллигентов, среди которых джингоизм и даже патриотизм старого закала почти умерли, хотя сейчас, кажется, возрождаются у меньшинства. Среди интеллигенции (об этом, наверное, излишне говорить) преобладающей формой национализма является коммунизм — если использовать это слово в очень широком смысле, подразумевая под ним не только членов коммунистической партии, но и «попутчиков», и русофилов вообще. Коммунистом я буду называть здесь того, кто видит в СССР свое Отечество и считает своим долгом оправды-

---

\* Военных комментаторов в популярной прессе можно подразделить на пророссийских и антироссийских, поклонников старозаветной английской военщины и противников. Такие ошибки, как вера в непреодолимость линии Мажино или предсказание, что Россия завоюет Германию за три месяца, не поколебали их репутации, ибо эти люди всегда говорят то, что хочет услышать их аудитория. Два военных критика, наиболее ценимые интеллигенцией, — капитан Лиддел Гарт и генерал-майор Фуллер; первый учит, что оборона сильнее наступления, второй — что наступление сильнее обороны. Это противоречие не помешало им обоим считаться признанными теоретиками у одной и той же публики. Истинная причина моды на них в левых кругах — та, что оба не в ладах с военным министерством.

---

вать русскую политику и любой ценой отстаивать интересы России. Сегодня таких людей в Англии множество, их прямое и косвенное влияние очень сильно, но процветают и другие формы национализма, и, отмечая их общие черты, при всем несходстве и даже видимой противоположности разных течений мысли, мы лучше всего увидим проблему в целом.

Десять или двадцать лет назад формой национализма, наиболее соответствующей сегодняшнему коммунизму, был политический католицизм. Самым выдающимся его представителем — хотя это, скорее, крайний случай, чем типичный, — был Г. К. Честертон. Честертон, писатель незаурядного таланта, принес свое эстетическое чувство и свою интеллектуальную честность в жертву пропаганде католичества. В последние двадцать лет жизни всё им написанное, было по существу бесконечным повторением одной и той же мысли, под вымученной эlegantностью простой и унылой, как «Велика Диана Ефесская». Каждая книжка, каждый абзац, каждая фраза, каждое происшествие в каждом рассказе, каждый обрывок диалога должен был недвусмысленно продемонстрировать превосходство католика над протестантом или язычником. Но Честертону мало было превосходства только интеллектуального или духовного: его надо было перевести на язык национального престижа и военной мощи, результатом чего явилась невежественная идеализация латинских стран, особенно Франции. Во Франции Честертон жил недолго, и изображаемая им картина страны, где католические крестьяне беспрестанно поют «Марсельезу», сидя за красным вином, имеет такое же отношение к действительности, как «Чу Чин Чао»<sup>2</sup> — к повседневной жизни Багдада. И сопутствует этому не только колоссальная переоценка французской военной мощи (и до, и после первой мировой войны он утверждал, что Франция сильнее Германии), но и глупое, пошлое восхваление самого про-

<sup>2</sup> Мюзикл 1916 г. по мотивам «Али-бабы и сорока разбойников».

---

цесса войны. По сравнению с его военными стихотворениями, такими как «Лепанто» или «Баллада о святой Барбаре», «Атака легкой бригады» выглядит как пацифистский трактат: это, наверное, самые безвкусные образчики ходульности из всего, что написано на нашем языке. И вот что интересно: если бы эта романтическая чепуха, которую он обычно писал о Франции и французской армии, была написана кем-то о Британии и британской армии, он первый высмеял бы ее. Во внутренней политике он был сторонником «малой Англии», настоящим врагом джingoизма и империализма, и, в своем понимании, другом демократии. Но стоило ему выглянуть во внешний мир, он забывал свои принципы, даже не замечая этого. Так, его почти мистическая вера в достоинство демократии не мешала ему восхищаться Муссолини. Муссолини уничтожил представительную власть и свободу слова, за которую Честертон так упорно сражался дома, но Муссолини был итальянец, он сделал Италию сильной, и это решало дело. Ни одного плохого слова не сказал Честертон о покорении итальянцами и французами цветных народов, об их империализме. Чувство реальности, литературный вкус и даже в какой-то степени нравственное чувство тут же отказывали ему, как только в игру вступал его национализм. Очевидно, что есть существенное сходство между политическим католицизмом, ярким представителем которого был Честертон, и коммунизмом. А также между ними и, например, шотландским национализмом, сионизмом, антисемитизмом или троцкизмом. Сказать, что все формы национализма одинаковы, даже по духу, было бы чрезмерным упрощением, но есть черты, для всех них общие. Вот главные характеристики националистического мышления.

*Одержимость.* Насколько это вообще возможно, националист не думает, не говорит, не пишет ни о чем, кроме как о превосходстве своей группы. Для любого националиста трудно и даже невозможно скрыть свою ангажированность. Малейшее неуважение к его группе или

---

подразумеваемая похвала соперничающей организации вызывают у него беспокойство, освободиться от которого он может, только дав резкую отповедь. Если объект его чувств — страна, например, Ирландия или Индия, он будет настаивать на ее превосходстве не только в военной силе и политическом устройстве, но и в искусстве, литературе, спорте, строении языка, физической красоте ее обитателей и, может быть даже, в климате, ландшафтах и кухне. Он весьма чувствителен к таким вещам, как правильное вывешивание флагов, относительный размер заголовков и порядок наименования стран\*. В националистической мысли всякого рода наименования играют очень важную роль. Страны, завоевавшие независимость или пережившие националистическую революцию, обычно меняют свое название, и всякая страна или иное объединение, являющееся объектом сильных чувств, скорее всего, будут иметь несколько названий, нагруженных разными смыслами. У двух сторон в гражданской войне в Испании было девять или десять названий, выражающих разные степени любви и ненависти. Некоторые из этих названий («патриоты» у сторонников Франко или «лоялисты» у сторонников правительства) явно были сомнительными, и ни одно из них обе враждующие стороны не устраивало. Все националисты считают своим долгом распространять свой язык, в противовес языкам «соперников»; среди англоязычных эта борьба выливается в более тонкие формы — в соперничество диалектов. Американец-англофоб не употребит жаргонной фразы, если знает, что она британского происхождения, а за конфликтом «латинизаторов» и «германизаторов» часто кроются националистические мотивы. Шотландские националисты доказывают превосходство жителей низменной Шотландии, а социалистов, чей национализм принял форму клас-

---

\* Некоторые американцы выражали недовольство принятым сочетанием «англо-американский», предлагали заменить его на «американо-британский».

---

совой ненависти, бесит произношение дикторов Би-би-си и даже открытое «а». Примеры можно множить. Часто кажется, что мышление националистов окрашено верой в симпатическую магию — проявляется это в распространенном обычае сжигать чучело политических врагов или использовать их изображения как мишени в тирах.

*Неустойчивость.* Напряженность националистических чувств не препятствует их переносу. Как я уже говорил, они могут быть и часто бывают направлены на какую-нибудь зарубежную страну. Это вполне обычное дело, что великие национальные лидеры или основатели националистических движений не уроженцы страны, которую они прославили. Иногда они просто иностранцы, но чаще являются с периферии, где национальность сомнительна. Примеры — Сталин, Гитлер, Наполеон, Де Валера, Дизраэли, Пуанкаре, Бивербрук. Пангерманизм — отчасти создание англичанина, Хаустона Чемберлена<sup>3</sup>. В последние 50–100 лет перенесенный национализм был обычным явлением среди литераторов. Для Лавкадио Сёрна центром притяжения была Япония<sup>4</sup>, для Карлейля и многих его современников — Германия, а в наше время это обычно Россия. Но любопытно, что возможен и обратный перенос. Страна или иная группа, которую боготворили годами, внезапно может стать отвратительной, и ее место чуть ли не мгновенно может занять другой объект любви. В первом варианте «Очерка истории» и других работах того времени Г. Дж. Уэллс восхваляет Соединенные Штаты почти так же неумеренно, как коммунисты в наши дни — Россию; но через несколько лет это безграничное восхищение сменилось враждебностью. Фанатичный коммунист, за несколько недель или даже дней превратившийся в столь же фанатичного троцкиста, — обычное явление. В континентальной Европе фашистское движение сильно

---

<sup>3</sup> *Хаустон Чемберлен* (1855–1927) — англичанин, немецкий писатель. Один из первых нацистских расовых теоретиков.

<sup>4</sup> *Лавкадио Сёрн* (1850–1904) — английский писатель и журналист греко-ирландского происхождения, натурализовался в Японии.

---

пополнялось коммунистами, но в ближайшие несколько лет процесс может смениться на обратный. Постоянным у националиста остается лишь состояние ума: объект привязанности меняется и может быть воображаемым.

А у интеллектуала перенос выполняет важную функцию, о которой я кратко упомянул в связи с Честертоном. Перенос позволяет ему быть гораздо большим националистом — более вульгарным, более глупым, более злобным, более нечестным — чем если бы объектом была родная страна или объединение, которое человек знает по-настоящему. Когда видишь раблепную или хвастливую чепуху, написанную довольно умными и чувствительными людьми, о Сталине, Красной армии и т. д., становится ясно, что в сознании произошел какой-то вывих. В обществах, подобных нашему, не часто бывает, чтобы человек, имеющий право называться интеллектуалом, испытывал очень сильную привязанность к своей стране. Ему не позволит этого общественное мнение — то есть та часть общественного мнения, к которой он как интеллектуал восприимчив. Его окружение в большинстве своем недовольно и настроено скептически, и он может усвоить это отношение из подражательности или чистой трусости; в этом случае он избегнет рядом лежащей формы национализма, ничуть не приблизившись к подлинно интернационалистскому мировоззрению. Он все равно ощущает потребность в Отечестве и, естественно, обращает взгляд за границу. Обретя искомое, он может необузданно предаваться тем самым чувствам, от которых, ему кажется, он освободился. Бог, король, империя, Юнион Джек — все свергнутые идолы восстанут вновь в другом облики, и он, поскольку не признал их за таковых, может поклоняться им с чистой совестью. Перенесенный национализм, так же, как маневр с козлом отпущения, — это способ обрести спасение, не меняя дурных привычек.

*Безразличие к реальности.* Все националисты обладают способностью не видеть сходства между аналогичными рядами фактов. Британский тори будет защищать са-

---

моопределение в Европе и противиться самоопределению Индии, не осознавая своей непоследовательности. Действия оцениваются как хорошие или плохие не в соответствии с их характером, а соответственно тому, кто их осуществляет, и, наверное, нет такого безобразия — пытки, взятие заложников, принудительный труд, массовые депортации, тюремное заключение без суда, фальсификации, убийства, бомбардировка гражданского населения, — которое не меняло бы своего морального знака, будучи совершено «нашими». Либеральная «Ньюс кроникл» опубликовала как пример неслыханного варварства фотографии повешенных немцами русских, а спустя год или два — с горячим одобрением — почти такие же фотографии немцев, повешенных русскими\*. То же самое с историческими событиями. Историю часто оценивают с националистических позиций: инквизиция, пытки, Звездная палата, дела английских пиратов (сэр Фрэнсис Дрейк, например, любил топить испанских пленников), якобинский террор, сотни сипаев, расстрелянных из пушек после восстания, солдаты Кромвеля, резавшие лица ирландцам бритвами, — все это морально не квалифицировалось или даже считалось похвальным, когда служило «правому» делу. Если вспомнить прошедшую четверть столетия, окажется, что не проходило и года без того, чтобы из какой-нибудь части света не сообщали о зверствах. Однако ни в одном случае — будь то зверства в Испании, России, Китае, Венгрии, Мексике, Амритсаре или в Смирне — английская интеллигенция в целом не поверила в эти зверства и не осудила их. Достойны ли они осуждения, да и вообще, совершались ли — всегда решалось в соответствии с политическими пристрастиями.

---

\* «Ньюс кроникл» советовала читателям посмотреть кинохронику, где казнь была заснята полностью, крупным планом. «Стар», также с одобрением, напечатала фотографии почти голых коллаборационисток, преследуемых парижской толпой. Эти фотографии весьма напоминали нацистские фотографии евреев, над которыми издевалась берлинская толпа.

---

Националист не только не осуждает зверств, совершенных его стороной, — он обладает замечательной способностью даже не слышать о них. Целых шесть лет английские поклонники Гитлера умудрялись не знать о существовании Дахау и Бухенвальда. А те, кто громче всех возмущается немецкими концлагерями, совсем не знают или почти ничего не знают о концлагерях в России. Колоссальные события вроде голода на Украине в 1933 году, унесшего миллионы жизней, ускользнули от внимания большинства английских русофилов. Многие англичане почти ничего не слышали об истреблении немецких и польских евреев во время нынешней войны. Из-за их собственного антисемитизма известия об этом ужасном преступлении отскакивают от их сознания. Для националистического сознания есть факты, одновременно истинные и ложные, известные и неизвестные. Известный факт может быть настолько невыносим, что его отодвигают от себя, не включают в логические процессы или же, наоборот, он может учитываться в каждом расчете, но фактом при этом не признаваться, даже когда человек остается наедине с собой.

Каждый националист живет с убеждением, что прошлое можно изменить. Часть времени он проводит в мире фантазий, где все происходит как должно, — где, например, Великая армада достигает цели, а русская революция подавлена в 1918 году, — и фрагменты этого мира он при всякой возможности переносит в книги по истории. Большая часть пропагандистских писаний в наше время — чистый подлог. Физические факты утаиваются, даты изменяются, цитаты изымаются из контекста и препарируются так, что меняют смысл. События, которым не надо было бы произойти, не упоминаются и, в конечном счете, отрицаются\*. В 1927 году Чан Кайши живьем сварил сот-

---

\* Пример — русско-германский пакт, который стирают из сознания публики со всей возможной быстротой. Русский корреспондент сообщает мне, что пакт уже не упоминается в русских ежегодниках со сводками последних политических событий.

---

ни коммунистов, а через десять лет стал у левых героем. Из-за перегруппировки в мировой политике он оказался в стане антифашистов, и решено поэтому, что варка коммунистов «не в счет» — или ее вообще не было. Первая цель пропаганды, конечно, — повлиять на мнение современников, но те, кто переписывает историю, вероятно, отчасти верят, что действительно вводят в прошлое факты. Когда присмотришься к старательно изготовленным подлогам, цель которых доказать, что Троцкий не играл важной роли в гражданской войне, трудно представить себе, что авторы просто лгут. Скорее всего, им кажется, что их версия и есть то, что видел сверху Бог, и они вправе отредактировать документы соответственно.

Равнодушию к объективной истине способствует разгороженность мира, из-за которой все труднее и труднее становится выяснить, что было на самом деле. Самые масштабные события — и те зачастую вызывают сомнения. Например, невозможно подсчитать с точностью до миллионов или даже десятков миллионов число погибших в нынешней войне. Бедствия, о которых сообщают то и дело, — сражение, резня, голод, революция — вызывают у обывателя ощущение нереальности. Нет возможности проверить факты, человек даже не вполне уверен, что они имели место, и разные источники всегда предлагают ему совершенно разные истолкования. Что было правильного и неправильного в варшавском восстании в августе 1944 года? Правду ли говорят о немецких газовых камерах в Польше? Кто был виновником голода в Бенгалии? Правду, вероятно, можно установить, но почти все газеты подавали факты так нечестно, что обыкновенному читателю можно простить и веру в вымыслы, и неспособность вообще составить какое-то мнение. Достоверной картины того, что происходит на самом деле, нет, и от этого легче держаться безумных убеждений. Поскольку ничто окончательно не доказано и не опровергнуто, самый несомненный факт можно бесстыдно отрицать. Кроме того, без конца размышляя о силе, победе, поражении, мести, националист зачастую не очень-то интересуется тем, что

---

происходит в реальном мире. Нужно ему другое — ощущение, что его группа одерживает верх над какой-то другой, а ощутить это легче, срезав оппонента, нежели изучая факты, дабы выяснить, подтверждают ли они твою правоту. Вся националистическая полемика ведется на уровне клубных дискуссий. Она не приводит ни к какому результату, поскольку каждый диспутант неизменно считает себя победителем. Некоторые националисты недалеки от шизофрении — они живут в блаженных грезах о могуществе и завоеваниях, в полном отрыве от реального мира.

Я описал, как мог, склад ума, характерный для всех форм национализма. Теперь надо классифицировать эти формы, хотя исчерпывающей классификации дать нельзя. Национализм — необъятная тема. Человечество страдает бесчисленными иллюзиями и ненавистями, которые переплетаются самым сложным образом, причем некоторые из самых зловещих еще не внедрили в европейское сознание. В этой статье меня занимает тот национализм, который встречается среди английской интеллигенции. У нее гораздо чаще, чем у простых англичан, он существует без примеси патриотизма, и потому его можно изучать в чистом виде. Ниже перечислены с необходимыми пояснениями разновидности национализма, распространенные сегодня среди английской интеллигенции. Их удобнее разделить на три категории: позитивный, перенесенный и негативный национализм, хотя некоторые разновидности не подпадают ни под одну категорию.

### Позитивный национализм

*1. Неоторизм.* Он представлен такими людьми, как лорд Элтон, А. П. Герберт, Дж. М. Янг<sup>5</sup>, профессор Пикторн, а также литературой Комитета тори за реформы и

---

<sup>5</sup> *Годфри Элтон* (1892–1973) — английский биограф и поэт. *Джордж Малколм Янг* (1882–1959) — английский политолог.

---

журналами «Нью инглиш ревью», «Найнтинс сенчури энд афтер». Подлинной движущей силой неоторизма, придающей ему националистический характер и отличающей его от обычного консерватизма, является нежелание признать, что британская мощь и влияние уменьшились. Даже те, у кого хватает трезвости понять, что военное положение Британии теперь не такое, как прежде, утверждают порой, что в мире должны господствовать «английские идеи» (не давая им обычно определения). Все неотори настроены против России, но иногда главный упор делается на антиамериканизме. Знаменательно в этом течении то, что оно приобретает популярность среди более молодых интеллектуалов, иногда бывших коммунистов, переживших обычную утрату иллюзий и потому разочаровавшихся в этом учении. Англофоб, внезапно превратившийся в яростного пробританца, — довольно обычная фигура. Это можно было наблюдать на Ф. Войте, Малькольме Маггеридже, Ивлине Во, Хью Кингсмилле<sup>6</sup>; подобную психологическую эволюцию переживали Т. С. Элиот, Уиндем Льюис и разные их последователи.

*2. Кельтский национализм.* Валлийский, ирландский и шотландский национализм кое в чем отличаются, но их роднит антианглийская ориентация. Участники этих трех движений были против войны, в то же время характеризуя себя как сторонников России, а наиболее оголтелые умудрялись быть одновременно и русофилами, и пронацистами. Но кельтский национализм не тождествен англофобии. Он движим верой в прошлое и будущее величие кельтских народов и сильно отдаёт расизмом. Считается, что кельт духовно превосходит англосакса — он непосредственнее, больше одарен творчески, менее вульгарен, меньший сноб и т. д., — но под этим все та же жажда могущества. Один из ее симптомов — иллюзия, будто Эйре, Шотландия и даже Уэльс могли бы сохранить независимость без посторонней помощи и ничем не обя-

---

<sup>6</sup> *Хью Кингсмилл* (1889–1949) — английский романист, биограф, критик.

---

заны британской защите. Типичные писатели этого направления — Хью Макдайармид и Шон О'Кейси. Ни один современный ирландский писатель, даже такого калибра, как Йейтс или Джойс, не вполне свободен от националистических настроений.

3. *Сионизм.* Он обладает всеми обычными чертами националистического движения, но американский вариант его кажется более горячим и зловредным, чем британский. Я отношу его к прямому, а не к перенесенному национализму потому, что он распространен почти исключительно среди самих евреев. В Англии по нескольким весьма разнородным причинам интеллигенция в палестинском вопросе большей частью поддерживает евреев, хотя и не слишком горячо. В Англии все люди доброй воли настроены проеврейски в том смысле, что осуждают нацистские гонения. Но настоящий еврейский национализм или вера в природное превосходство евреев у людей нееврейской национальности едва ли встречаются.

### Перенесенный национализм

1. *Коммунизм.*
2. Политический католицизм.
3. Расовые предрассудки.

Презрительное отношение к «туземцам» в Англии по большей части забыто, и разные псевдонаучные теории, настаивавшие на превосходстве белой расы, хождения не имеют\*. Среди интеллигенции этот предрассудок существует только с обратным знаком — как вера в пре-

---

\* Хороший пример — предрассудок касательно солнечного удара. До последнего времени считалось, что белые более подвержены солнечному удару, чем цветные, и что белому небезопасно ходить под южным солнцем без тропического шлема. Никаких свидетельств в пользу этой теории нет, но она подчеркивала разницу между «туземцами» и европейцами. В ходе нынешней войны теорию благополучно забыли, и целые армии передвигаются без тропических шлемов. Пока этот предрассудок существовал, английские врачи в Индии верили в него так же твердо, как все прочие.

---

восходство цветных рас. У английских интеллектуалов он встречается все чаще — и объясняется скорее мазохизмом и сексуальными разочарованиями, чем контактами с восточными и негритянскими националистическими движениями. Но даже у тех, кого вопрос цвета кожи не сильно волнует, большую роль играет снобизм и подражательство. Чуть ли не каждый английский интеллектуал будет шокирован утверждением, что белая раса превосходит цветные, зато в противоположном утверждении он не усмотрит ничего возмутительного, даже если с ним не согласен. Националистической привязанности к цветным расам обычно сопутствует представление, будто у них богаче сексуальная жизнь, и существует целая негласная мифология насчет сексуальной одаренности негров.

4. *Классовое чувство.* Среди интеллектуалов из среднего и высшего класса встречается только в форме перенесенного — то есть как вера в превосходство пролетариата. И здесь на интеллигенцию сильнее всего влияет общественное мнение. Националистическая преданность пролетариату и самая жгучая теоретическая ненависть к буржуазии часто совмещаются с обычным снобизмом в повседневной жизни.

5. *Пацифизм.* Большинство пацифистов либо принадлежат к малозначительным религиозным сектам, либо это просто гуманисты, которые возражают против того, чтобы людей лишали жизни, и дальше этой мысли не идут. Но среди пацифистов-интеллектуалов есть меньшинство, у которого в подоплеке пацифизма — ненависть к западной демократии и преклонение перед тоталитаризмом. Пацифистская пропаганда обычно сводится к тезису, что одна сторона ничем не лучше другой, но если присмотреться к писаниям более молодых пацифистов, оказывается, что они не беспристрастны в осуждении обеих систем, а настроены против Британии и Соединенных Штатов. Больше того, как правило, они не осуждают насилие как таковое, а только насилие, используемое для обороны западных стран. Русских, в отличие от британцев, не ви-

---

нят за то, что они защищаются военными средствами, да и вообще пацифистская пропаганда этого толка избегает упоминания о России и Китае. Опять-таки, не говорится, что индийцы должны отказаться от насилия в своей борьбе с британцами. Пацифистская литература изобилует туманными заявлениями, в которых если и есть какой-то смысл, то только тот, что государственные деятели, подобные Гитлеру, предпочтительнее таких, как Черчилль, а насилие, пожалуй, извинительно, если оно достаточно жестокое. После падения Франции французские пацифисты, очутившись перед выбором, которого их английским единоверцам удалось избежать, по большей части перешли к нацистам, а в Англии некоторое количество людей состояло одновременно в Союзе обета мира и в Британском союзе фашистов. Пацифистские авторы восхваляли Карлейля, одного из интеллектуальных родоначальников фашизма. В целом, трудно отделаться от мысли, что в основе пацифизма, присущего определенной части интеллигенции, лежит преклонение перед силой и победительной жестокостью. Ошибкой было сфокусировать эту эмоцию на Гитлере, но всегда можно переориентироваться.

### **Негативный национализм**

*1. Англофобия.* Среди интеллигенции презрительное и слегка враждебное отношение к Британии более или менее обязательно, но во многих случаях это и потребность души. Во время войны это проявилось в пораженческих настроениях интеллигенции, сохранявшихся и тогда, когда давно было ясно, что державы оси победить не могут. Многие откровенно радовались, когда пал Сингапур или когда британцев вытеснили из Греции; удивляло нежелание верить хорошим известиям — например, об Эль-Аламейне или о числе немецких самолетов, уничтоженных в битве над Англией. Конечно, английские левые интеллектуалы не хотели, чтобы войну выиграла Германия или Япония, но многие испытывали некоторое удовольствие

---

при виде унижения своей страны и хотели бы думать, что окончательная победа одержана благодаря России или, скажем, Америке, а не Британии. В международной политике многие интеллигенты руководствуются принципом, что любая группировка, поддерживаемая Британией, заведомо не права. В результате, «просвещенное» мнение в большой своей части оказывается зеркальным отражением консервативной политики. Англофобия всегда может обернуться своей противоположностью; отсюда — довольно обычное перевоплощение: противник одной войны становится поборником следующей.

*2. Антисемитизм.* Сейчас он мало заметен, потому что нацистские преследования заставляют каждого мыслящего человека занять сторону евреев. Всякий более или менее образованный человек, слышавший слово «антисемитизм», утверждает, что непричастен к нему, а в литературу всякого рода антиеврейские высказывания стараются не пропустить. На самом деле, антисемитизм, по-видимому, распространен даже среди интеллигенции, и всеобщий заговор молчания, вероятно, его обостряет. Ему подвержены и люди левых убеждений; на их позиции сказывается то, что троцкисты и анархисты — чаще всего евреи. Но более склонны к антисемитизму люди консервативных взглядов, подозревающие евреев в том, что они ослабляют моральный дух нации и разжижают ее культуру. Всегда готовы впасть в антисемитизм — по крайней мере, на какое-то время — неотори и политизированные католики.

*3. Троцкизм.* Этот термин употребляется расширенно, так что под него подпадают анархисты, социал-демократы и даже либералы. Я же обозначаю им здесь марксиста-доктринера, движимого в основном враждебностью к сталинскому режиму. С троцкизмом лучше знакомиться по малоупотребительным брошюрам или газетам вроде «Социалист апил», чем по работам самого Троцкого, который отнюдь не был человеком одной идеи. Хотя в некоторых странах, например, в США троцкизм способен привлечь изрядное количество последователей и превратить

---

ся в организованное движение со своим мелким фюрером, вдохновляющая идея его — по существу, отрицательная. Троцкист против Сталина, так же, как коммунист — за него, и подобно большинству коммунистов, он хочет не столько изменить внешний мир, сколько чувствовать, что сражение за престиж развивается в его пользу. В обоих случаях имеет место одинаковая фиксация на единственном предмете, одинаковая неспособность сформировать вполне рациональное мнение, основанное на фактах. Из-за того, что троцкисты повсюду — преследуемое меньшинство, и обычное обвинение против них — в сотрудничестве с фашистами — вполне ложно, создается впечатление, будто троцкизм интеллектуально и морально стоит выше коммунизма; но большую разницу между ними увидеть трудно. Типичные троцкисты, в любом случае, — бывшие коммунисты, и к троцкизму не приходят иначе, как через одно из левых движений. Ни один коммунист, если он не привязан к партии многолетней привычкой, не застрахован от внезапного впадения в троцкизм. Обратный процесс наблюдается не так часто, хотя определенно-го объяснения этому нет.

Из приведенной классификации видно, что во многих случаях я преувеличивал, чрезмерно упрощал вопрос, делал необоснованные допущения и вовсе игнорировал существование обыкновенных, приличных мотивов. Это было неизбежно, потому что в данной статье я пытаюсь выделить и обозначить тенденции, которые существуют в нашем сознании и извращают наше мышление, хотя не обязательно проявляются в чистом виде и действуют непрерывно. Теперь пора подправить эту по необходимости упрощенную картину. Прежде всего, мы не имеем права предполагать, что *каждый* — или хотя бы каждый интеллект — заражен национализмом. Во-вторых, национализм может быть ограниченным и непостоянным. Мыслящий человек может наполовину уверовать в привлекательную идею, понимая при этом ее абсурдность, и может

---

надолго выбрасывать ее из головы, возвращаясь к ней только под влиянием гнева или сентиментальности, — или же будучи уверен, что в эту минуту не затронут серьезный вопрос. В-третьих, к националистической идее можно придти чистосердечно, из ненационалистических побуждений. В-четвертых, в одном человеке могут сосуществовать несколько видов национализма, даже взаимоисключающих.

Я все время говорил: «националист делает то», «националист делает это», используя для иллюстрации крайний, едва ли вменяемый тип националиста, у которого нет нейтральных зон в сознании и нет интереса к чему-либо, кроме борьбы за власть. На самом деле, таких людей сколько угодно, но на них не стоило бы тратить порох. В жизни с лордом Элтоном, Д. Н. Приттом, с леди Хаустон, Эзрой Паундом, лордом Ванситтартом, отцом Коглином<sup>7</sup> и всем их унылым племенем надо бороться, но останавливаться на их умственных изъясных едва ли стоит. Моноания неинтересна, и то, что ни один националист фанатичного склада не способен написать книжку, которую стоило бы прочесть через несколько лет, само по себе производит определенный дезодорирующий эффект. Даже признав, что национализм восторжествовал не везде, что еще есть люди, чьи суждения не вполне подвластны страстям, мы никуда не уйдем от того факта, что важнейшие проблемы: Индия, Польша, Палестина, гражданская война в Испании, московские процессы, американские негры, русско-германский пакт — какую ни возьми — невозможно обсуждать (по крайней мере, никогда не обсуждают) на уровне разума. Элтоны, Притты и Коглины, каждый из них — просто огромный рот, снова и снова изрыгающий одну и ту же ложь, и это, очевидно, — крайние случаи, но мы обманываем себя, если не осознаем, что можем стать похожими

---

<sup>7</sup> Роберт Ванситтарт (1881–1957) — английский дипломат и писатель. Чарльз Коглин (1891–1979) — американский католический священник, радиопроповедник, издатель.

---

на них, когда теряем над собой контроль. Прозвучит не та нота, наступят на тот или иной мозоль, а мозоль может оказаться таким, о существовании которого до сих пор не подозревали, — и самый здравомыслящий, добродушный человек может превратиться в неистового фанатика, одержимого одним желанием — победить оппонента, — и безразличного к тому, сколько он будет при этом лгать и сколько совершит логических ошибок. Когда Ллойд Джордж, противник бурской войны, объявил в палате общин, что если сложить британские сводки, то буров убито больше, чем жило в стране, Артур Бальфур вскочил с криком: «Невежа!». Очень немногие застрахованы от подобных оплошностей. Негр, униженный белой женщиной, англичанин, в чьем присутствии американец поносит Англию, апологет католичества, которому напомнили о Великой армаде, отреагируют примерно таким же образом. Стоит задеть националистический нерв, и куда-то деваются интеллектуальные приличия, меняется прошлое, отрицаются самые очевидные факты.

Если где-то в сознании сидит националистическая привязанность или ненависть, заведомо истинные факты могут стать неприемлемыми. Вот несколько примеров. Я перечислю пять типов националистов и против каждого поставлю факт, которого этот националист признать не может, даже втайне:

*Британский тори.* После этой войны могущество и престиж Британии уменьшатся.

*Коммунист.* Если бы не помощь Британии и Америки, Германия победила бы Россию.

*Ирландский националист.* Эйре может сохранять независимость только благодаря британской защите.

*Троцкист.* Сталинский режим устраивает русских.

*Пацифист.* Тот, кто «отказывается» от насилия, имеет такую возможность только потому, что другие совершают насилие ради него.

Все эти факты совершенно очевидны, пока в игру не вступают эмоции: но для названных персонажей они не-

---

*переносимы*, поэтому их надо отрицать и на отрицании строить ложные теории. Вернусь к поразительной беспомощности военных предсказаний в этой войне. Думаю, правильно будет сказать, что интеллигенция хуже оценивала ход военных действий, чем простой народ, и больше руководствовалась пристрастиями. Левые интеллигенты в массе своей верили, например, в 1940 году, что война проиграна, в 1942 — что немцы захватят Египет, что японцев никогда не прогонят с захваченных территорий, что англо-американские бомбардировки не производят впечатления на немцев. Верили они в это потому, что ненависть к британскому правящему классу не позволяла им поверить в осуществимость британских планов. Нет такой глупости, в которую не уверовал бы человек под влиянием подобных эмоций. Например, мне сообщали по секрету, что американские войска прибыли в Европу не для того, чтобы сражаться с немцами, а для того, чтобы подавить английскую революцию. Чтобы поверить в нечто подобное, надо быть интеллектуалом: простой человек не может быть таким дураком. Когда Гитлер вторгся в Россию, чиновники министерства информации «в порядке справки» выдали предупреждение, что Россия может рухнуть через шесть недель. С другой стороны, коммунисты рассматривали каждую фазу войны как русскую победу, даже когда русские отступили почти к Каспийскому морю и потеряли несколько миллионов пленными. Нет нужды множить примеры. Суть в том, что как только в игру вступают страх, ненависть, зависть и культ силы, сразу отказывается чувство реальности. И, как я уже говорил, утрачиваются представления о праведном и неправедном. Нет такого преступления — то есть вообще нет — которое не прощалось бы, если его совершают «наши». Даже если это преступление нельзя отрицать, даже если известно, что точно такое же осуждалось в каком-то другом случае, даже если ум говорит, что оно не оправдано, — *чувство* не признает его неправедным. Когда говорит приверженность, жалость молчит.

---

Причины роста и распространения национализма — слишком обширный вопрос, и здесь не место его рассматривать. Достаточно сказать, что в тех формах, в каких он проявляется у английской интеллигенции, это — прямое отражение ужасных битв, происходящих во внешнем мире, и что причиной худших его безумств стал упадок патриотизма и религиозной веры. Если развивать эту мысль дальше, есть опасность дойти до некоего консерватизма или до политического квиетизма. Например, можно утверждать, и, по всей вероятности, даже справедливо, что патриотизм — прививка против национализма, что монархия предохраняет от диктатуры, а организованная религия — от суеверий. Или же можно доказывать, что непредвзятого взгляда на жизнь не бывает, что все верования и политические устремления одинаково чреваты ложью, глупостями и варварством, и это часто используется как довод против любого участия в политике. Я не принимаю этот довод хотя бы потому, что в современном мире ни один человек, причисляемый к интеллигентам, не может быть вне политики — в том смысле, что не может быть к ней безразличен. Я думаю, что в политике надо участвовать — понимая ее в широком смысле, — и что предпочтения надо иметь: то есть надо осознать, что одни цели объективно лучше других, даже если они достигаются такими же плохими средствами. Что же касается националистических пристрастий и ненавистей, то, нравится нам это или нет, большинство из нас от них не свободны. Можно ли избавиться от них, я не знаю, но уверен, что бороться с ними можно, и что требуется тут, в сущности, *нравственное усилие*. Необходимо, прежде всего, разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, а затем учитывать неизбежную свою предвзятость. Если вы ненавидите Россию и боитесь ее, если вы завидуете богатству и мощи Америки, если вы презираете евреев, если ощущаете свою неполноценность, сравнивая себя с британским правящим классом, вы не избавитесь от этих чувств просто путем размышлений. Но, по крайней мере,

---

вы можете отдать себе в них отчет и не допустить, чтобы они исказили ваши мыслительные процессы. Эмоциональные побуждения, которые неизбежны и, наверное, даже необходимы для политического действия, не должны препятствовать восприятию действительности. Но для этого, повторяю, требуется нравственное усилие, а современная английская литература, в той мере, в какой она откликается на главнейшие проблемы нашего времени, показывает, как мало среди нас людей, готовых его сделать.

*май 1945 г.*

---

## Что такое наука?

В «Трибьюн» за прошлую неделю было напечатано интересное письмо мистера Стюарта Кука, где говорилось, что лучший способ избежать опасной «научной иерархии» — позаботиться о том, чтобы каждый член общества был по возможности научно образован. В то же время надо покончить с изоляцией ученых и поощрять их к тому, чтобы они больше участвовали в политике и управлении.

Я думаю, большинство из нас согласится с этим общим утверждением, но замечая, что, как обычно, мистер Кук не дает определения науке, молчаливо подразумевая под ней некоторые точные науки, чьи эксперименты осуществляются в лабораторных условиях. Так, в образовании взрослых заметно «пренебрежение научными исследованиями, и упор делается на литературные, экономические и социальные предметы». То есть, экономика и социология, по-видимому, не считаются науками. Это очень важный момент. Ибо ныне слово «наука» употребляется, по крайней мере, в двух значениях, и вся проблема научного образования смазывается из-за того, что этими значениями пользуются попеременно.

Под наукой обычно понимают либо (а) точные науки, такие как химия, физика и т. д., либо (б) метод мышления, который дает проверяемые результаты путем логических рассуждений, основанных на наблюдаемом факте.

Если вы спросите любого ученого, да и чуть ли не любого образованного человека: «Что такое наука?» — то, скорее всего, получите ответ, приближающийся к (б). Но в повседневной речи, и устной, и письменной, слово «наука» употребляется в смысле (а). Наука означает нечто, происходящее в лаборатории: само слово ассоциируется с таблицами, пробирками, весами, бунзеновскими горелками, микроскопами. О биологах, астрономах, может быть, о психологах и математиках говорят: «люди науки»; никому в голову не придет назвать так государственного деятеля, поэта, журналиста и даже философа. А те, кто говорит, что молодым требуется научное образование, почти всегда имеют в виду, что надо больше изучать радиоактивность, звезды, физиологию человека, а не учиться мыслить точно.

Эта путаница в значениях, отчасти умышленная, таит в себе большую опасность. Призывы к более научному образованию подразумевают, что человек с научной подготовкой о *любом* предмете будет судить вернее, чем человек без таковой. То есть мнение ученого о политике, о социологических вопросах, о морали, о философии, может быть, даже об искусстве будет более ценным, чем мнение неспециалиста. Другими словами, если бы миром управляли ученые, он стал бы лучше. Но «ученый», как мы только что видели, в обиходе означает специалиста в одной из точных наук. Отсюда следует, что химик или физик, как таковые, политически умнее, чем поэт или адвокат. И в это уверовали уже миллионы людей.

Но правда ли, что «ученый» в этом узком смысле склонен подходить к ненаучным проблемам более объективно, чем другие люди? Думать так особых оснований нет. Возьмем такой простой критерий — способность противостоять национализму. Часто говорят, не вдаваясь в детали: «Наука интернациональна», но на практике научные работники всех стран подстраиваются под свое правительство с гораздо большей готовностью, чем писатели и художники. Немецкие научные круги, в

---

целом, не сопротивлялись Гитлеру. Пусть он и закрыл перспективные направления немецкой науки, но все равно у него оставалось достаточно много одаренных людей, чтобы вести исследования в таких областях, как синтетическое горючее, реактивная авиация, ракеты и атомная бомба. Без них немецкую военную машину не удалось бы построить.

С другой стороны, что стало с немецкой литературой, когда к власти пришли нацисты? Кажется, полных списков не публиковали, но полагаю, что число немецких ученых — если не считать евреев, — добровольно уехавших или подвергшихся преследованиям, было гораздо меньше числа писателей и журналистов. Еще более мрачный факт: сколько немецких ученых примкнуло к чудовищу «расовой науки». Некоторые заявления, подписанные ими, вы можете найти в книге профессора Брэди «Дух и структура немецкого фашизма».

Но в несколько отличном виде подобное наблюдается повсюду. В Англии часть наших ведущих ученых приемлет капиталистическое устройство общества — это видно по тому, с какой щедростью их награждают титулами рыцарей, баронетов и даже пэров. После Стивенсона ни одному английскому писателю, заслуживавшему чте-ния, — за исключением, пожалуй, сэра Макса Бирбома, не был пожалован титул. А те английские ученые, которые не приемлют статус-кво, — зачастую коммунисты; это означает, что щепетильность в своей профессии не мешает им не критически и даже нечестно относиться к определенным явлениям. Квалификация в одной или нескольких точных науках, даже в сочетании с очень большой одаренностью, вовсе не гарантирует гуманного или скептического мировоззрения. Подтверждение тому — физики пяти или шести великих держав, лихорадочно и втайне работающие над созданием атомной бомбы. Но означает ли все это, что народ не нуждается в лучшем научном образовании? Напротив! Это означает только, что научное образование принесет мало добра, а может быть, и

---

много вреда, если сведется только к разрастанию в программах физики, химии, биологии и т. д. за счет литературы и истории. Оно может сказаться так, что у рядового человека сузится диапазон мысли, он станет еще больше презирать те знания, которыми не обладает, — и его политические реакции, возможно, станут несколько менее осмысленными, чем у малограмотного крестьянина, сохранившего кое-какие воспоминания из истории и более или менее здоровое эстетическое чувство.

Ясно, что научное образование должно развить в человеке рациональный, скептический, экспериментальный склад ума. Оно должно вооружить его *методом*, методом, который может быть применен к любой проблеме, а не просто нагрузить его массой фактов. Изложите это в таких словах, и защитник научного образования, как правило, согласится. Попросите его высказаться подробнее, и почему-то непременно окажется, что научное образование означает — больше упора на точные науки, другими словами, больше *фактов*. Идея, что наука — это способ смотреть на вещи, а не просто комплекс знаний, на деле вызывает сильное сопротивление. Я думаю, отчасти это результат профессиональной ревности. Ибо, если наука — это просто метод, тогда всякого, кто мыслит достаточно рационально, можно в каком-то смысле считать ученым — что же тогда остается от огромного престижа, которым ныне пользуются химик, физик и т. д., и от их претензий на большую сравнительно с нами мудрость?

Лет сто назад Чарльз Кингсли определил науку как «производство скверных запахов в лаборатории». Года два назад молодой промышленный химик самодовольно сообщил мне, что «не видит, в чем польза поэзии». Так что маятник качается туда и сюда, но ни одна из двух этих позиций не кажется мне лучше другой. Сейчас наука на подъеме, и нам говорят, вполне справедливо, что массам требуется научное образование; но мы не слышим, хотя должны были бы, встречного тезиса, что много лишнего образования не помешало бы самим уче-

---

ным. Перед тем, как писать эту статью, я прочел в американском журнале, что некоторые британские и американские физики с самого начала отказались работать над атомной бомбой, отлично понимая, как ее можно употребить. Вот вам группа здоровых людей посреди мира сумасшедших. И хотя имена не были названы, я думаю, можно спокойно предположить, что все это — люди, которые обладают общей культурой, знакомы с историей, или литературой, или искусством, — короче, люди, чьи интересы не ограничиваются чисто научными в нынешнем смысле слова.

*октябрь 1945 г.*

---

## Спортивный дух

Теперь, когда короткий визит футбольной команды «Динамо» закончился<sup>1</sup>, можно во всеуслышание сказать то, о чем думающие люди говорили между собой еще до приезда динамовцев. А именно: что спорт — безотказная причина для недоброжелательства, и что если этот визит как-то сказался на англо-советских отношениях, то мог их только ухудшить.

Даже газеты не скрывали, что, по крайней мере, два из четырех матчей определенно вызвали дурные чувства. Человек, присутствовавший на игре с «Арсеналом», рассказывал мне, что дело дошло до драки между английским и русским игроком, а судью ошिकाки. Матч с «Глазго Рейнджерс», сообщили мне, с самого начала превратился в потасовку. А затем начались споры, типичные для нашего националистического века, — о составе команды «Арсенал». Была ли это сборная Англии, как утверждали русские, или всего лишь клубная команда, как утверждали англичане? И не закончило ли «Динамо» свое турне раньше срока, чтобы избежать игры со сборной? Как обычно, каждый отвечал на эти вопросы в соответствии со своими политическими пристрастиями. Впрочем, не каждый. Занятым примером нездоровых страстей, пробуждаемых фут-

<sup>1</sup> Осенью 1945 г. московское «Динамо» посетило Британию и сыграло с четырьмя ведущими британскими клубами.

---

болом, показалось мне то, что спортивный корреспондент русофильской «Ньюс кроникл» не принял сторону русских и утверждал, что «Арсенал» не был сборной. Спор этот, конечно, еще долго будет отзываться эхом в сноских книг по истории. А пока что результатом динамовского турне, если можно говорить о каком-нибудь результате, будет усилившаяся враждебность с обеих сторон.

И может ли быть иначе? Я всегда изумляюсь, когда слышу, что спорт способствует дружбе между народами, и что если бы простые люди всего мира могли встречаться на футбольных или крикетных полях, у них не было бы желания встретиться на поле боя. Если даже не знать конкретных примеров (таких, как Олимпийские игры 1936 года), то можно из общих соображений заключить, что международные спортивные состязания приводят к оргиям ненависти.

В наши дни почти весь спорт — соревнования. Вы играете, чтобы выиграть, и в игре мало смысла, если вы не стараетесь изо всех сил победить. На деревенском лугу, где ты выбираешь команду, и чувство местного патриотизма никак не затронуто, можно играть просто для удовольствия, для здоровья; но как только встает вопрос престижа, как только ты почувствовал, что ты сам и твоя группа в случае проигрыша будете опозорены, пробуждаются самые дикие боевые инстинкты. Об этом знает всякий, кто играл хотя бы за школьную футбольную команду. На международном уровне спорт откровенно имитирует войну. Но существенно тут не поведение игроков, а отношение зрителей, а за зрителями — народа, который из-за этих абсурдных состязаний впадает в неистовство и всерьез верит, — по крайней мере, короткое время, — что бегодня, прыжки и свалка вокруг мяча — это испытание национальной доблести.

Даже вяловатая игра вроде крикета, требующая скорее изящества, чем силы, может вызвать большое недоброжелательство, как показали нам споры о грязной подаче и грубой тактике австралийской команды, посетившей

---

Англию в 1921 году. Футбол — спорт, где травмируются все, и каждая сторона имеет собственный стиль игры, иностранцам кажущийся неприглядным, — гораздо хуже. А хуже всего бокс. Одно из самых отвратительных зрелищ на свете — бой между белым боксером и цветным перед смешанной публикой. Впрочем, публика на боксе всегда отвратительна, а поведение женщин, в частности, таково, что армия на свои матчи их, кажется, не допускает. Во всяком случае, два-три года назад, когда происходил боксерский матч между армией и войсками местной обороны, меня поставили часовым у входа в зал с приказом не пропускать женщин.

Помешательства на спорте хватает и в Англии, но еще более жаркие страсти кипят в молодых странах, где спортивные игры и национализм — недавнее приобретение. Скажем, в Индии и Бирме на футбольных матчах необходимы сильные полицейские кордоны, чтобы толпа не бросилась на поле. Я видел в Бирме, как болельщики прорвались сквозь полицейское ограждение и в решающую минуту вывели из строя вратаря противников. Первый большой футбольный матч в Испании лет пятнадцать назад закончился массовыми беспорядками. Как только возникает острое чувство соперничества, сразу забываются все представления о том, что играть надо по правилам. Люди хотят видеть своих победителями, а противника поверженным и забывают, что победа, добытая жульнически или благодаря вмешательству толпы, ничего не стоит. Даже когда зрители не вмешиваются физически, они пытаются повлиять на ход игры, подбадривая свою команду и глумясь над чужой. Серьезный спорт не имеет ничего общего с честной игрой. Он отравлен ненавистью, ревностью, презрением к правилам и садистическим удовольствием от насилия на поле — другими словами, это война без стрельбы.

Вместо того, чтобы болтать о честном, здоровом соперничестве на футбольном поле и о великой роли Олимпийских игр в сближении между народами, полезнее бы-

---

ло бы разобраться, как и почему возник теперешний культ спорта. Большинство наших игр — древнего происхождения, но в период от римлян до девятнадцатого века к спорту, судя по всему, относились не слишком серьезно. Даже в английских частных школах культ игр возник лишь к концу девятнадцатого века. Доктор Арнольд, которого принято считать основоположником современной частной школы, смотрел на игры как на пустую трату времени. Затем, прежде всего в Англии и Соединенных Штатах, игры превратились в весьма коммерческое предприятие, способное привлекать громадные толпы и возбуждать неистовые страсти, — и зараза эта поползла от страны к стране. Шире всего распространились виды, где наиболее силен элемент яростной состязательности, — футбол и бокс. Вряд ли можно сомневаться в том, что всё это связано с ростом национализма, то есть с безумной современной привычкой отождествлять себя с тем или иным мощным коллективом и рассматривать всё в свете соревновательного престижа. К тому же организованные игры процветают скорее среди городского населения, где человек чаще ведет сидячую или, по крайней мере, ограниченную в пространстве жизнь и отлучен от творческого труда. В сельской местности у мальчика или молодого человека излишки энергии расходуются на ходьбу, плавание, игру в снежки, лазание по деревьям, езду на лошадях и различные забавы, связанные с жестокостью по отношению к животным, такие как рыбная ловля, петушиные бои и охота с хорьком на крыс. В больших городах, когда нужно дать выход физической энергии и садистическим импульсам, приходится прибегать к групповым упражнениям. К играм серьезно относятся в Лондоне и Нью-Йорке; к ним серьезно относились в Риме и Византии; играли и в средние века и, по всей вероятности, весьма грубо, но игры не смешивались с политикой и не вызывали групповой ненависти.

Если бы мы хотели добавить к запасам взаимного недоброжелательства, уже скопившимся в мире, трудно

---

придумать что-нибудь лучше для этого, чем серия футбольных матчей между евреями и арабами, немцами и чехами, индийцами и британцами, русскими и поляками, итальянцами и югославами в присутствии смешанной публики на сотысячных стадионах. Я, конечно, не хочу сказать, что спорт — одна из главных причин международного соперничества; большой спорт сам, по-моему, следствие тех причин, которые породили национализм. Тем не менее, мы только ухудшаем дело, посылая команду в одиннадцать человек, именуемую чемпионом страны, сражаться против других команд, когда у обоих народов существует сознание, что проигравший «потеряет лицо».

Надеюсь поэтому, что мы не ответим на поездку динамовцев таким же визитом британской команды в СССР. А если уж придется это сделать, давайте пошлем второразрядную команду, которая наверняка проиграет и не может рассматриваться как представительница британского футбола. Реальных неприятностей и так достаточно, не будем умножать их, заставляя молодых людей бить друг друга по лодыжкам под рев разъяренных зрителей.

*14 декабря 1945 г.*

---

## Рецензия на «Космологический глаз» Генри Миллера

Жаль, что ни один издатель не набрался храбрости переиздать «Тропик Рака». Через год он компенсировал бы свои убытки, напечатав книгу под названием «Что я видел в тюрьме» или каким-нибудь подобным, а тем временем несколько экземпляров запретного текста попали бы в руки читателям прежде, чем весь тираж будет сожжен палачом или кем-то, кому положено жечь в нашей стране запрещенные книги. А пока что «Тропик Рака» остается одной из редчайших современных книг, — хотя, говорят, года три назад в Америке ходило пиратское издание, — и трудно достать даже «Черную весну». Отрывки из Генри Миллера печатаются повсюду, но всё более или менее стоящее остается недоступным. Пишущему о нем приходится полагаться на память, а поскольку читающему эту критику, возможно, никогда не удастся прочесть сами книги, всё это похоже на то, как если бы слепого вели посмотреть фейерверк.

Настоящий сборник включает в себя рассказ — скорее даже этюд, чем рассказ — «Макс», превосходный автобиографический очерк «Дьепп–Нью-Хейвен и обратно», три сильно обстриженные главы из «Черной весны», сценарий сюрреалистического фильма, несколько критических статей и фрагментов. Завершает книгу автобиографическая заметка, в основных чертах, вероятно, правдивая и заканчивающаяся так:

---

«Я хочу, чтобы меня читало все меньше и меньше народа; меня не интересует ни жизнь масс, ни намерения нынешних правительств на Земле. Я надеюсь и верю, что в течение ста лет или около того весь цивилизованный мир будет уничтожен. Я верю, что человек может существовать лучше и просторнее без «цивилизации».

Сравнив «Дьепп–Нью-Хейвен» с «Гамлетом», громадной книгой писем, которую Миллер написал в соавторстве с Майклом Френкелом, вы получите хорошее представление о том, что может и чего не может Миллер. «Дьепп–Нью-Хейвен» — правдивое и даже трогательное произведение. В нем рассказывается о неудачной попытке Миллера посетить Англию в 1935 году. Иммиграционные чиновники почуяли, что денег у него очень мало, и живо запихнули его в камеру полицейского суда, а на другой день отправили через Ла-Манш обратно, причем проделали всё это в высшей степени глупо и оскорбительно. Единственным, кто проявил хотя бы каплю порядочности в этой истории, был простой полицейский констебль, ночью стороживший Миллера. Книга, где был напечатан этот очерк, вышла в 1938 году; помню, я читал ее сразу после Мюнхена и думал, что хотя мюнхенское соглашение не повод для гордости, этот мелкий эпизод вызывает у меня больше стыда за мою страну. Не то чтобы британские чиновники в Нью-Хейвене вели себя много хуже, чем ведут себя им подобные повсюду. Но во всем этом есть что-то печальное. Художник очутился во власти парочки бюрократов, и злорадство, хитрость и глупость в их обращении с ним заставляла задуматься: много ли толку во всех наших разговорах о демократии, свободе прессы и прочем.

«Дьепп–Нью-Хейвен» написан в том же ключе, что и «Тропик Рака». Сорок с лишним лет Миллер вел небеспеченную, непочтенную жизнь и обладал он двумя выдающимися дарованиями, которые, быть может, имели общий источник. Одно — полное отсутствие обыкновенного стыда, а другое — способность писать смелую, цветистую, ритмичную прозу, какой в Англии не видели уже лет

---

двадцать. С другой стороны, у него отсутствовала самодисциплина и чувство ответственности, а воображение не отличалось богатством — не путать с прихотливостью. Таким образом, больше всего ему подходил автобиографический жанр, и, как писатель, он, вероятно, должен был истощиться, как только закончится материал, почерпнутый из прошлой жизни.

После «Черной весны» можно было ожидать, что Миллер опустится до шарлатанства в той или иной форме, и, на самом деле, многое из написанного им позже было просто битьем в большой барабан — шумом, родившимся из пустоты. Достаточно прочесть две статьи в этой книге — «Вселенную смерти» (о Прусте и Джойсе) и «Открытое письмо сюрреалистам всего мира». Поражает, до чего мало сказано на почти семидесяти страницах — и до чего внушительно. Эффектная, но фактически почти бессмысленная фраза «Вселенная смерти» вполне передает общую тональность. Один из приемов Миллера — постоянно прибегать к апокалипсическому языку, сыпать на каждой странице фразами: «космологический поток», «лунное притяжение», «межзвездные пространства» или предложениями: «Орбита, по которой я мчусь, уводит меня все дальше и дальше от мертвого солнца, давшего мне жизнь». Второе предложение в статье о Прусте и Джойсе выглядит так: «Всё, что произошло в литературе после Достоевского, произошло по ту сторону смерти». Что за ерунда, если вдуматься! Ключевые слова для этой его манеры: «смерть», «жизнь», «рождение», «солнце», «луна», «чрево», «космический» и «катастрофа». Щедро пользуясь ими, можно самому тривиальному высказыванию придать подобие яркости, а полной бессмыслице — видимость таинственной глубины. Даже само заглавие книги «Космологический глаз» на самом деле ничего не означает, хотя звучит так, как будто должно что-то означать.

Если отшелушить мнения Миллера от всех этих красивостей, окажется, что они в большинстве банальны и часто реакционны. Сводятся они к некоему нигилистическо-

---

му квиетизму. Миллер якобы чужд политики — в начале книги он объявляет, что «стал Богом» и «абсолютно безразличен к судьбе мира», — а между тем, непрерывно изрекает что-то политическое, в том числе хлипкие расовые обобщения насчет «французской души», «германской души» и т. д. Он — крайний пацифист, но вместе с тем жаждет насилия — при условии, что оно будет происходить где-то вдали; считает, что жизнь прекрасна, но надеется и рассчитывает увидеть, как мир полетит в таргарары, и подолгу рассуждает о «великих людях» и «аристократах духа». Его не волнует разница между фашизмом и коммунизмом, потому что «общество состоит из индивидуумов». В наши дни эта позиция стала привычной и заслуживала бы уважения, если бы доведена была до логического завершения, которое означало бы пассивность перед лицом войны, революции, фашизма и чего угодно еще. На деле же люди, вступающие в таком духе, крайне озабочены тем, чтобы по-прежнему жить в буржуазно-демократическом обществе, пользуясь его защитой, но при этом не желают нести за него ответственность. С другой стороны, когда наступает момент реального выбора, квиетист на своей позиции не удерживается. В сущности, позиция Миллера — позиция обыкновенного индивидуалиста, который не признает обязательств перед кем бы то ни было, во всяком случае, перед обществом в целом — и даже не стремится быть последовательным в своих взглядах. Большая часть написанного им в последнее время — всего-навсего утверждение этого факта, только в более пышных словах.

Пока Миллер был просто отверженным и бродягой и имел неприятности с полицейскими, домовладельцами, женами, кредиторами, проститутками, редакторами и прочими, его безответственность ничего не портила — наоборот, для такой книги, как «Тропик Рака» была самым подходящим умонастроением. Замечательно в «Тропике Рака» то, что в нем нет морали. Но если вы намерены выносить суждения о Боге, Вселенной, войне, революции, Гитлере, марксизме и «этих евреях», тогда интеллектуальной чест-

---

ности в ее специфически миллеровском варианте недостаточно. Надо либо всерьез держаться вне политики, либо признать, что политика — искусство возможного. В последних произведениях Миллера там и сям попадаются непретенциозные автобиографические куски («Дьепп–Нью-Хейвен» из их числа), и подобные пассажи есть даже в неудобоваримом «Гамлете» — тогда возвращается прежнее волшебство. Настоящий талант Миллера — в описании изнанки жизни, и, вероятно, нужны несчастья, чтобы разбудить в нем этот талант. Впрочем, кажется, жизнь у него в Калифорнии последние пять-шесть лет была не сахар, и, может быть, в один прекрасный день он перестанет писать пустые фразы о смерти и вселенной, а обратится к вещам, которые по-настоящему умеет делать. Но для этого надо перестать «быть Богом», потому что единственной хорошей книгой, которую написал Бог, был Ветхий Завет.

Между тем, этот сборник позволит новым читателям составить не столь уж превратное мнение о Миллере. Но коль скоро сочтено возможным включить в него три главы из «Черной весны» со звездочками там и сям, жаль, что так же не поступили с «Тропиком Рака» — есть там и не сплошь непристойные части, и нетрудно было бы подать их с некоторым количеством многоточий в нужных местах.

*февраль 1946 г.*

---

## Политика и английский язык

Большинство людей, которых вообще беспокоит эта тема, признают, что английскому языку нездоровится, однако принято думать, что никакими сознательными усилиями делу тут не поможешь. Цивилизация наша упадочная — таков довод, — и общий упадок не мог не коснуться языка. Отсюда следует, что всякая борьба с языковыми извращениями — сентиментальный архаизм, вроде предпочтения свечей электричеству или двуклоков самолетам. Под этим — полубессознательная идея, что язык — естественное образование, а не инструмент, который мы приспособливаем для своих целей.

Ясно, однако, что порча языка обусловлена, в конечном счете, политическими и экономическими причинами, а не просто дурным влиянием того или иного автора. Но следствие само может стать причиной, подкрепить исходную причину, усилив ее действие, — и так до бесконечности. Человек запил, ощутив себя неудачником, и неудач прибавилось оттого, что он запил. Примерно то же происходит с английским языком. Он становится уродливым и неточным потому, что наши мысли глупы, но неряшливость языка помогает нам держаться глупых мыслей. Дело в том, что этот процесс обратим. Современный английский язык, особенно письменный, полон дурных речений, которые распространяются из подражательства, но избе-

---

жать их можно, если только взять на себя труд. Избавившись от них, можно мыслить яснее, а ясная мысль — первый шаг к политическому обновлению, так что борьба с плохим языком — не каприз и дело не одних лишь профессиональных писателей. Я вернусь к этому чуть позже и, надеюсь, к тому времени станет яснее, о чем идет речь. А пока что — пять примеров того, как сейчас пишут по-английски.

Эти пять примеров выбраны не потому, что они особенно плохи — я мог бы привести гораздо худшие, — а потому, что они иллюстрируют различные пороки, из-за которых мы нынче страдаем. Они чуть хуже среднего, но довольно характерны. Я нумерую их, чтобы потом удобнее было к ним обращаться.

1. «Я, в принципе, не уверен в том, что неверно было бы утверждать, будто Мильтон, который некогда представлялся фигурой, в некоторых отношениях подобной Шелли, не становился — благодаря накопленному опыту, все более горькому, — все более схожим с основателем той иезуитской секты, примириться с которой его нельзя было заставить никакими силами».

(Профессор Гарольд Ласки. Эссе в «Свободе слова».)

2. «Прежде всего, мы должны перестать играть в кошки-мышки с мутным потоком фразеологизмов, предписывающим такие вопиюще избыточные сочетания вокабул, как “поставить в тупик” вместо “озадачить” или “нагнать страху” вместо “запугать”».

(Профессор Ланселот Хокбен. Интерглосса.)

3. «С одной стороны, мы имеем свободную личность: по определению она не невротична, ибо не имеет ни конфликта, ни мечты. Ее желания, такие, каковы они есть, прозрачны, поскольку являют собой то, что институциональное одобрение удерживает на переднем плане сознания; иная институциональная модель изменила бы их число и интенсивность; в них мало того, что является естественным, нередуцируемым или культурно-опасным. Но, с другой стороны, социальная связь сама по себе есть

---

не что иное, как взаимное отражение этих самоподдерживающихся целостностей. Вспомним определение любви. Это ли не точная копия маленького ученого? Есть ли в этом королевстве зеркал место личности или братству?».

(Эссе о психологии в «Политикс». Нью-Йорк.)

4. «Все эти «сливки общества» из клубов и осатанелые фашистские главари, объединенные общей ненавистью к социализму и животным ужасом перед нарастающей волной массового революционного движения, взяли на вооружение провокацию, грязное подстрекательство, средневековые легенды об отравленных колодцах, чтобы оправдать уничтожение пролетарских организаций и возбудить в мелкой буржуазии шовинистический угар для борьбы с революционным выходом из кризиса».

(Коммунистическая брошюра.)

5. «Если уж надо вдохнуть новый дух в нашу старую страну, то есть один тернистый путь решительной реформы — и это гуманизация и гальванизация Би-би-си. Робость здесь будет свидетельствовать лишь о гангрене и атрофии духа. Сердце Британии, может быть, твердо и бьется ровно, но рык Британского льва стал подобен рычанию Основы из «Сна в летнюю ночь», «нежному, что у твоего птенчика-голубенка». Новая мужественная Британия не может более терпеть, чтобы ее чернили в глазах, а вернее, в ушах всего мира изнеженные, томные голоса, бесстыдно маскирующиеся под «нормативный английский». Когда Голос Британии раздастся в девять часов, гораздо лучше и менее смехотворно будет, если мир услышит честный голос кокни, а не педантичное, манерное, назидательное, кокетливое мяуканье робких, чистеньких, кисейных барышень!».

(Письмо в «Трибьюн».)

У каждого из этих отрывков свои недостатки, но, кроме совершенно не обязательного уродства, их роднят две особенности. Первая — затасканность образов; вторая — отсутствие точности. Автор либо имеет что-то сказать и не может это выразить, либо случайно говорит что-то другое, либо он почти безразличен к тому, есть ли в его

---

словах смысл или нет. Эта комбинация расплывчатостей и обыкновенной неумелости — самая заметная черта современной английской прозы, особенно, всех политических писаний. Как только касаются определенных тем, конкретное растворяется в абстрактном, и сами собой на язык просятся затрепанные обороты речи: проза все реже и реже состоит из слов, выбранных ради их значения, и все чаще и чаще — из «фраз», приставляемых одна к другой, как детали сборного курятника. Я перечислю сейчас, с комментариями и примерами, различные трюки, с помощью которых люди уваливают от труда, требующегося для написания прозы.

*Умирующие метафоры.* Новая метафора помогает мысли, вызывая зрительный образ, тогда как метафора, практически «мертвая» (например, «железная решимость»), превращается в обычное слово и может быть использована без ущерба для живости. Но между двумя этими типами есть огромная свалка затасканных метафор, которые потеряли свою ассоциативную силу и используются лишь потому, что избавляют человека от труда самому придумывать фразы. Примеры: *перепевать на все лады, встать в строй, попирать достоинство, встать плечом к плечу, играть на руку, положить в долгий ящик, лить воду на мельницу, ловить рыбку в мутной воде, внести раскол, на повестке дня, ахиллесова пята, лебединая песня, рассадник порока, буря недовольства, напрасные потуги.* Многие из них можно употреблять, не вдумываясь в их значение (почему, например, «раскол»?). Часто смешиваются несовместимые метафоры — верный признак того, что автору неинтересно, о чем он говорит. Некоторые расхожие метафоры употребляются в неверном смысле, о чем пишущий даже не подозревает. Например: «эпицентр событий» — людям не приходит в голову заглянуть в словарь и выяснить, что такое эпицентр. Или: «внести большую лепту», хотя монета, как известно, была мелкая, и пишущему достаточно было на минуту задуматься, чтобы избежать нелепости.

---

*Операторы или словесные протезы.* Они избавляют от труда подыскивать нужные существительные и глаголы и в то же время нагружают предложение лишними слогами, придавая ему вид полновесности. Типичные фразы: *служить подтверждением чего-то, положить начало чему-то, достигнуть взаимопонимания с кем-то, объявить беспощадную борьбу чему-то, проявлять тенденцию к чему-то, послужить делу чего-то, обозначить приоритеты, приложить все усилия для достижения чего-то, прояснить позицию, найти точки соприкосновения, получить право на существование, чинить препятствия, предпринять конкретные шаги, подчеркнуть важность чего-то, дать основание для чего-то.* Идея здесь — исключить простые глаголы. Вместо одного слова: *сломать, остановить, мешать, поправить, убить* — появляется фраза из существительного, прицепленного к глаголу-отмычке: *дать, служить, обеспечить, достигнуть.* Вдобавок, при всякой возможности действительный залог заменяют страдательным и вместо глаголов употребляются отглагольные существительные (*обеспечить усиление* — вместо *усилить*). Банальным утверждениям придается вид глубокомысленных путем конструкции не без-. Простые союзы и предлоги заменяются такими фразами, как: *в отношении чего-то, тот факт, что, в интересах чего-то, с целью чего-то;* а концы предложений спасаются от провалов путем звучных штампов, наподобие: *не исключен вариант развития, оставляет желать лучшего, не подлежит сомнению, заслуживает самого пристального внимания, открывает широкие перспективы.*

*Претенциозная лексика.* Чтобы принарядить простые утверждения и выдать свою предвзятость за научную беспристрастность, пускают в ход такие слова, как: *феномен, элемент, адекватный, объективный, категоричный, виртуальный, фундаментальный, когнитивный.* Чтобы облагородить некрасивые процессы мировой политики, их обвешивают словами вроде: *судьбоносный, исторический, триумфальный, основополагающий, неизбежный, непреклонный, неодолимый,* а прославление войны

склоняет пишущего к архаике: *железный кулак, неприступная твердыня, меч, щит, стяг, клич, воин, полчища, орды, ратный подвиг*. Иностранные слова и выражения вроде *deus ex machina, coup d'état, mutatis mutandis, sic transit, sine qua non, Gleichschaltung, Weltanschauung, ad infinitum*<sup>1</sup> используются, чтобы придать письму культурный и эlegantный вид. Никакой реальной нужды в сотнях иностранных выражений, хлынувших в современный английский язык, нет. Плохие авторы, особенно пишущие на политические, научные и социологические темы, находятся во власти представления, будто латинские и греческие слова благороднее саксонских\*. Марксистский жаргон (*гуена, палач, людоедский, мелкобуржуазный, лакей, прищепник, бешеный пес, белогвардейский* и прочее) состоит в основном из слов и выражений, заимствованных из русского, французского и немецкого языков. Самый доступный способ придумать неологизм — взять латинский или греческий корень, снабдить его соответствующей приставкой и прицепить в конце *-ация* или *-ировать*: *генерализирующий, дезинтеграция, финализация, демифологизировать*. Это гораздо проще, чем подыскивать английское слово с тем же значением. В результате речь становится еще более невнятной и неряшливой.

*Бессмысленные слова.* В некоторых видах литературы, в частности — в литературной и художественной кри-

<sup>1</sup> *Deus ex machina* — бог из машины (лат.); *coup d'état* — государственный переворот (франц.); *mutatis mutandis* — с соответствующими изменениями, с известными оговорками (лат.); *sic transit* — так проходит [земная слава] (лат.); *sine qua non* — неперемное условие (лат.); *Gleichschaltung* — насильственное приобщение к господствующей идеологии (нем.); *Weltanschauung* — мировоззрение (нем.); *Ad infinitum* — до бесконечности (лат.).

\* Интересно, что до последнего времени употреблявшиеся английские названия цветов, вытесняются греческими: *львиный зев* превращается в *antirrhinum, незабудка* в *myosotis* и т. д. Никакой практической причины для этого не видно: по-видимому, мы инстинктивно отворачиваемся от наших обиходных слов, смутно ощущая, что греческое слово — более научное.

тике то и дело встречаются длинные пассажи, почти совсем лишенные смысла\*. Слова *романтическое, пластическое, органика, ценности, человечность, мертвое, естественное, жизненность*, используемые в художественной критике, совершенно лишены смысла, поскольку не только сами не указывают ни на какой поддающийся обнаружению предмет, но и читатель от них этого не ожидает. Когда один критик пишет: «Отличительной чертой произведений господина Икс является их наполненность жизнью», а другой автор пишет: «Первое, что поражает в произведениях господина Икс, — это их особая мертвенность», читатель воспринимает это просто как разные мнения. Если бы вместо жаргонных слов *мертвое* и *живое* говорилось бы *черное* и *белое*, он сразу понял бы, что языком пользуются неправильно. Такой же участи подверглись многие политические слова. Слово *фашизм* потеряло конкретный смысл и означает только «нечто нежелательное». Каждое из слов *демократия, социализм, свобода, патриотический, реалистический, справедливость* имеет несколько разных значений, не совместимых друг с другом. Для *демократии* не только нет общепринятого определения: любой попытке дать его всячески сопротивляются. Большинство людей понимают, что, называя страну демократической, мы ее хвалим; поэтому защитники любого режима настаивают на том, что он демократический, и боятся, что если слову придадут определенное значение, они не смогут его употреблять. Словами такого рода пользуются зачастую нечестно, причем намеренно. То есть чело-

\* Пример: «В универсальности мировосприятия и образного мышления Комфорта, удивительно уитменовского по диапазону и почти полярного по эстетической направленности, по-прежнему ощущается все то же трепетное, атмосферическое, суггестивное присутствие жестокой и неодолимо безмятежной вневременности... Рей Гардинер набирает очки, целя каждый раз точно в яблочко мишени. Только мишени его не так просты, и сквозь эту сдержанную грусть пробивается отнюдь не поверхностная, сладкая, не без привкуса горечи отрешенность». «Поэтри кватерли».

---

век, пользующийся ими, имеет собственное, личное определение, но позволяет своему слушателю думать, что имеет в виду нечто совсем иное. Такие утверждения, как: «Маршал Петен был истинным патриотом», «Советская пресса — самая свободная в мире», «Католическая церковь выступает против преследований» всегда произносятся с намерением обмануть. Другие слова с неопределенным значением, используемые более или менее бесчестно, — *класс, тоталитарный, прогрессивный, реакционный, буржуазный, равенство*.

Теперь, когда я составил этот каталог извращений и надувательств, позвольте привести еще один пример стиля, порождаемого ими. На этот раз он будет воображаемым. Я переведу отрывок, написанный обычным языком, на современный язык худшего сорта. Вот хорошо известный стих из Екклесиаста:

«И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их».

А вот он же на современном языке:

«Объективное рассмотрение современных феноменов приводит к несомненному выводу, что успех и неудача в областях, где доминируют процессы конкуренции, не находятся в однозначном соответствии с природными способностями, и в каждом случае следует учитывать существенный элемент непредсказуемого».

Это пародия, но не очень грубая. Образец 3, приведенный выше, написан на таком же языке. Замечу, что перевод я дал неполный. Начало и конец предложения более или менее передают смысл оригинала, но в середине конкретные примеры — бег, победа, хлеб — исчезают в туманной фразе: «Успех и неудача в областях, где доминируют процессы конкуренции». Так оно и должно быть, потому что ни один из современных авторов, о которых я веду речь, — ни один из тех, кто способен написать: «объективное рассмотрение современных феноменов», — никогда не выразит сво-

---

их мыслей так конкретно и точно. Вся современная проза стремится прочь от конкретности. Теперь разберем эти два предложения немного подробнее. Первое содержит 35 слов и всего 67 слогов, причем почти все слова — обиходные. Второе содержит 34 слова и 103 слога, причем шесть слов — с греческими и латинскими корнями. В первом предложении — шесть ярких образов, и только одно выражение («время и случай») можно назвать неясным. Второе не содержит ни единого свежего оборота речи и, несмотря на 103 слога, дает лишь сокращенную версию того, что содержится в первом. И, однако, именно предложения второго рода размножаются в современной английской речи. Не хочу преувеличивать. Такого рода письмо еще не стало повсеместным, и простота кое-где еще проглядывает, даже на очень скверно написанных страницах. И все же, если вас или меня попросят написать несколько строк о превратностях человеческого жребия, мы сочиним скорее нечто более похожее на мой вариант, чем на Екклесиаста.

Я пытался показать, что писание в его худшем виде состоит не в выборе слов ради их смысла и не в придумывании образов ради того, чтобы этот смысл прояснить. Оно сводится к складыванию словесных блоков, изготовленных другими людьми, и приданию продуктам презентбельного вида с помощью обмана. Привлекательность этого метода — в его простоте. Проще — и даже быстрее, если набил руку, — сказать: «На мой взгляд, можно предположить без особого риска ошибиться...», чем: «Я думаю». Если пользуешься готовыми фразами, то не только не надо подбирать слова, не надо даже беспокоиться о ритме предложений, ибо эти готовые выражения закруглены уже сами по себе. Когда текст составляется в спешке — например, когда диктуешь стенографистке или выступаешь с речью, ты поневоле сбиваешься на претенциозный стиль. Такие хвосты, как: «заслуживает самого пристального внимания» или «открывает широкие перспективы сотрудничества», спасают любое предложение от ухаба в конце. Используя затасканные метафоры и

---

сравнения, ты избавляешь себя от умственных усилий, но ценой того, что смысл становится туманным — не только для читателя, но и для тебя самого. В этом отношении показательны смешанные метафоры. Единственная цель метафоры — вызвать зрительный образ. Когда эти образы сталкиваются: «фашистский спрут пропел свою лебединую песню», «в горнило классовых боев брошены последние козыри реакции», можно не сомневаться, что пишущий не видит мысленно предметов, о которых ведет речь; другими словами, не думает. Взглянем еще раз на примеры в начале статьи. Профессор Ласки (1) использует четыре отрицания в четырех строках. Одно из них лишнее и превращает весь отрывок в бессмыслицу, не говоря уже о неуклюжествах, которые сами по себе затемняют смысл. Профессор Хокбен (2) играет в кошки-мышки с потоком, который выдает предписания. Отметая повседневное выражение «нагнать страху», он не потрудился заглянуть в словарь и выяснить, что такое «вокабула». Если не отнестись снисходительно к примеру (3), то он попросту бессмыслен; смысл, возможно, и удался бы извлечь, если прочесть статью целиком. В (4) автор более или менее знает, что ему надо сказать, но скопление штампов застревает у него в горле, как посудные ополоски в сливе раковины. В (5) слова и смысл почти расстались друг с другом. Смысл у людей, которые так пишут, — скорее, эмоциональный: им что-то не нравится, а с чем-то они согласны, но детали того, что они говорят, их не занимают. Добросовестный автор, сочиняя предложение, задается, как минимум, четырьмя вопросами: Что я пытаюсь сказать? Какими словами это можно выразить? Какой образ или идиома добавят ясности? Достаточно ли свеж для этого образ? А может быть, задаст себе еще два вопроса: Могу ли я выразить это короче? Не выразился ли я коряво, и нельзя ли этого избежать? Но вовсе не обязательно так утруждать себя. Можно увильнуть от этой работы: отключите сдерживающие центры, и готовые фразы хлынут потоком. Они выстроят за вас ваши предложения — даже обдумают за

---

вас ваши мысли (до какой-то степени), — а если надо, окажут еще одну важную услугу, частично скрыв смысл и от вас самих. Именно тут становится ясна особая связь между политикой и порчей языка.

В общем, политическое письмо сегодня — плохое письмо. Там, где это не так, автор выглядит каким-то мятежником, выражает свое личное мнение, а не «линию партии». Ортодоксия любой масти словно требует безжизненного, подражательного стиля. Политические диалекты в брошюрах, передовицах, манифестах, правительственных законопроектах, речах заместителей министров, конечно, разные у разных партий, но все схожи в том, что в них почти никогда не встретишь свежего, яркого, своеобразного оборота речи. Когда видишь на трибуне усталого болтуна, механически повторяющего привычные фразы: *звериный оскал, кровавая тирания, свободные народы мира, встать плечом к плечу*, — возникает странное ощущение, что смотришь не на живого человека, а на манекен, и это ощущение обостряется, если свет падает на очки оратора так, что они превращаются в пустые белые диски, за которыми как будто нет глаз. И это — не только игра воображения. Оратор, пользующийся такой фразеологией, уже сильно продвинулся по пути от человека к машине. Из гортани его выходят надлежащие звуки, но мозг в этом не участвует, как должен был бы, если бы человек сам выбирал слова. Если речь эту он повторял неоднократно, то, возможно, уже не понимает, что говорит, как хорист в церкви. И эта сниженная деятельность сознания — если не обязательный, то весьма обычный элемент политического конформизма.

В наше время политическая речь и письмо в большой своей части — оправдание того, чему нет оправдания. Продление британской власти над Индией, русские чистки и депортации, атомную бомбардировку Японии, конечно, можно оправдать, но только доводами, непереносимо жестокими для большинства людей, — и к тому же они несовместимы с официальными целями политических партий. Поэтому политический язык должен состоять пре-

---

имущественно из эвфемизмов, тавтологий и всяческих расплывчатостей и туманностей. Беззащитные деревни бомбят, жителей выгоняют в чистое поле, скот расстреливают из пулеметов, дома сжигают: это называется *миротворчеством*. Крестьян миллионами сгоняют с земли и гонят по дорогам только с тем скарбом, какой они могут унести на себе: это называется *перемещением населения* или *уточнением границ*. Людей без суда годами держат в тюрьме, убивают пулей в затылок или отправляют умирать от цинги в арктических лагерях: это называется *устранением ненадежных элементов*. Такая фразеология нужна, когда ты хочешь называть вещи, но не хочешь их себе представить. Вообразим на минуту благополучного английского профессора, защищающего русский тоталитаризм. Он не может сказать прямо: «Я считаю, что оппонентов надо убивать, когда это приводит к хорошим результатам». И, вероятно, он скажет что-нибудь в таком роде:

«Безусловно признавая, что советский режим демонстрирует определенные черты, которые гуманист, возможно, будет склонен счесть предосудительными, мы должны, я полагаю, согласиться, что определенное ограничение права на политическую оппозицию является неизбежным компонентом переходных периодов, и что трудности, которые пришлось претерпеть российскому населению, компенсируются прогрессом в производственной сфере».

Напыщенный стиль — тоже своего рода эвфемизм: масса латинских слов и придаточных предложений сыплются на факты как мягкий снег, скрадывая очертания и делая неразличимыми детали. Великий враг чистого языка — неискренность. Когда есть разрыв между вашими истинными целями и провозглашаемыми, вы, так сказать, инстинктивно прибегаете к длинным словам и затрепаным идиомам, как каракатица, выпускающая чернила. В наш век невозможно быть «вне политики». Все проблемы — политические проблемы, а сама политика — это масса лжи, уверток, безрассудств, ненависти и шизофрении. Когда об-

---

щая атмосфера отравлена, страдает и язык. Я полагаю — это догадка, которую мне подтвердить нечем, — что немецкий, русский и итальянский языки испортились за последние десять-пятнадцать лет из-за диктатуры.

Но если мысль уродует язык, то язык тоже может уродовать мысль. Скверный язык распространяется благодаря традиции и подражанию даже среди тех людей, которым хватило бы ума ему сопротивляться. Но этот испорченный язык в каком-то смысле очень удобен. Такие обороты речи, как: *небезосновательное предположение, составляет желать лучшего, соображение, которое ни в коем случае нельзя не брать в расчет*, — постоянный соблазн, пачка аспирина, которая всегда под рукой. Посмотрите еще раз эту статью и вы наверняка обнаружите, что я раз за разом делал те самые ошибки, которые осуждаю. Сегодня утром я получил по почте брошюру о положении в Германии. Автор сообщает мне, что он «почувствовал необходимость» ее написать. Я открываю ее наугад, и чуть ли не первым мне попадается предложение: «[Союзники] имеют возможность не только произвести коренные преобразования социальной и политической структуры Германии таким образом, чтобы избежать националистической реакции в самой Германии, но и в то же время заложить основы сотрудничества и объединения Европы». Видите ли, он «чувствует необходимость» писать — чувствует, по-видимому, что имеет сообщить что-то новое, — и, однако, его слова, как кавалерийские лошади по сигналу горна, послушно выстраиваются в привычный унылый ряд. Этому нашествию готовых фраз (*произвести коренные преобразования, заложить основы*) можно противостоять, только если ты все время начеку, а каждая такая фраза анестезирует часть мозга.

Я сказал вначале, что болезнь нашего языка, возможно, излечима. Те, кто это отрицает, возразят, может быть, что язык только отражает существующие социальные условия, и что мы не можем повлиять на его развитие, подправляя слова и конструкции. В том, что касается общего

---

тона или духа языка, это, возможно, и так — но не в отношении деталей. Глупые слова и выражения часто исчезали, и не благодаря эволюционному процессу, а благодаря сознательным действиям меньшинства. Недавний пример — выражение: *не оставить неперевернутым ни одного камня*<sup>2</sup> было истреблено насмешками нескольких журналистов. Можно было бы избавиться от множества засиженных мухами метафор, если бы нашлись люди, заинтересованные в этой работе, — и так же, смехом, изгнать из повседневной речи кое-какие латинские слова, иностранные выражения, приблудные научные термины и вообще сделать претенциозность немодной. Но все это — второстепенные задачи. Для защиты английского языка требуется гораздо больше; но наверно, лучше начать с того, что для нее не требуется.

Прежде всего, — архаизма, спасения устарелых слов и оборотов речи, а также провозглашения «английской нормы», от которой ни в коем случае нельзя отклоняться. Напротив. Надо избавляться от всех износившихся слов и идиом. Не надо заботиться о безупречности грамматики и синтаксиса — она не так важна, если ты можешь правильно донести свой смысл; не надо избегать американизмов и стремиться к «хорошему стилю», но не надо впадать и в ложную простоту и превращать письменный английский в разговорный. Не надо всякий раз отдавать предпочтение саксонскому слову перед латинским, хотя лучше использовать меньше слов и более коротких, если они способны передать смысл. Но главное — пусть смысл выбирает слова, а не наоборот. Самое худшее, что можно сделать со словами в прозе, — это сдать их на их милость. Когда вы думаете о конкретном предмете, вы думаете без слов, а затем, если хотите описать то, что представили се-

---

<sup>2</sup> «Использовать все доступные средства». После поражения персов при Платеях (477 г. до н. э.) разнесся слух, что погибший военачальник персов *Мардоний* спрятал в своем шатре сокровища. Фиванец *Поликрат* не мог их найти и, обратившись к дельфийскому оракулу, получил ответ: «Не оставить неперевернутым ни одного камня», после чего сокровища были найдены.

---

бе, вы начинаете поиски и находите нужные точные слова. Когда вы думаете о чем-то отвлеченном, вы склонны первым делом хвататься за слово, и, если не удерживаться от этого, сложившийся диалект ринется к вам на помощь, сделает за вас вашу работу — правда, затемнив или даже изменив исходный смысл. Может быть, лучше всего не прибегать к словам, пока вы не проясните для себя смысл через образы и ощущения. А после можно выбирать — не просто *принимать* — слова и обороты, которые лучше всего выразят значение, после чего остановиться и подумать, какое впечатление могут произвести ваши слова на другого человека. Это последнее умственное усилие отрежет все затрепанные и смешанные образы, все готовые фразы, ненужные повторы и вообще всякую чушь и невнятицу. Но часто возникают сомнения в том, как действует ваше слово или фраза, и, когда не подсказывает инстинкт, надо положиться на какие-то правила. Мне кажется, в большинстве случаев пригодны следующие:

1. Никогда не пользоваться метафорой, сравнением или иной фигурой речи, если они часто попадались в печати.
2. Никогда не употреблять длинного слова, если можно обойтись коротким.
3. Если слово можно убрать — убрать его.
4. Никогда не употреблять иностранного выражения, научного или жаргонного слова, если можно найти повседневный английский эквивалент.
5. Лучше нарушить любое из этих правил, чем написать заведомую дичь.

Эти правила выглядят элементарными; они и в самом деле таковы, но от всякого, привыкшего писать в принятом нынче стиле, требуют решительной перемены навыков. Можно все их выполнять и при этом писать на плохом английском, но уже нельзя написать так, как показано было на пяти примерах в начале статьи.

Я говорил здесь не о языке художественной литературы, а только о языке как инструменте для выражения, а

---

не сокрытия или подавления мыслей. Стюарт Чейз<sup>3</sup> и другие были недалеко от мысли, что все абстрактные слова бессмысленны, и под этим предлогом защищали политический квиетизм. Поскольку ты не знаешь, что такое фашизм, как ты можешь бороться с фашизмом? Верить таким нелепостям незачем, но надо понимать, что нынешний политический хаос связан с упадком языка и что некоторых улучшений можно добиться, начав именно с этой стороны. Если вы упростите свой английский язык, вы излечитесь от худших безумств ортодоксии. Вы не сможете говорить ни на одном из наличных диалектов, и если сделаете глупое замечание, глупость его будет очевидна, даже для вас. Политический язык — и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, — предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство — достойным делом, а пустословие звучало солидно. Всё это нельзя переменить в одну минуту, но можно, по крайней мере, изменить свои привычки, а то и отправить — прилюдно их высмеяв, — кое-какие избитые и бесполезные фразы, всякие *ахиллесовы пяты, испытания на прочность, нагнетания обстановки, красные нити, вящие радости, ничтоже сумняшеся, осязтимые подвижки* и прочие словесные отходы в мусорный бак, где им и место.

*апрель 1946 г.*

---

<sup>3</sup> *Стюарт Чейз* (1888–1985) — американский экономист и автор книг по семантике.

---

## Признания рецензента

В холодной, но душевной комнате, служащей одновременно спальней и гостиной, посреди окурков и недопитых чашек чая за шатким столом, заваленным грудями пыльных бумаг, сидит человек в побитом молью халате и старается поудобнее поставить пишущую машинку. Он не смеет выкинуть бумаги, потому, что мусорная корзина уже набита доверху и, кроме того, в кипах писем, ждущих ответа, и неоплаченных счетов может оказаться чек на две гиней — те самые две гиней, которые он почти наверняка забыл переслать в банк в качестве очередного взноса. Вдобавок в письмах есть кое-какие нужные адреса, которые следует занести в записную книжку. Однако записная книжка куда-то подевалась, и от одной мысли разыскать ее или что-нибудь еще в этом бедламе хочется лезть в петлю.

Нашему герою тридцать пять лет, но выглядит он на все пятьдесят. Он лыс, страдает расширением вен и носит очки — вернее, носил бы их, если бы постоянно не терял свою единственную пару. Если дела у него идут нормально, он, как правило, недоедает, если же недавно выдалась полоса везения, то у него до сих пор голова гудит с похмелья.

Сейчас половина двенадцатого, и по плану ему следовало бы приняться за работу ровно два часа назад, но, даже если бы он всерьез попытался взяться за нее, из благого намерения ничего бы не получилось — ему мешали

---

бы непрерывные телефонные звонки, плач ребенка, стук отбойного молотка на мостовой перед окном, тяжелые шаги его кредиторов вверх-вниз по лестнице. Только что второй раз пришел почтальон и вручил ему пачку рекламных проспектов и строгое напоминание налоговой службы, напечатанное красными буквами.

Надо ли говорить, что этот бедняга — писатель? Он может быть романистом или поэтом, сценаристом или писать для радио, потому что все литераторы похожи друг на друга, но допустим, что наш герой — критик-рецензент. Где-то в бумажных Дебрях на столе завалился объемистый пакет с пятью книгами, которые его редактор прислал ему с запиской «обчитать по возможности все сразу». Книги принесли четыре дня назад, но Рецензент, охваченный каким-то духовным параличом, за двое суток не набрался мужества и сил даже вскрыть посылку. Только вчера, в приступе отчаянной решимости, он содрал с пакета шпагат и нашел внутри «Палестину на перепутье», «Научные основы содержания молочной фермы», «Краткую историю европейских демократий» (на 680 страниц и весом в четыре фунта), «Племенные обычаи в португальской Восточной Африке» и роман «Не приятнее ли прилечь?», вложенный, очевидно, по ошибке. Его рецензия объемом примерно три страницы должна быть на столе в редакции самое позднее завтра днем.

Три книги из пяти посвящены предметам, о которых он понятия не имеет, хочешь не хочешь — придется прочитать хотя бы страничек пятьдесят, чтобы не сделать какой-нибудь чудовищный ляп, который выдаст его некомпетентность, причем стыдно будет не только перед автором (который, конечно же, прекрасно осведомлен о повадках рецензентов), но и перед читающей публикой. К четверем пополудни он вытащит книги из пакета, но пока еще физически не способен их раскрыть. Необходимость читать, даже сам запах типографской бумаги действуют на него так, словно ему предстоит съесть застывший пудинг из рисовой муки, приправленный касторкой. И все же материал

---

попадет в редакцию вовремя. Как это ни удивительно, материалы всегда попадают в редакцию вовремя.

Часов в девять вечера голова у рецензента начинает, наконец, кое-что соображать, и он просидит до петухов, привычно просматривая по диагонали книгу за книгой и не замечая, что в комнате становится все холоднее и холоднее, а табачный дым уже висит густым облаком. Откладывая очередной опус, он непременно поморщится: «Боже, что за чушь!». Мрачный и небритый, он проведет утром битый час, уставившись невидящими, покрасневшими от бессонницы глазами на чистый лист бумаги, пока указующая стрелка часов не повергнет его в форменную панику. И тут вдруг в нем как пружина распрямится. Неизвестно откуда начнут выскакивать банальные, стертые обороты: «Едва ли не на каждой странице...», «Особый интерес представляют главы, посвященные...», «...не пропустить эту замечательную книгу» — и вставать на положенные им места, точно железные опилки, притягиваемые магнитом. Рецензия займет ровно три страницы, и точка поставится за три минуты до того, как надо бежать в редакцию. Тем временем почтальон принесет еще одну пачку наспех подобранных и пресных сочинений. Так оно и идет. А с какими радостными надеждами начинал всего лишь несколько лет назад этот измотанный раздражительный человек!

Вы думаете, я преувеличиваю? Спросите любого рецензента, такого, которому приходится обозревать минимум сотню книг в год, посмеет ли он, положив руку на сердце, заявить, что его образ жизни и состояние сильно отличаются от описанных мною. Вообще-то говоря, любой пишущий похож на моего героя, но длительное и неразборчивое рецензирование — чрезвычайно неблагоприятная, нервная и изнурительная работа. Дело не только в том, что приходится хвалить всякую чепуху — хотя и в этом тоже, как я постараюсь доказать, — но и в том, что он искусственно создает общественное мнение о книге, которая ему самому глубоко безразлична. Как бы ни был замо-

---

тан рецензент, он все равно сохраняет профессиональный интерес к книге, однако из тысяч и тысяч изданий, появляющихся каждый год, хорошо, если наберется полсотни, ну, пусть сотня таких, о которых ему захотелось бы написать. Если рецензент — заметная личность в своей области, он может заполучить десяток-другой интересных книг; скорее же всего, он вынужден будет довольствоваться двумя-тремя. Что до разбора остальных, то при всей добросовестности обозревателя его похвалы или порицания есть чистейшая халтура. Его драгоценнейшая духовная энергия будет стаканами изливаться в трубу.

Подавляющее большинство рецензий дают неполное, а то и превратное представление о книгах, которые в них разбираются. После войны издатели не смеют, как раньше, нажимать на литературные журналы, требуя от них непременно восхваления каждого выпускаемого ими сочинения, но, с другой стороны, из-за недостатка журнальной площади и других неблагоприятных обстоятельств резко упал уровень рецензирования. Озабоченные состоянием дел, некоторые усматривают выход в том, чтобы отнять рецензирование у ремесленников. Книги по узким отраслям знания должны попадать на отзыв к специалистам, а рецензирование, допустим, романов можно поручать любителям литературы. Почти любая книга способна вызвать горячий отклик у того или иного читателя, пусть даже самое решительное неприятие, зато его мнение о ней гораздо ценнее отписки загруженного и равнодушного профессионала. К сожалению, каждый редактор знает, как трудно наладить такое рецензирование. На практике он вынужден опираться на группу ремесленников, которую он называет своим «активом».

Нет, положение непоправимо, пока мы исходим из убеждения, что каждая книга должна быть обязательно отрецензирована. Обозревая издательскую продукцию скопом, мы неизбежно преувеличиваем достоинства большинства сочинений. Только при внимательном, высокопрофессиональном подходе выясняется, что основная масса книг

---

безнадёжно плоха. В девяти случаях из десяти, а то и чаще единственно объективный и правдивый отзыв должен быть таким: «Эта книга никуда не годится», — тогда как рецензент, скорее всего, скажет: «Эта книга абсолютно не интересует меня, но я напишу о ней, если мне прилично заплатят». Но публика не хочет платить деньги за то, чтобы прочитать, что он напишет. С какой стати? Публике нужен какой-нибудь путеводитель по книгам, которые ей предлагают прочитать, какая-нибудь оценка. Однако как только заходит речь об оценке, все критерии рушатся. Ибо если кто-нибудь изрекает — а едва ли не каждый рецензент изрекает такое, по крайней мере, раз в неделю, — что «Король Лир» — превосходная пьеса, а «Четверо справедливых мужчин» — превосходный боевик, то какой, спрашивается, смысл вкладывается в эпитет «превосходный»?

Мне всегда казалось, что лучше всего просто не замечать подавляющее большинство выпускаемых книг и давать большие рецензии, страниц на пять-шесть минимум, лишь на некоторые, действительно заслуживающие внимания. Короткие, в три-четыре строки аннотации на новые издания могут сослужить известную службу, однако практикуемое обозрение множества сочинений на трех страницах совершенно бесполезно, даже если рецензент искренне старается написать его хорошо. Да он и не старается. Выдавая изо дня в день и неделя за неделей «материал» со своими разрозненными впечатлениями, он скоро делается той самой помятой фигурой в халате, которую я описал вначале. Он может, правда, утешаться тем, что каждый в этом мире находит человека, на которого имеет право взирать свысока. Из личного опыта в обеих областях я утверждаю, что книжный рецензент находится в лучшем положении, чем кинокритик. Тот вообще лишен возможности работать дома, так как обязан посещать утренние показы и, за редчайшим исключением, вынужден продавать перо и марать свое доброе имя за бокал дешевого хереса.

*3 мая 1946 г.*

---

## Джеймс Бёрнем и революция менеджеров

Книга Джеймса Бёрнема «Революция менеджеров» сразу после выхода наделала шума и в Соединенных Штатах, и у нас в стране, и главную его идею столько обсуждали, что нет нужды пересказывать ее подробно. Изложу ее, насколько могу, кратко.

Капитализм исчезает, но на смену ему идет не социализм. Возникает новый тип планового, централизованного общества, которое не будет ни капиталистическим, ни в каком бы то ни было принятом смысле слова демократическим. Правителями этого нового общества будут те, кто фактически управляет средствами производства: администраторы компаний, техники, бюрократы и военные, которых Бёрнем объединяет под именем «менеджеров». Эти люди устранят прежний класс капиталистов, сокрушат рабочий класс и организуют общество таким образом, что вся власть и экономические привилегии останутся в их руках. Права частной собственности будут отменены, но не будет и общественной собственности. Новый мир не будет пестрым собранием маленьких независимых государств, а будет состоять из громадных сверхгосударств, сложившихся вокруг главных промышленных центров Европы, Азии и Америки. Эти сверхгосударства будут сражаться за еще не захваченные части земли, но, вероятно, ни одно не сможет достичь окончатель-

---

ной победы. Все они будут иерархическими: аристократия способных наверху и масса полубрабов внизу.

В своей следующей книге «Макиавеллисты» Бёрнем разрабатывает и видоизменяет первоначальную концепцию. Большая часть книги посвящена изложению теорий Макиавелли и его современных учеников — Моски, Михельса и Парето<sup>1</sup>; к ним Бёрнем без особых оснований присоединяет синдикалистского автора Жоржа Сореля. В первую очередь Бёрнем стремится доказать, что демократическое общество никогда не существовало и, насколько мы можем судить, никогда существовать не будет. Общество по природе своей олигархично, и власть олигархии всегда зиждется на силе и обмане. Бёрнем не отрицает, что в частной жизни могут действовать «благие» мотивы, но политика представляет собой борьбу за власть и ничего более. Все исторические перемены, в конечном счете, сводятся к замене одного правящего класса другим. Все разговоры о демократии, свободе, равенстве, братстве, все революционные движения, все проекты утопий, «бесклассового общества» или «царства Божия на земле» — обман (не обязательно умышленный), за которым кроются устремления какого-то нового класса, протискивающегося к власти. Английские пуритане, якобинцы, большевики просто рвались к власти, используя надежды масс для того, чтобы добиться привилегированного положения. Власть иногда можно захватить и удерживать без насилия, но никогда — без обмана, потому что необходимо воспользоваться массами, а массы поддерживать не будут, если поймут, что служат только целям меньшинства. Во всякой революционной борьбе массы движимы смутными мечтами о человеческом братстве, а затем, когда новый правящий класс закрепляется у власти, их снова превращают в рабов. Вот, в сущности, и вся политическая история, как ее видит Бёрнем.

---

<sup>1</sup> *Газтано Моска* (1858–1941) — итальянский социолог, юрист. *Вильфредо Парето* (1848–1923) — итальянский социолог, экономист. *Роберт Михельс* (1876–1936) — немецкий социолог, экономист, историк.

---

В отличие от предыдущей книги, в «Макиавеллистах» проводится мысль, что под этот процесс можно подвести мораль, если отнестись к фактам честнее. «Макиавеллисты» снабжены подзаголовком: «Защитники свободы». Макиавелли и его последователи учили, что порядочности в политике просто не существует и, тем самым, утверждает Бёрнем, позволили вести политические дела более разумно и менее деспотично. Правящий класс, понявший, что его подлинная цель — удержаться у власти, поймет также, что это скорее удастся ему, если он будет заботиться об общем благе, избежит окостенения, не превратится в наследственную аристократию. Бёрнем придает большое значение теории «круговорота элит» Парето. Если правящий класс хочет оставаться у власти, он должен постоянно привлекать новых членов из низших слоев, так, чтобы наверху постоянно находились способные люди, и не мог сформироваться новый класс недовольных и алчущих власти. По мнению Бёрнема, это, скорее всего, достижимо в обществе, где сохраняются демократические обычаи, то есть позволено существовать оппозиции, и определенные институты, такие, как пресса и профсоюзы, обладают автономией. Тут Бёрнем явно противоречит своим прежним утверждениям. В «Революции менеджеров», написанной в 1940 году, считается очевидным, что «менеджеристская» Германия во всех отношениях дееспособнее капиталистических демократий, подобных Франции и Британии. Во второй книге, написанной в 1942 году, Бёрнем признаёт, что немцы могли бы избежать некоторых важнейших стратегических ошибок, если бы допустили свободу слова. Однако от основного тезиса Бёрнем не отступил. Капитализм обречен, а социализм — греза. Если мы поймем, в чем состоит проблема, то сможем в какой-то мере управлять ходом революции менеджеров, но революция уже происходит, нравится нам это или нет. В обеих книгах, особенно в первой, чувствуется, что автор получает удовольствие от жестокости описываемых процессов. Хотя Бёрнем не раз повторяет, что всего лишь констатиру-

---

ет факты и не высказывает своих пристрастий, ясно, что он очарован зрелищем власти, и что симпатии его были на стороне Германии, пока казалось, что Германия побеждает в войне. Более позднее эссе «Наследник Ленина», опубликованное в «Партизан ревью» в начале 1945 года, свидетельствует о том, что он перенес свои симпатии на СССР. «Наследник Ленина» вызвал яростные споры в американской левой прессе, но в Англии еще не опубликован, и я вернусь к нему позже.

Строго говоря, теория Бёрнема не нова. До него многие предсказывали появление нового общества, не капиталистического, не социалистического, а, вероятно, основанного на рабстве; хотя, в отличие от Бёрнема, не считали такой ход событий неизбежным. Хороший пример — книга Хиллара Беллока «Государство рабов», опубликованная в 1911 году. Книга написана утомительно, и лекарство, которое она предлагает (возвращение к мелким крестьянским владениям), по многим причинам невозможно; однако в ней с удивительной проницательностью предсказаны процессы, начавшиеся около 1930 года. Не в такой методической форме Честертон предсказал исчезновение демократий и частной собственности и возникновение рабского уклада, который можно назвать и коммунистическим, и капиталистическим. Джек Лондон в «Железной пяте» (1909) предугадал некоторые существенные черты фашизма, а в книгах «Когда спящий проснется» Уэллса (1900), «Мы» Евгения Замятина (1923) и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1930) описаны воображаемые миры, где разрешены особые проблемы капитализма, но свобода, равенство и подлинное счастье нисколько не приблизились. Позже такие авторы, как Питер Дракер и Ф. Войт доказывали, что фашизм и коммунизм — по существу, одно и то же. В самом деле, давно уже ясно, что плановое централизованное общество склонно вырождаться в олигархию или диктатуру. Ортодоксальные консерваторы не способны были это понять: их утешала мысль, что социализм «не получится» и

---

что исчезновение капитализма будет означать хаос и анархию. Не могли понять этого и ортодоксальные социалисты: им хотелось думать, что вскоре они сами придут к власти, и поэтому полагали, что когда исчезнет капитализм, социализм придет ему на смену. В результате рождение фашизма оказалось для них непредвиденным, и они не смогли правильно предсказать его поведение. Позже, стремясь оправдать расистскую диктатуру и затушевать очевидное сходство между коммунизмом и нацизмом, они запутались еще больше. Однако в идее, что индустриализм должен перерасти в монополию, а монополия неизбежно означает тиранию, нет ничего ошеломляюще нового.

Отличие же Бёрнема от большинства других мыслителей в том, что он пытается точно спрогнозировать ход «революции менеджеров» в мировом масштабе и полагает, что сползание к тоталитаризму неизбежно, противиться ему не надо, но его можно направлять. В 1940 году Бёрнем пишет, что «менеджеризм» достиг наивысшего развития в СССР, но почти так же развит в Германии и уже заявил о себе в Соединенных Штатах. «Новый курс» он характеризует как «примитивный менеджеризм». Но тенденция эта наблюдается повсюду или почти повсюду. Неконтролируемый капитализм уступает место планированию и государственному вмешательству, собственник уступает власть технику и бюрократу, но признаков появления социализма — то есть того, что называлось социализмом, — не наблюдается:

«Некоторые апологеты пытаются оправдать марксизм, говоря, что у него «никогда не было возможности утвердиться». Это далеко от истины. Марксизм и марксистские партии имели десятки возможностей. В России марксистская партия пришла к власти. Очень скоро она отказалась от социализма — если не на словах, то на деле. В последние месяцы первой мировой войны и в первые годы после нее социальные кризисы в большинстве европейских стран открыли двери для марксистских партий —

---

и все они без исключения оказались не способны взять и удержать власть. Во многих странах — в Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Австрии, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Франции — реформистские марксистские партии играли ведущую роль в правительствах и все оказались неспособны построить социализм или сделать решительные шаги к социализму.. В каждом историческом испытании — а их было много, — эти партии либо не сумели привести страну к социализму, либо отказались от него. Этот факт не в силах отрицать ни злейший враг, ни самый пламенный поклонник социализма. Этот факт отнюдь не компрометирует моральную сторону социалистического идеала, как полагают некоторые. Но он неопровержимо свидетельствует о том, что социализм, каковы бы ни были его моральные качества, никогда не наступит».

Бёрнем, конечно, не отрицает, что новые «менеджеристские» режимы, подобные российскому и режиму нацистской Германии, могут быть *названы* социалистическими. Он просто имеет в виду, что они не будут социалистическими в том смысле, в каком понимали социализм Маркс, или Ленин, или Кейр Харди, или Уильям Моррис<sup>2</sup>, да и любой типичный социалист примерно до 1930 года. Социализм до недавнего времени подразумевал политическую демократию, социальное равенство и интернационализм. Ни малейших признаков движения к этому не наблюдается нигде, и единственная великая страна, где произошло нечто, называемое пролетарской революцией, то есть СССР, неуклонно отходила от прежней концепции свободного эгалитарного общества, устремленного к всеобщему братству людей. Чуть ли не с первых дней революции свободу там отнимали по кусочкам, представительные ор-

---

<sup>2</sup> *Кейр Харди* — основатель Независимой рабочей партии Великобритании (1893), лидер лейбористской партии с момента ее возникновения. *Уильям Моррис* (1834–1896) — английский художник и писатель, социалист, участник рабочего движения.

---

ганизации душились, неравенство росло, а национализм и милитаризм набирали силу. Но в то же время, настаивает Бёрнем, ничто не говорило о возвращении к капитализму. Происходил просто рост «менеджеризма», согласно Бёрнему, наступающего повсеместно, хотя в разных странах он может развиваться по-разному.

Да, как описание того, что *происходит*, теория Бёрнема весьма правдоподобна, если не сказать больше. Во всяком случае, то, что в последние пятнадцать лет происходило в СССР, гораздо проще объяснить его теорией, чем какой-либо другой. Ясно, что СССР не социалистическая страна и может быть названа социалистической, если только придать этому слову не тот смысл, какой оно имело бы в любом другом контексте. С другой стороны, предсказания, что русский режим свернет к капитализму, всякий раз не оправдывались и теперь представляются как никогда далекими от истины. Утверждая, что в нацистской Германии процесс зашел почти так же далеко, Бёрнем, вероятно, преувеличивает, но ясно, что и там движение идет от прежнего капитализма к плановой экономике и постоянно обновляемой олигархии. В России капиталистов уничтожили первыми, а рабочих задавили потом. В Германии раньше сокрушили рабочих; устранение же капиталистов, во всяком случае, началось, и расчеты, основанные на предположении, что нацизм — «просто капитализм», неизменно опровергались событиями. Сильнее всего заблуждается Бёрнем, когда говорит, что «менеджеризм» на подъеме в Соединенных Штатах: это единственная великая держава, где свободный капитализм еще полон сил. Но если рассматривать мировую тенденцию в целом, то с его выводами трудно не согласиться; даже в Соединенных Штатах всеобщая вера в свободное предпринимательство может не пережить следующего большого экономического кризиса. Бёрнема упрекали в том, что он придает слишком большое значение «менеджерам» в узком значении слова — то есть, директорам заводов, плановикам и техникам — и, по-видимому, допускает, что даже в Советском Союзе именно эти люди, а не

---

руководство коммунистической партии, обладают реальной властью. Но это — второстепенная ошибка, и она исправлена в «Макиавеллистах». Настоящий вопрос не в том, как называются люди, которые в следующие пятьдесят лет будут вытирать о нас ноги, — менеджерами, бюрократами или политиками: вопрос в том, что придет на смену обреченному капитализму — олигархия или подлинная демократия.

Но вот что любопытно: когда изучаешь предсказания, сделанные Бёрнемом на основе его общей теории, оказывается, что в той мере, в какой они доступны проверке, они не подтвердились. На это указывали уже многие. Однако рассмотрим предсказания Бёрнема в деталях, поскольку они образуют некую систему, которая связана с современными событиями и обнажает, по-моему, очень важные слабости современной политической мысли.

Начнем с того, что в 1940 году Бёрнем говорит о победе немцев как о чем-то самоочевидном. «Британия разлагается» и обнаруживает «все характеристики, свойственные декадентским культурам в переходные периоды истории», а завоевание и объединение Европы, достигнутые Германией к 1940 году, необратимы». «Англия, — пишет Бёрнем, — даже с помощью любых неевропейских союзников не имеет шансов завоевать европейский континент». Даже если Германия как-то умудрится проиграть войну, она не будет расчленена и низведена до статуса Веймарской республики, но останется ядром объединенной Европы. Основные контуры будущей карты мира с тремя мощными сверхдержавами уже сложились, и «ядрами» этих трех сверхдержав, как бы они ни назывались в будущем, являются ныне существующие страны — Япония, Германия и Соединенные Штаты».

Бёрнем решается утверждать, что Германия не нападет на СССР, пока не разгромит Британию. В сокращенном варианте, опубликованном в «Партизан ревью» за май 1941 года и написанном, по-видимому, после самой книги, он говорит:

---

«И для России, и для Германии третья часть менеджеристской проблемы — схватка за господство с другими частями менеджеристского общества, — дело будущего. Прежде надо было нанести смертельный удар капиталистическому миропорядку, что означало в первую очередь разрушение основ Британской империи (краеугольного камня капиталистического миропорядка) — и непосредственно, и через подрыв европейской политической структуры, которая была необходимой опоркой для империи. В этом и заключается основная причина нацистско-советского пакта, который иначе объяснить нельзя. Грядущий конфликт между Германией и Россией будет собственно менеджеристским конфликтом; прежде, чем начнутся великие мировые менеджеристские игры, уничтожен должен быть капиталистический порядок. Тот тезис, что нацизм — “выродившийся капитализм”... не позволяет разумно объяснить нацистско-советский пакт. В соответствии с этим тезисом должна была бы произойти давно ожидаемая война между Германией и Россией, а не происходящая ныне смертельная схватка между Германией и Британской империей. Война между Германией и Россией — одна из менеджеристских войн будущего, а не антикапиталистических войн вчерашнего дня и сегодняшнего».

Но нападение на Россию будет, и Россия наверняка или почти наверняка потерпит поражение. «Есть все основания полагать, что Россия расколется на западную часть, тяготеющую к европейской базе, и на восточную — к азиатской». Это цитата из «Революции менеджеров». В статье, процитированной выше, которая написана, вероятно, шесть месяцами позже, это утверждается более решительно: «Слабости России показывают, что Россия не сможет устоять, что она расколется на западную и восточную части». А в сопроводительной заметке, добавленной к английскому изданию и написанной, по-видимому, в конце 1941 года, Бёрнем говорит так, как будто «раскол» уже происходит. Война, говорит он, «это один из факто-

---

ров, благодаря которым западная часть России интегрируется в европейское сверхгосударство». Приведа эти предсказания в порядок, получаем следующее:

1. Германия должна победить в войне.

2. Германия и Япония сохранятся как великие державы и как центры объединения соответствующих областей.

3. Германия не нападет на СССР, пока не разгромит Британию.

4. СССР потерпит поражение.

Но Бёрнем выступал и с другими предсказаниями, кроме этих. Летом 1944 года в короткой статье в «Партизан ревью» он высказывает мнение, что СССР стукнется с Японией, дабы предотвратить поражение последней, а американским коммунистам прикажут саботировать войну на тихоокеанском фронте. И, наконец, в том же журнале зимой 1944–1945 годов он утверждает, что Россия, еще недавно «раскалывавшаяся», вот-вот завоюет всю Евразию. Эту статью, вызвавшую яростные споры среди американской интеллигенции, в Англии не перепечатали. Я кратко перескажу ее здесь, потому что по своему подходу и эмоциональному тону она весьма характерна, и, проанализировав их, мы подберемся ближе к корням теории Бёрнема.

Статья называется «Наследник Ленина» и имеет целью доказать, что Сталин — истинный и законный продолжатель русской революции, которую он ни в коем случае не «предал», но развивает в направлении, заложенном в ней изначально. Само по себе это утверждение выглядит более правдоподобно, чем обычный троцкистский тезис, что Сталин — просто жулик, который извратил революцию в корыстных целях, и дела бы пошли по-другому, если бы жив был Ленин или оставался у власти Троцкий. На самом деле, нет особых причин думать, что развитие страны пошло бы другим путем. Зачатки тоталитарного общества были вполне очевидны еще до 1923 года. Ленин — один из тех политиков, которые приобрели незаслуженную репутацию благодаря преждевремен-

---

ной смерти\*. Проживи Ленин дольше, он, вероятно, был бы выброшен из страны, как Троцкий, или удерживал власть такими же или примерно такими же варварскими методами, как Сталин.

Таким образом, заглавие статьи Бёрнема содержит здравую идею, и можно было бы ожидать, что он подкрепит ее фактами. Однако в статье он едва касается заявленной темы. Ясно, что если ты, в самом деле, желаешь показать преемственность сталинской политики по отношению к ленинской, начать надо с описания политики Ленина, а затем объяснить, в чем схожа с ней политика преемника. Бёрнем этого не делает. Если не считать двух-трех фраз, брошенных мимоходом, он ничего не говорит о политике Ленина, и на двенадцати страницах имя Ленина упоминается всего пять раз; на первых семи страницах, не считая заглавия, оно вообще не встречается. Подлинная цель статьи — представить Сталина исполинской, сверхчеловеческой фигурой, прямо-таки полубогом, а большевизм — неодолимой силой, которая покоряет землю и не остановится, пока не достигнет самых дальних окраин Евразии. В доказательство своей идеи Бёрнем лишь повторяет снова и снова, что Сталин «великий человек». Возможно, это и так, но к делу почти не имеет отношения. Кроме того, хотя он и приводит некоторые солидные доводы в доказательство гениальности Сталина, ясно, что в его сознании идея «величия» безнадежно перепуталась с идеей жестокости и бесчестности. Есть любопытные пассажи и, как можно понять из них, Сталиным надо восхищаться потому, что он причинил бесчисленные страдания:

---

\*Трудно вспомнить политика, который дожил бы до восьмидесяти и все еще считался удачливым. Когда мы говорим о «великом» государственном деятеле, мы обычно имеем в виду человека, умершего прежде, чем его политика успела принести свои плоды. Если бы Кромвель прожил еще несколько лет, то, вероятно, лишился бы власти, и теперь мы считали бы его неудачником. Если бы Петен умер в 1930 году, Франция почитала бы его как героя и патриота. Наполеон однажды заметил, что если бы при въезде в Москву он был убит пушечным ядром, то остался бы величайшим человеком в истории.

---

«Сталин показывает себя «великим человеком» в грандиозном стиле. Рассказы о московских банкетах, устраиваемых в честь почетных гостей, задают символический тон. Необъятные меню с осетриной, жареным мясом, дичью и сладостями, потоки спиртного, десятки тостов, безмолвные, неподвижные офицеры тайной полиции за спиной каждого гостя, — все это на зимнем фоне вымирающего блокадного Ленинграда, миллионов убитых на фронте, переполненных концлагерей, городского населения, обретающегося между жизнью и смертью на скудных пайках, — тут нет ничего от унылой посредственности, от власти Бэббитов. Мы узнаём здесь традиции самых импозантных русских царей, великих царей Мидии и Персии, ханов Золотой Орды, пиров, которыми мы украшали жизнь боговолимпийцев в знак того, что надменность, безразличие и жестокость в таких масштабах возвышает человека над смертными... Политические методы Сталина демонстрируют не совместимую с посредственностью свободу от общепринятых ограничений: посредственный человек — раб обычаев. Часто именно масштаб действий делает людей выдающимися. Человеку, вовлеченному в практическую жизнь, иногда случается возвести на кого-то поклеп. Но поклеп на десятки тысяч людей, на целые слои общества, включая большинство своих же товарищей, — дело настолько из ряда вон выходящее, что со временем массы начинают верить ему — верить, по крайней мере, что в нем «есть доля правды», — или же приходят к выводу, что такой безграничной власти — «исторической необходимости», как выражаются интеллигенты, — можно только подчиниться... Нет ничего необычного в том, чтобы уморить голодом несколько человек из государственных соображений; но намеренно уморить голодом несколько миллионов — такого рода деяния приписывают только богам».

В этом и в других подобных пассажах, вероятно, есть оттенок иронии, но трудно не почувствовать в них и некой очарованности, восхищения. В конце статьи Бёрнем сравнивает Сталина с полумифическими героями

---

вроде Моисея или Ашоки, воплотившими в себе целую эпоху и законно стяжавшими славу подвигами, которых на самом деле не совершали.

Говоря о советской внешней политике и ее предполагаемых целях, он впадает в еще более мистический тон:

«Из магнитного сердечника Евразии советская мощь, подобно реальности Единого у неоплатоников, изливается нисходящими ступенями эманаций вовне — к западу в Европу, к югу на Ближний Восток, к востоку в Китай, уже выплескиваясь на берега Атлантики, Желтого и Китайского морей, Средиземного моря и Персидского залива. Как неразложимое Единое нисходит через ступени Духа, Души и Материи, чтобы затем через фатальное Возвращение воссоединиться с собой, так и советская мощь, истекающая из интегрально-тоталитарного центра, распространяется вовне этапами Поглощения (прибалтийские страны, Бесарабия, Буковина, Восточная Польша), Подчинения (Финляндия, Балканы, Монголия, Северный Китай и завтра — Германия), Ориентирующего влияния (Италия, Франция, Турция, Иран, Центральный и Южный Китай...), откуда не растворяется во внешней материальной сфере за границами Евразии кратковременным Умиротворением и Инфильтрацией (Англия, Соединенные Штаты)».

Подозреваю, что ненужные заглавные буквы, которыми изобилует этот пассаж, имеют целью загибнуть читателя. Бёрнем пытается нарисовать картину устрашающей, неодолимой мощи и, превращая нормальный политический маневр вроде инфильтрации в Инфильтрацию, придает ей еще более зловещий характер. Эту статью надо прочесть целиком. Хотя рядовой русофил такой похвале едва ли обрадуется, и, хотя сам Бёрнем, вероятно, будет утверждать, что он строго объективен, по сути, это похвальная речь, в которой слышатся даже нотки самоуничтожения. Между тем, статья эта — еще одно пророчество, которое мы можем добавить к нашему списку, — а именно, что СССР завоюет всю Евразию, а может, и гораздо больше. И надо помнить, что сама теория Бёрнема со-

---

держит в себе предсказание, которое еще ожидает проверки: как бы ни пошли события, «менеджеристская» форма общества непременно восторжествует. Более раннее пророчество Бёрнема — победа немцев в войне и объединение Европы вокруг германского ядра — оказалось ложным не только в целом, но и в некоторых важных деталях. Бёрнем везде настаивает, что «менеджеризм» не только более эффективен, чем капиталистическая демократия и марксистский социализм, но и более приемлем для масс. Лозунги демократии и национального самоопределения, говорит он, уже не привлекают массу; «менеджеризм» же способен вызвать энтузиазм, обозначить понятные военные цели, организовать повсюду пятые колонны и вдохнуть в солдат фанатический дух. «Фанатизм» немцев, в противоположность «апатии» или «безразличию» британцев, французов и прочих, отмечается неоднократно, а нацизм предстает революционной силой, захлестывающей Европу и распространяющей свою философию путем «инфицирования». Нацистские пятые колонны «нельзя истребить», и демократические страны не способны предложить мироустройство, которое предпочли бы новому порядку массы немецкого и других европейских народов. В любом случае, демократии могут победить Германию, лишь если «продвинутся по пути менеджеризма еще дальше, чем на нынешний день Германия».

Во всем этом можно усмотреть лишь одно зерно истины: малые европейские государства, деморализованные хаосом и застоём предвоенных лет, рухнули гораздо быстрее, чем следовало бы, и, возможно, приняли бы «новый порядок», если бы немцы сдержали часть своих обещаний. Но реальность немецкого владычества оказалась такова, что почти сразу вызвала яростную ненависть и жажду мести, редко виданные в истории. Начиная с 1941 года о позитивных целях войны уже не было речи — достаточной целью было избавиться от немцев. Проблема морального духа и его отношения к национальной солидарности — туманная проблема, и, манипулируя фактами, можно дока-

---

зять почти всё, что угодно. Но если судить по пропорции военнопленных в общем количестве потерь и по размерам коллаборационизма, тоталитарные страны не идут ни в какое сравнение с демократиями. За время войны сотни тысяч русских перешли на сторону немцев, и в сравнимых количествах итальянцы и немцы перебежали к союзникам до войны; численность же американских и британских ренегатов измеряется десятками. Доказывая неспособность «капиталистических идеологий» заручиться поддержкой, Бёрнем говорит о «полном провале добровольного военного набора в Англии (а также во всей Британской империи) и в Соединенных Штатах». Отсюда можно заключить, что армии тоталитарных государств состоят из добровольцев. На самом деле ни одно тоталитарное государство даже не думало о добровольном наборе для каких бы то ни было надобностей, и на всем протяжении истории ни одна большая армия не набиралась из добровольцев\*. Нет смысла перечислять другие подобные аргументы Бёрнема. Суть в том, что, по его мнению, немцы победят и в войне, и на пропагандистском фронте, но в Европе, по крайней мере, его ожидания не оправдались.

Мы увидим, что предсказания Бёрнема не только не подтвердились дальнейшими событиями, но и порой противоречили друг другу самым разительным образом. И это последнее весьма существенно. Политические предсказания, как правило, ошибочны, потому что их авторы принимают желаемое за действительное — иногда они могут служить симптомами, особенно если резко меняются. И часто их выдает дата. Сопоставляя датировку сочине-

---

\* В начале первой мировой войны Великобритания набрала миллион добровольцев. Это, наверное, мировой рекорд, но на людей оказывалось разного рода давление, и потому сомнительно, что набор может считаться добровольным. Даже в самых «идеологических» войнах люди сражались, главным образом, по принуждению. В английской гражданской войне, наполеоновских войнах, в американской гражданской войне, в испанской гражданской войне и т. д. с обеих сторон действовала воинская повинность или специальные отряды вербовщиков.

---

ний Бёрнема с происходившими одновременно событиями, мы получаем следующую закономерность.

В «Революции менеджеров» Бёрнем предсказывает победу Германии, начало русско-германской войны после поражения Британии и затем поражение России. Эта книга или большая ее часть написана во второй половине 1940 года, то есть в то время, когда Германия захватила Западную Европу, бомбила Британию, а русские тесно с ней сотрудничали, стремясь, по-видимому, ее умиротворить.

В дополнении к английскому изданию книги Бёрнем, судя по всему, полагает, что СССР уже разгромлен, и начался его распад. Это было напечатано весной 1942 года, а написано, по-видимому, в конце 1941-го, то есть когда немцы подошли к Москве.

С предсказанием, что Россия объединится с Японией против США, Бёрнем выступил в начале 1944 года, вскоре после заключения нового русско-японского договора.

Что Россия завоюет весь мир, Бёрнем предсказал зимой 1944 года, когда русские войска стремительно наступали в восточной Европе, а западные союзники застряли в Италии и в северной Франции.

Видно, что каждый раз Бёрнем предсказывает *продолжение того, что уже происходит*. Метод этот — не просто плохая привычка, вроде неточности или преувеличения, которую можно исправить, подумав. Это серьезная психическая болезнь, и корни ее — отчасти в трусости, а отчасти в преклонении перед силой, которая не вполне отличается от трусости.

Предположим, в 1940 году Гэллап провел опрос в Англии: «Выиграет ли Германия войну?». Как ни странно, выяснилось бы, что в группе, ответившей «Да», гораздо выше процент интеллигентных людей — людей с показателем умственного развития, скажем, больше 120, — чем в группе, ответившей «Нет». То же самое было бы в середине 1942 года. В этом случае цифры не так сильно различались бы, но если спросить: «Захватят ли немцы Александрию?» или «Сумеют ли японцы удержать захваченные

---

территории?» — то и тут в группе «Да» был бы заметный перевес интеллигенции. Во всех случаях менее развитый человек скорее дал бы правильный ответ.

Если исходить из таких примеров, можно было бы подумать, что высокое умственное развитие и неверные суждения в военных вопросах всегда идут рука об руку. Но дело обстоит не так просто. Пораженческих настроений среди английской интеллигенции было больше, чем среди простого народа, и у некоторых интеллигентов они сохранились, когда дело явно шло к победе. Объясняется это отчасти тем, что интеллигенты лучше представляли себе тяготы грядущих военных лет. Моральный дух у них был ниже, потому что сильнее было воображение. Самый быстрый способ закончить войну — проиграть ее, и если перспектива долгой войны для тебя невыносима, естественно разувериться в возможности победы. Но это лишь частичное объяснение. Многие интеллигенты были недовольны властью, из-за чего им трудно было удержаться от сочувствия любой стране, враждебной Британии. А еще глубже того жило восхищение — хотя и редко когда осознанное — силой, энергией и жестокостью нацистского режима. Полезно, хотя и утомительно было бы перечислять левую прессу и подсчитать все враждебные отзывы о нацизме за годы с 1935-го по 1945-й. Почти не сомневаюсь, что они достигли бы пика в 1937–1938 и в 1944–1945 годах, и число их заметно упало бы в 1939–1942, то есть в тот период, когда Германия как будто побеждала. Выяснилось бы, кроме того, что одни и те же люди призывали к компромиссному миру в 1940 году и к расчленению Германии в 1945-м. А если проследить отношение английской интеллигенции к СССР, то и там обнаружилось бы подлинно прогрессивные импульсы, но наряду с ними — восхищение силой и жестокостью. Было бы крайне несправедливо утверждать, что преклонение перед силой — единственная причина русофильских настроений; но это одна из причин, и среди интеллектуалов, вероятно, самая главная.

---

Преклонение перед силой мешает политическому здравомыслию, ибо почти неизбежно ведет к убеждению, что сегодняшние тенденции сохранятся. Тот, кто одерживает верх сегодня, кажется и в будущем неуязвимым. Если японцы захватили южную Азию, значит, они будут удерживать ее всегда; если немцы захватили Тобрук, то непременно захватят и Каир; если русские в Берлине, то скоро будут и в Лондоне, и так далее. При таком образе мыслей человеку представляется, что перемены будут более быстрыми, решительными и катастрофическими, чем бывает на самом деле. Возвышение и крах империй, исчезновение культур и религий, по его расчетам, должны происходить с внезапностью землетрясения, а о процессах едва начавшихся, он говорит так, как будто они уже завершаются. Тексты Бёрнема полны апокалипсических видений. В его описаниях страны, правительства, классы и общественные системы постоянно расширяются, сокращаются, приходят в упадок, разлагаются, раскалываются, крошатся, рушатся, кристаллизуются и вообще ведут себя мелодраматически. Медленности исторических перемен, тому, что в любой эпохе всегда содержится много от предыдущей, он не придает должного значения. Такой способ мышления непременно приводит к ошибочным пророчествам: если даже направление событий угадано правильно, темп их оценивается неверно. На протяжении всего пяти лет Бёрнем предсказал господство Германии над Россией и России над Германией. В обоих случаях он повиновался одному и тому же инстинкту: благоговеть перед сегодняшним победителем и принимать сегодняшнюю тенденцию за необратимую. Имея это в виду, можно предъявить к нему претензии в более широком плане.

Ошибки, на которые я указал, не опровергают теорию Бёрнема, но проливают свет на причины, которые, возможно, ее породили. В связи с этим нельзя не учитывать, что Бёрнем — американец. В каждой политической теории есть некий региональный оттенок, и у всякой нации, всякой культуры есть свои характерные предрассуд-

---

ки и слепые пятна. Некоторые проблемы неизбежно выглядят по-разному, в зависимости от географической точки, с которой их рассматривают. Так вот, точка зрения Бёрнема, согласно которой коммунизм и фашизм — примерно одно и то же, и при этом оба приемлемы — или, во всяком случае, не таковы, чтобы с ними надо было изо всех сил бороться, — это, в сущности, американская точка зрения, чуждая англичанину, да и любому другому западноевропейцу. Английские авторы, уравнивающие коммунизм с фашизмом, неизменно считают и то, и другое чудовищным злом, с которым надо биться насмерть. С другой стороны, любой англичанин, считающий коммунизм и фашизм антиподами, непременно должен взять сторону того или другого\*. Причина этой разницы во взглядах достаточно проста и, как обычно, связана с привычкой принимать желаемое за действительное. Если тоталитаризм восторжествует, и мечты геополитиков сбудутся, Британия исчезнет как мировая держава, и всю Западную Европу поглотит одно великое государство. Беспристрастно рассматривать такую перспективу англичанину трудно. Либо он не хочет, чтобы Британия исчезла — в каком случае он будет конструировать теории, доказывающие желаемое; либо, как меньшинство интеллигентов, решит, что с его страной покончено, и свои верноподданнические чувства обратит на иностранную державу. Перед американцем такая дилемма не стоит. Что бы ни случилось, Соединенные Штаты останутся великой державой, и с американской точки зрения не так уж важно, Россия будет господствовать в Европе или Германия. Большинство американцев, которые вообще об этом задумываются, предпочитают увидеть мир разделенным между двумя или тремя государствами-монстрами, которые достигли своих

---

\* Могу припомнить лишь одно исключение — Бернарда Шоу, который уже несколько лет утверждал, что коммунизм и фашизм — примерно одно и то же, и благоволил обоим. Но Шоу, в конце концов, не англичанин, и, возможно, не считает, что его судьба непременно должна быть связана с судьбой Британии.

---

естественных границ и могут торговаться друг с другом в экономической области, не беспокоясь из-за идеологических различий. Такая картина мира отвечает склонности американцев восхищаться величиной самой по себе и считать успех оправданием действия, а, кроме того, отвечает преобладающим антибританским эмоциям. Волею судеб Британия и Соединенные Штаты дважды были вовлечены в союз против Германии и, может быть, скоро будут вынуждены выступить в союзе против России, но субъективно большинство американцев предпочли бы Британии Германию или Россию, а из них отдали бы предпочтение тому, кто в данный момент сильнее\*.

Таким образом, не удивительно, что по своему мировоззрению Бёрнем близок, с одной стороны, к американским империалистам, а с другой — к американским изоляционистам. Этот несентиментальный или «реалистический» взгляд на мир соответствует тому, каким хотелось бы видеть мир американцам. Почти открытое восхищение нацистскими методами, демонстрируемое Бёрнемом в первой из книг и шокирующее почти каждого английского читателя, обусловлено, в конечном счете, тем, что Атлантический океан шире Ла-Манша.

Как я уже говорил, Бёрнем скорее прав, чем не прав в оценке настоящего и недавнего прошлого. Вот уже лет пятьдесят общее движение в сторону олигархии едва ли вызывает сомнение. Всё увеличивающаяся концентрация промышленной и финансовой мощи, все уменьшающаяся роль индивидуального капиталиста и акционера, рост нового класса менеджеров — ученых, техников и бюрократов, бессилие пролетариата перед централизованным государством, растущая беспомощ-

---

\* Не далее как осенью 1945 года опрос Гэллага среди американских солдат в Германии показал, что 51 процент «считает, что до 1939 года Гитлер сделал много хорошего». И это — после пяти лет антигитлеровской пропаганды. Перевес в пользу Германии не слишком большой, но трудно поверить, что доля симпатизирующих Британии в американской армии хотя бы приблизилась к 51 проценту.

---

ность малых стран перед лицом больших, упадок представительных институтов и появление однопартийных режимов, опирающихся на полицейский террор, фальсификация плебисцитов — всё это указывает на одну и ту же тенденцию. Бёрнем видит эту тенденцию и считает ее неотвратимой — примерно так, как кролик, загипнотизированный удавом, считает удава самым сильным существом на свете. Если заглянуть чуть глубже, мы увидим, что все его идеи основываются на двух аксиомах, в первой книге подразумеваемых, во второй — более или менее сформулированных.

1. Во все века политика по существу одинакова.

2. Политическое поведение отличается от всех остальных видов поведения.

Начнем со второго пункта. В «Макиавеллистах» Бёрнем настаивает, что политика — просто борьба за власть. За всяким широким общественным движением, за всякой войной, за всякой революцией, за всякой политической программой, сколь угодно благонамеренной и утопической, кроются амбиции какой-то группы, стремящейся захватить власть. Сила не может быть ограничена никаким этическим или религиозным кодексом, а только другой силой. Нечто подобное альтруистическому поведению наблюдается только тогда, когда правящая группа понимает, что может дольше продержаться у власти, если будет вести себя прилично. Но как ни странно, эти обобщения относятся только к политическому поведению и ни к какому другому. В повседневной жизни, как признает сам Бёрнем, нельзя объяснить все поступки людей принципом *cui bono?*<sup>3</sup>. Очевидно, что у людей бывают не только корыстные побуждения. Человек, таким образом, — это животное, которое может действовать нравственно, когда действует как индивидуум, но становится аморальным, когда действует коллективно. Впрочем, это обобщение распространяется только на высшие слои. У масс, по-видимому,

---

<sup>3</sup> Кому на пользу? (лат.).

---

есть смутное стремление к свободе и человеческому братству, и на этом с легкостью играют жадные до власти индивиды или меньшинства. Так что история состоит из цепи мошенничеств: народ подбивают к бунту, обещая утопию, а затем, когда он сделал свое дело, его опять поработают — уже новые хозяева.

Следовательно, политическая активность — особый вид поведения, характеризующийся полной бессовестностью и присущий только узким группам населения, в особенности группам недовольных, чьи таланты не могут развернуться при существующем строе. В массе же — и тут (2) увязывается с (1) — народ всегда будет вне политики. Так что, по сути, человечество делится на два класса: карьеристское лицемерное меньшинство и безмозглая толпа, обреченная на то, чтобы ее всегда вели или гнали, как загоняют свинью в свинарник, пиная ее в брюхо или гремя палкой в помойном ведре, соответственно с потребностью момента. И эта прелестная схема будет воспроизводиться вечно. Индивиды могут переходить из одной категории в другую, целые классы могут уничтожать другие классы и занимать господствующие высоты, но деление человечества на правителей и управляемых — неизменно. По своим способностям, так же, как в своих желаниях и потребностях, люди не равны. Есть «железный закон олигархии», и он будет действовать всегда, даже если забыть, что демократия невозможна по механическим причинам.

Интересно, что во всех этих рассуждениях о борьбе за власть Бёрнем ни разу не задается вопросом: почему люди хотят власти? Он, видимо, полагает, что жажда власти — хотя преобладает она у сравнительно малочисленной категории людей, — природный инстинкт, не нуждающийся в объяснениях, как потребность в пище. Он полагает также, что деление общества на кассы служит одной и той же цели во все века. Иными словами, он игнорирует многовековую историю. Когда писал учитель Бёрнема Макиавелли, классовые различия были не толь-

---

ко неизбежны, но и желательны. Пока методы производства остаются примитивными, большинство народа по необходимости обречено на однообразный, изнурительный физический труд; но кто-то должен быть освобожден от такого труда, иначе цивилизация не может сохраняться, не говоря уже о том, чтобы развиваться. С появлением машин картина изменилась. Оправдания классовым различиям — если им есть оправдания, — надо уже искать в другом, поскольку больше нет механических причин для того, чтобы рядовой человек оставался рабочей лошадью. Правда, тяжелый, отупляющий труд сохранился; классовые различия, вероятно, возрождаются в новой форме, и личная свобода сокращается; но, поскольку технической необходимости в этом нет, должна быть какая-то психологическая причина, а Бёрнем отыскать ее не пытается. Вопрос, который Бёрнем должен был задать и ни разу не задал, таков: почему голая жажда власти стала таким важным человеческим побуждением именно сейчас, когда господство человека над человеком перестало быть необходимостью? Что до утверждения, будто «человеческая природа» или «неумолимые законы» того и сего делают социализм невозможным, — это просто проекция прошлого на будущее. Фактически, Бёрнем утверждает, что поскольку общество свободных и равных людей никогда не существовало, оно никогда и не будет существовать. Таким же манером можно было доказывать невозможность самолетов в 1900 году или автомобилей в 1850-м. Идея, что машина изменила человеческие взаимоотношения, и что вследствие этого Макиавелли устарел, — идея вполне очевидная. Если Бёрнем не желает ее учитывать, то потому только, полагаю, что его собственный инстинкт власти побуждает отместить всякое предположение о том, что макиавеллиев мир силы, обмана и тирании может придти к концу. Напомню то, что я сказал выше: теория Бёрнема всего лишь вариант — американский вариант, интересный именно своей претензией на универсальность, — культ силы, ныне столь рас-

---

пространенного среди интеллигентов. Более нормальный вариант — во всяком случае, для Англии, — коммунизм. Если присмотреться к людям, которые имеют некоторое представление о русском режиме и при этом остаются заядлыми русофилами, оказывается, что в целом они принадлежат к классу «менеджеров», о котором пишет Бёрнем. То есть они не менеджеры в узком смысле, а ученые, техники, преподаватели, журналисты, бюрократы, профессиональные политики — в общем, среднее сословие, которое чувствует себя скованным системой, все еще отчасти аристократической, и жаждет большей власти и большего престижа. Эти люди смотрят на СССР и видят в нем или думают, что видят, систему, которая убрала высший класс, поставила рабочий класс на место и дала неограниченную власть людям, весьма схожим с ними. Множество английских интеллектуалов стало проявлять интерес к советскому режиму лишь после того, как он стал тоталитарным. И хотя английские русофилы из интеллигенции отвергли бы Бёрнема, на самом деле, он высказывает их тайное желание: поставить крест на прежнем, эгалитарном варианте социализма и заменить его иерархическим обществом, где интеллигент наконец-то сможет дотянуться до кнута. Бёрнему, по крайней мере, хватает честности сказать, что социализма не будет; другие же говорят, что социализм на подходе, а затем придают слову «социализм» новый смысл, обесмысливающий прежнее понятие. Но его теория, при всей ее кажущейся объективности — лишь попытка логически обосновать желаемое. Нет особых причин рассчитывать, что она как-то прояснит нам будущее — разве только самое ближайшее. Она лишь объясняет нам, в каком мире хотел бы жить сам класс «менеджеров» или, по крайней мере, наиболее сознательные и амбициозные его члены.

К счастью, «менеджеры» не так неуязвимы, как думает Бёрнем. Любопытно, с каким упорством он игнорирует в «Революции менеджеров» военные и социальные преимущества демократической страны. Всякий раз фак-

---

ты препарируются так, чтобы доказать силу, жизнеспособность и стойкость безумного гитлеровского режима. Германия стремительно захватывает территории, «быстрая территориальная экспансия всегда была признаком не упадка... но обновления». Германия успешно ведет войну, и «способность хорошо вести войну — признак не упадка, а его противоположности». Германия «вселяет в миллионы людей фанатическую преданность. Это тоже никогда не сопутствует упадку». Даже жестокость и бесчестность нацистского режима ставятся ему в заслугу, поскольку «молодой, новый, крепнувший социальный строй, в отличие от старых, более склонен прибегать ко лжи, террору и преследованиям в больших масштабах». Однако, за каких-нибудь пять лет этот молодой, новый, крепнувший социальный строй расшиб себе голову и стал, по выражению Бёрнема, упадочным. И случилось это, главным образом, благодаря «менеджеристскому» (то есть недемократическому) строю, которым восхищается Бёрнем. Непосредственной причиной поражения немцев была неслыханная глупость: напасть на СССР, когда еще не разгромлена Британия, а США явно готовятся вступить в войну. Ошибки такого масштаба могут происходить только — по крайней мере, чаще всего будут происходить — в странах, где бессильно общественное мнение. Пока простому человеку дают высказаться, гораздо меньше вероятности, что будут нарушены такие элементарные правила, как не вступать в драку одновременно со всеми врагами.

Но в любом случае, с самого начала можно было понять, что движение, подобное нацизму, не может привести к хорошим и стабильным результатам. А пока нацисты побеждали, Бёрнем, похоже, не усматривал в их методах ничего плохого. Такие методы, говорит он, только кажутся порочными, потому что они новы: «Нет такого исторического закона, чтобы вежливые манеры и «справедливость» непременно побеждали. В истории это всегда зависит от того, *чьи* манеры и *чья* справедли-

---

вость. Восходящий общественный класс и новый строй общества должны прорваться сквозь прежние моральные установления, так же, как должны прорваться через прежние экономические и политические институты. Естественно, с точки зрения старого, они — чудовища. Если они победят, то сами в должное время займутся манерами и моралью».

Иначе говоря, буквально всё может стать добром или злом, как пожелает того господствующий в данное время класс. При этом забывается, что человеческое общество не может сохраниться в целостности, если не выполняются определенные правила поведения. Поэтому Бёрнем не мог понять, что преступления и безрассудства нацистского режима тем или иным путем должны привести к катастрофе. То же самое со сталинизмом, которым он восхищается теперь. Еще рано говорить, каким именно образом разрушит себя русский режим. Если бы мне пришлось заниматься предсказаниями, то я бы сказал, что продолжение русской политики последних пятнадцати лет, — а внутренняя политика и внешняя, разумеется, две стороны одного и того же — может привести только к атомной войне, по сравнению с которой гитлеровское нашествие покажется чаепитием. Но в любом случае, русский режим либо демократизируется, либо рухнет. Огромная, неуязвимая, вечная рабовладельческая империя, о которой, по-видимому, мечтает Бёрнем, не состоится, а если и состоится, то не устоит, потому что рабство уже не может быть прочной основой человеческого общества.

Предсказать что-либо в положительном плане не всегда возможно, но бывают моменты, когда требуется выступить с отрицательными предсказаниями. Предвидеть конкретные результаты Версальского договора ни от кого не требовалось, но миллионы думающих людей могли предвидеть и предвидели, что результаты эти будут плохими. Многие люди, хотя в этом случае и не столь многие, могут предугадать, что результаты урегулирова-

---

ния, навязанного Европе в наши дни, тоже будут плохими. А чтобы воздержаться от преклонения перед Гитлером или Сталиным — для этого тоже не требуется огромного интеллектуального усилия. Но требуется отчасти — нравственное. И если человек с дарованиями Бёрнема мог на какое-то время очароваться нацизмом и поверить, будто на его основе может вырасти и, вероятно, вырастет прочный социальный порядок, это показывает, насколько губительно для чувства реальности то, что ныне именуется «реализмом».

*май 1946 г.*

---

## **Политика против литературы. Взгляд на «Путешествия Гулливера»**

В «Путешествиях Гулливера» Свифт ополчается против рода человеческого, точнее, подвергает его критике, по меньшей мере, с трех сторон, и неизбежно по ходу дела меняется облик главного персонажа, Гулливера. В Первой части он предстает типичным путешественником восемнадцатого века — отважным, самоуверенным, практичным, без всякого романтического ореола; обыденность этой фигуры искусно донесена до читателя при помощи биографических подробностей, которыми он предваряет повествование, указания на возраст (к началу своих приключений он — сорокалетний отец двух детей) и точной описи предметов, находившихся в его карманах, — среди них особо выделены очки, он несколько раз их упоминает. Во Второй части облик этот в значительной мере сохранен, но в нужные моменты герой начинает обнаруживать признаки идиотической глупости: хвастливо восславляя «...наше благородное отечество, владыку искусств и оружия, бич Франции» и т.д., и т.п., одновременно он предательски выбалтывает все ведомые ему скандальные факты о своей будто бы горячо любимой Англии. В Третьей части он вроде бы тот же, что и в Первой, хотя, общаясь с придворными и учеными, он внушает представление, что социальный статус его несколько повысился. В Четвертой выясняется, что он питает отвращение к роду человеческому, хотя ранее это не

---

ощущалось или ощущалось только моментами; теперь он оказывается каким-то неверующим отшельником, с одним только желанием: поселиться в безлюдной местности и размышлять в уединении о добродетелях гуингнмов. Впрочем, это вынужденная непоследовательность автора — Гулливер требуется Свифту лишь для создания контрастных ситуаций. Он должен выглядеть здравомыслящим в Первой части и хотя бы иногда казаться глупцом во Второй, потому что в обеих книгах автор предпринимает, по сути, один и тот же маневр: ему надо показать человеческое существо в смехотворном виде, представив его человеком в шесть дюймов. Но во всех случаях, когда Гулливер не выставлен на посмешище, характер его сохраняет известную целостность, особенно в таких своих свойствах, как находчивость и наблюдательность ко всему материальному, что его окружает. В общем, он остается одним и тем же человеком, изображенным в той же стилистической манере, и когда уводит военный флот Блефуску, и когда вспарывает брюхо чудовищной крысы, и когда плывет в открытом океане в утлой ладье, сшитой из шкур йэху. Да и как не понять, что в моменты наибольшего прозрения Гулливер не кто иной, как сам Свифт; можно привести, по меньшей мере, один эпизод, в котором Свифт явно дает волю личной обиде на современное общество. Мы помним, что, когда вспыхнул пожар во дворце короля Лилипутии, Гулливер погасил его струей своей мочи. Вместо того чтобы поздравить его с такой находчивостью, Гулливеру сообщают, что он совершил тягчайшее преступление, помочившись на королевский дворец...

«...Меня конфиденциально уведомили, что императрица была страшно возмущена моим поступком и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне».

По мнению профессора Дж. М. Тревельяна («Англия при королеве Анне»), карьере Свифта отчасти поме-

---

шало то обстоятельство, что королева была шокирована «Сказкой бочки», памфлетом, который — так, очевидно, казалось Свифту — сослужил большую службу английской короне: ведь, обрушиваясь на диссентеров, а еще с большей силой на католиков, автор оставил в покое государственную церковь. Так или иначе, никто не станет отрицать, что «Путешествия Гулливера» — книга не только пессимистическая, но и мстительная, в которой — особенно в Первой и Третьей частях — Свифт часто опускается до узких политических пристрастий. В ней смешалось все: мелочность и великодушие, республиканизм и дух авторитарности, почтение к разуму и агностицизм. Столь присущее, как известно, Свифту свирепое отвращение к человеческой плоти становится господствующей чертой лишь в Четвертой части, но эта его одержимость почему-то не удивляет. Чувствуешь, что все эти перемены, все эти перепады настроения терзали одну и ту же личность, а связь между политическими взглядами Свифта и его неизменным отчаянием — одна из самых интересных особенностей этой книги.

В политическом плане Свифт принадлежал к числу тех людей, которых безрассудства современной им прогрессивной партии вигов загоняли в извращенный торизм. Первая часть «Путешествий» — на первый взгляд сатира, высмеивающая претензии человека на величие, — если всмотреться внимательнее, может быть воспринята как выступление против Англии, против господствующей партии вигов и против войны с Францией — войны, которая, как бы ни были низки мотивы союзников, все же спасла Европу от тиранического произвола одной-единственной реакционной державы. Свифт не был якобитом, не был он, строго говоря, и тори, призывал он в этой войне всего лишь к заключению умеренного мирного договора, а не к поражению Англии. И все же в финале Первой части чувствуется некий привкус «квислингизма», что слегка нарушает ее аллегорический замысел. Когда Гулливер бежит из Лилипутии (Англия) в Блефуску (Францию), авторская по-

---

сылка, что человек ростом в шесть дюймов должен вызывать презрение, каким-то образом исчезает. Если жители Лилипутии вели себя по отношению к Гулливеру самым предательским и гнусным образом, то в Блефуску его встречают искренне и радушно, да и весь финал этой части повествования звучит отлично от предшествующих глав. Совершенно ясно, что враждебность Свифта обращена, прежде всего, к Англии. Именно «ваших туземцев» (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега именует «выводком маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности». А длинный пассаж в самом конце, обличающий колониализм и захват территорий, явно относится к Англии, хотя рассказчик самым тщательным образом пытается утверждать противоположное. С немалым ожесточением нападает Свифт в Третьей части и на союзника Англии — Голландию, которая ранее послужила мишенью для одного из самых знаменитых его памфлетов. Нечто весьма личное звучит и в пассаже, в котором Гулливер высказывает свое удовлетворение тем, что иные из открытых им стран не могут быть превращены в колонии Британской короны.

«Правда, гуингнмы как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно, что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако будь я министром, я никогда бы не посоветовал нападать на них. ...Представьте себе двадцать тысяч гуингнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы и превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт...»

Так как Свифт слов на ветер не бросает, выражение «превращающих в котлету...», надо думать, приоткрывает тайное желание увидеть подвергнутые подобной участи непобедимые войска герцога Мальборо. Есть и другие примеры того же рода. Даже упомянутая в Третьей части страна, где «...большая часть населения состоит сплошь из

---

разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов», именуется у него Лангден, это — за исключением одной буквы — анаграмма Англии. (А поскольку в ранних изданиях есть опечатки, возможно, это было задумано как полная анаграмма.) Что и говорить: вполне реально физическое отвращение Свифта к роду человеческому, однако возникает чувство, что все эти обличительные нападки на идею величия человека, все эти диатрибы, обращенные против лордов, политиканов, придворных фаворитов и прочее, носят преимущественно локальный характер и объясняются его принадлежностью к партии, потерпевшей поражение. Гневно выступая против несправедливости и гнета, он, однако, не дает никаких оснований считать, что сочувствует демократии. При всем неизмеримом превосходстве силы и влиянии Свифта позиция его была очень близка той, что занимают в наши дни бесчисленные «уменькие» консерваторы — такие, как сэр Алан Герберт, профессор Дж. М. Янг, лорд Элтон; члены Комитета тори за реформы и целая когорта защитников католицизма — от У.Г. Мэллока и дальше; все они специализируются на острословии по поводу любых «современных» и «прогрессивных» тенденций и часто высказываются в самом крайнем духе, зная, что на реальный ход событий это повлиять не может. В конце концов, можно сказать, что памфлет «Рассуждение об отмене христианства...» весьма напоминает нам манеру «Робкого Тимоти» отпустить веселые шуточки по адресу Мозгового Треста либо отца Рональда Нокса, который вскрывает ошибки Бертрана Рассела. И сам факт, что Свифту так легко прощали — прощали даже самые благочестивые верующие — кощунственные выходки в его «Сказке бочки», убедительно демонстрирует слабосилие религиозных чувств по сравнению с политическими.

Однако же реакционный склад мышления Свифта проявляется главным образом вне его политических при-

---

страстей. Важную роль играет его отношение к Науке, или, в более широком плане, к интеллектуальной пытливости. Знаменитое описание академии в Лагадо в Третьей части «Путешествий» было сатирой — и, несомненно, оправданной — на деятельность большинства так называемых «ученых» его времени. Характерно, что людей, в этой академии работающих, Свифт именуется «прожекторами», подчеркивая этим, что заняты они не бескорыстными научными исследованиями, а изобретением разного рода устройств, которые должны подменять человеческий труд и приносить небывалые доходы. Но при этом нет никаких оснований полагать — и через всю книгу проходят указания на противоположный вывод, — что и «чистая наука» нашла бы в Свифте своего приверженца. Он уже успел дать хорошего пинка в зад ученым более серьезного толка, когда изложил во Второй части мнения светил науки, призванных королем Бробдингнега, чтобы разъяснить природу миниатюрности Гулливера.

«После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я — не что иное, как *рельплюм сколькатис*, что в буквальном переводе означает *Lusus Naturae* (игра природы), — определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на скрытые причины, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания».

Сама по себе эта цитата могла бы свидетельствовать лишь о том, что Свифт — всего лишь враг лженауки. Однако в целом ряде эпизодов он не жалеет сил, чтобы доказать бесполезность любых научных исследований либо спекуляций, если только они не преследуют практическую цель.

«Знания этого народа (бробдингнегов) очень недостаточны: они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать спра-

---

ведливость, ими достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на Улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталей мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления».

Страна гуигнгнмов — идеальная для Свифта существ — общество даже на уровне простейшей механизации. Они не знают металлов, никогда не слышали о лодках, фактически не занимаются и земледелием (нам сообщено, что овес, которым они кормятся, растет «естественно») и, по всей видимости, не изобрели колеса. (Гуигнгнмов, которые по старости не могут двигаться сами, возят на чем-то «вроде саней» — значит, не на колесах.) У них нет алфавита, им, очевидно, не присуща сколько-нибудь развитая любознательность по отношению к материальному миру. Они не могут поверить, что в мире есть еще какие-либо страны, кроме их собственной, и, хотя знакомы с движением Луны и Солнца и понимают природу затмений, «...это — предельное достижение их астрономии». По контрасту, философы летающего острова Лапуты так глубоко погружены в математические размышления, что, дабы привлечь их внимание, надо хлопнуть их по уху надутым пузырем. Они каталогизировали десять тысяч неподвижных звезд, определили периоды движения девятиста трех комет и, опередив астрономов Европы, открыли, что у Марса — две Луны; все эти сведения Свифт явно считает чем-то совершенно ненужным, смехотворным и не представляющим интереса. Как можно было ожидать, он видит место ученого — если тот вообще занимает какое-то место в жизни — лишь в лаборатории и считает, что научные познания не имеют ни малейшей связи с политическими вопросами.

«Но более всего меня поразила, и я никак не мог объяснить ее, замеченная мной у них сильная склонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти об-

---

суждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же склонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой; разве только, основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем то, какое необходимо для управления и поворачивания глобуса».

Нет ли чего-то знакомого во фразе «...никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой»? Звучит она вполне в духе высказываний популярных апологетов католицизма, которых как будто бы удивляет, если ученый выражает свое мнение по таким вопросам, как существование бога или бессмертие души. Ученый, говорят нам, является специалистом лишь в определенной, ограниченной области знания; с какой же стати мнения его могут представлять ценность в любой другой сфере? Под этим подразумевается, что теология — такая же точная наука, как, скажем, химия, и священник является таким же специалистом, мнения которого должны почитаться бесспорными. Свифт фактически требует того же для политического деятеля, но при этом идет еще дальше: не соглашается признать ученого — как работающего в сфере «чистой науки», так и занимающегося конкретными исследованиями — личностью, приносящей пользу и в своей области. Даже если бы он не написал Третью часть «Путешествий», книга его в целом дает повод считать, что, как Толстой и Блейк, он с ненавистью относится к самой идее познания природы. «Разум» гуингнмов, которым он так восторгается, в основе своей не означает способности извлекать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хотя об этом и не говорится прямо, из контекста следует, что под ним подразумевается либо здравый смысл, то есть приятие очевидных явлений и презрение к разного рода софизмам и абстракциям, либо свобода от страстей и предубеждений. В общем, мнение его сводится к тому, что все необходимое мы уже знаем сами и просто не умеем правильно использовать это

---

знание. Так, например, медицина — наука бесплодная, ибо, придерживаясь более естественного образа жизни, мы бы не страдали разными болезнями. Но при всем том Свифт — вовсе не приверженец «простой жизни» и совсем не склонен восхищаться Благородным Дикарем. Он — приверженец цивилизации и всех ее достижений. Он ценит хорошие манеры, умение вести беседу, даже знание литературы и истории; он понимает также необходимость и практическую выгоду изучения сельскохозяйственных наук, архитектуры и навигации. Однако конечная цель его — статическая, лишенная интеллектуальной пытливости цивилизация, точно такой мир, в каком он живет, только немножко почище и поразумнее, без каких-либо радикальных перемен, без дерзких вылазок в неведомое. Он чтит далекое прошлое, в особенности век античности, более, чем можно было бы ожидать от человека, столь свободного от распространенных заблуждений, и полагает, что современный человек за последние столетия резко деградировал\*.

Очутившись на острове чародеев и волшебников, где можно было по желанию вызвать души умерших, Гулливер просит «...вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов». Хотя Свифт в этом разделе Третьей части подверг разрушительной критике правдивость исторических представлений, дух критицизма покидает его, как только он обращается к древним грекам и римлянам. Разумеется, он не приемлет коррупцию имперского Рима, но к некоторым крупным фигурам Древнего мира он питает почти безрассудное восхищение.

---

\* Физическая деградация населения, которую, как утверждает Свифт, он наблюдал повсюду, могла быть в то время реальным фактом. Одной из причин ее он считает сифилис, который был тогда в Европе новым явлением и, возможно, носил более жестокие и опасные формы, чем теперь. Новинкой в семнадцатом веке были также спиртные напитки, и это обстоятельство могло вызвать резкое усиление пьянства.

---

«При виде Брута я проникся глубоким благоговением; в каждой черте этого благородного лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель — величайшее бесстрашие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям... Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон Младший, сэр Томас Мор и он сам всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может добавить седьмого члена».

Следует отметить, что из шести человек только один — христианин. Это очень важно. Соединив в одно общее свифтовский пессимизм, его благоговейное отношение к прошлому, отсутствие любознательности, отвращение к человеческому телу, мы, таким образом, обнаружим мировоззрение, характерное для религиозных реакционеров, то есть людей, которые защищают несправедливый общественный строй, утверждая, что в этом мире существенные улучшения невозможны, а главным остается «мир иной». Однако же Свифт не проявляет никаких признаков религиозности, во всяком случае, в обычном толковании этого понятия. Похоже, что он не очень-то верит в жизнь после смерти, а представления о благе связаны у него с идеями республиканизма, любовью к свободе, храбростью, доброжелательностью (под которой он разумеет дух патриотизма), «разумом» и прочими языческими добродетелями. Все это наводит на мысль, что в облике Свифта есть и нечто не вполне совместимое с его неверием в прогресс и ненавистью к роду человеческому.

Начать с того, что в какие-то моменты он бывает «конструктивным» и даже «передовым». Эпизодическая непоследовательность несколько оживляет утопии, а Свифт порой вставляет словечко одобрения в пассаж, сатирический по замыслу. Скажем, мысли свои относительно обучения молодежи он приписывает обитателям Лилипутии, которые выражают по этому поводу мнения, почти совпадающие с правилами гуингнмов. Более того, у лили-

---

путов существует целый ряд общественных и правовых институтов (например, пенсии по старости, а также поощрения тем, кто исполняет закон, и наказания для тех, кто его нарушает), которые он хотел бы видеть в собственной стране. В середине этого пассажа Свифт вспоминает о своем сатирическом замысле. «Описывая как эти, так и другие законы империи, — добавляет он, — ...я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современной испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения». Но поскольку предполагается, что Лилипутия призвана изображать Англию, а в Англии нет ничего похожего на установления, о которых идет речь, совершенно ясно, что Свифт поддался импульсу выступить с конструктивными предложениями. Величайшим его вкладом в политическую мысль — в узком смысле этого понятия — надо считать гневный сарказм, который он обрушивает, особенно в Третьей части, на тоталитарное, выражаясь по-современному, общество. С необыкновенной провидческой ясностью видит он кишашее шпионами «полицейское государство» с его бесконечной охотой на еретиков и судами над «изменниками родины», рассчитанными на то, чтобы нейтрализовать народное недовольство, обращая его в военную истерию. При этом стоит вспомнить, что Свифту удалось развернуть картину целого по незначительным деталям, так как маломощные правительства в его эпоху не давали возможности полностью подтвердить то, что было создано его воображением. Так, например, один из профессоров «школы политических прожектеров» показал Гулливеру обширную рукопись «инструкций для открытия противоправительственных заговоров» и заявил, что можно распознавать самые тайные помыслы людей, исследуя их экскременты, «...ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, про-

---

сто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его был совсем другой, когда он думал только о поднятии восстания или о поджоге столицы».

Этот профессор и его теория были подсказаны Свифту, полагают литературоведы, одним, не столь уж удивительным или отвратительным на наш взгляд фактом: в одном из государственных судебных процессов того времени были использованы в качестве улики письма, найденные в чьем-то нужнике. А несколько ниже, в той же самой главе, мы словно попадаем в самый разгар русских политических процессов 1930-х годов:

«В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден... большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных...

...Прежде всего, они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв... Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеными под именем акrostихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы согласно их политическому смыслу. Так, N будет означать заговор, В — кавалерийский полк, L — флот на море. Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочесть самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: «Наш брат Том нажил геморрой», — искусный дешифровальщик из этих самых букв прочесть фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод».

---

Другие профессора этой же школы изобретают упрощенные языки, сочиняют книги с помощью специальных станков, обучают студентов, заставляя их глотать облатки, на которых записан текст урока, предлагают устранять различия в мыслях, производя обмен мозгами посредством отпиливания части затылка... Есть нечто странно знакомое в самой атмосфере этих глав: через все это изобретательное дурачество проходит мысль, что тоталитаризм стремится не только заставить людей думать надлежащим образом, но и притупить их сознание. Да и свифтовское описание вождя, царящего над племенем йэху, и «фаворита», который сначала исполняет грязную работу, чтобы затем стать козлом отпущения, на редкость хорошо вписывается в наше собственное время. Однако следует ли из всего этого, что Свифт был, прежде всего и главным образом, врагом тирании и борцом за свободу мысли? Нет, собственные убеждения его, насколько можно определить, далеко не столь либеральны. Сомнений не возникает: он действительно ненавидит лордов, королей, епископов, генералов, светских дам, титулы, знаки отличия и прочую дребедень, но нигде не видно, что о простых людях он более высокого мнения, чем об их правителях, что он стоит за большее социальное равноправие, либо увлекается идеями репрезентативных общественных институтов. Общество гуингнмов организовано по определенной кастовой системе, в основе которой — расовое начало; слуги, выполняющие самую тяжелую работу, отличаются по цвету кожи от своих хозяев и не скрещиваются с ними. Система образования, которой восхищается Свифт у лилипутов, подразумевает как нечто совершенно естественное наследственные классовые различия, и дети из беднейших классов вообще не посещают школы; поскольку «...они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особого значения для общества». Не скажешь, что он активно выступал за свободу слова и печати, несмотря на то, что к собственным его писаниям проявлялось очень терпимое отноше-

---

ние. Короля бробдингнегов поражает многочисленность и многообразие религиозных сект и политических группировок в Англии, и он находит, что «...тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества» (в этом контексте попросту еретические), обязан если не изменить их, то, во всяком случае, держать при себе, ибо: «Если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости». Есть и более тонкое указание на суть собственных взглядов Свифта: мы обнаруживаем его в рассказе о том, каким образом Гулливер был вынужден покинуть страну гуигнгнмов.

Свифт нередко предстает перед нами своего рода анархистом, а в Четвертой части создана картина анархического общества, управляемого не Законом в общепринятом смысле слова, а Разумом, диктат которого, видимо, ни у кого не вызывает возражений. Генеральная ассамблея гуигнгнмов «увещевает» хозяина Гулливера изгнать его из страны, и соседи оказывают на него давление, вынуждая, в конце концов, дать свое согласие. Они выдвигают две причины: во-первых, присутствие необычного йэху может породить беспорядок в среде этих существ; во-вторых, дружественное отношение гуигнгнма к йэху «...противно разуму и природе и является вещью, никогда прежде неслыханной у них». Хозяину Гулливера не очень-то хочется подчиниться, но с «увещеванием» (нам сообщают, что гуигнгнму никогда не отдают приказов, его только «увещивают» или «убеждают») необходимо считаться. Эта ситуация очень наглядно обнаруживает тенденцию к тоталитаризму, заключенную в анархистской или пацифистской концепции общества. В обществе, где нет закона и — теоретически — принуждения, общественное мнение является единственным арбитром, определяющим нормы поведения отдельной личности. Но это общественное мнение в силу огромной тяги стадных животных к единообразию отличается еще меньшей терпимостью, чем любая система, основанная на законах. Когда человеческое сообще-

---

ство управляется определенными «заповедями», которые нельзя «преступить», тот или иной индивид имеет возможность проявлять некоторую эксцентричность в своем поведении. Но когда это сообщество управляется — теоретически — лишь «любовью» или «разумом», личность испытывает постоянное давление, вынуждающее ее и думать и поступать, как все, без всяких отклонений. Нам сообщают, что гуигнгнмы почти не ведали разногласий ни по одному вопросу. Единственным вопросом, который они когда-либо подвергли обсуждению, была дальнейшая участь племени йэху. Во всех других случаях никаких поводов для споров не возникало: истина была либо самоочевидна, либо непознаваема и потому не имела значения. В их языке, видимо, вообще не было слова «мнение», а в разговорах не проявлялось различий в «чувствах». Фактически они достигли высшей стадии тоталитарной организации общества, стадии, при которой конформизм стал настолько всеобъемлющим, что отпала всякая надобность в полиции. Такое положение дел Свифт явно одобряет, поскольку среди многих его дарований и качеств не нашлось места для любознательности и добродушия. Инакомыслие всегда представляется ему просто извращенностью ума. «Для них разум, — говорит он, — не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; напротив, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом». Другими словами, нам уже все обо всем известно, к чему же нам допускать высказывания противоречащих мнений? Такая установка, естественно, приводит к тоталитарному обществу гуигнгнмов, где нет ни свободы, ни развития.

Мы справедливо видим в Свифте мятежника и борца против предрассудков, но, не считая второстепенных моментов — как, например, его убежденности, что женщинам следует получать то же образование, что и мужчинам, — во всем остальном он не дает оснований причислить себя к

---

«левым». Свифт — консервативный анархист, который, презирая власть, не верит в свободу и не расстается с аристократическим взглядом на общество, отлично понимая, что современная ему выродившаяся аристократия достойна лишь презрения. Когда он произносит очередную свою диатрибу против богачей и власть имущих, следует, как я уже сказал, часть его пыла отнести на счет того обстоятельства, что сам он принадлежал к менее удачливой партии и испытал разочарования в личной жизни. По вполне ясным причинам «аутсайдеры» всегда оказываются радикальнее «своих»\*.

Но самое существенное у Свифта — его неспособность поверить в то, что можно сделать более достойной нашу бренную жизнь, а не какую-то лишенную плоти рационалистическую схему быта. Разумеется, ни один честный человек не скажет, что сейчас счастье может быть названо нормальным явлением среди взрослых людей, но, быть может, оно когда-нибудь станет таковым — именно на этом вопросе и зиждется вся серьезная политическая полемика. У Свифта есть много общего — мне кажется больше, чем было до сих пор замечено, — с Толстым, еще одним мыслителем, не верящим в возможность земного счастья. Обоим был присущ анархический взгляд на общество, за которым скрывался авторитарный склад ума, оба враждебно относились к науке и нетерпимо — к попыткам оспорить их мнения, оба не способны были придавать зна-

---

\* В финале «Путешествий» в качестве типичных образчиков глупости и порочности человека Свифт называет «...судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможу, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных». Здесь звучит не знающая удержу ярость человека, лишённого власти. В одну кучу свалены и разрушители, и охранители порядка и права. Если, скажем, надо осудить полковника за то, что он — полковник, то на каких основаниях можно судить предателя? Стремясь покончить с воровством, надо опираться на законы, а, следовательно, надо иметь юристов. Но весь этот финальный пассаж, столь сильно пропитанный ненавистью и столь слабо аргументированный, как-то не убеждает читателя. Чувствуется, здесь дана воля личному озлоблению.

---

чение чему-либо, их лично не интересующему; наконец, и у того, и у другого был какой-то ужас перед реальным течением жизни, хотя Толстой пришел к этому позже и по другим причинам. Обоих мучили вопросы пола, но также по разным причинам, общим было лишь искреннее отвращение к сексу — с изрядной примесью болезненного влечения к нему. Толстой был раскаявшимся распутником, который проповедовал воздержание, но до глубокой старости не следовал собственной проповеди. Свифт, по всей вероятности, был импотентом и всегда испытывал какое-то гиперболическое омерзение к человеческим нечистотам, а думал на эту тему непрестанно, о чем свидетельствуют его произведения. Люди такого типа вряд ли способны оценить даже ту мизерную долю счастья, что достается большинству человеческих существ, и — по вполне понятным мотивам — не склонны считать возможными и значительные улучшения в жизни земной. И нелюбопытство их, и нетерпимость — из одного и того же источника.

Омерзение, злость, пессимизм Свифта были бы понятны, взирай он на нашу жизнь, как на переходную ступень к «миру иному». Но поскольку ни во что подобное он, очевидно, не верит, возникает необходимость сконструировать некий рай на земной поверхности, ничего общего не имеющий с ведомой нам реальностью. В нем нет места всему, что не нравится Свифту: лжи, глупости, переменам, восторженным чувствам, удовольствиям, любви и грязи. В качестве идеального существа он избирает лошадь — животное, экскременты которого наименее противны. Гуигнгнмы — очень скучная скотинка; факт настолько общепризнанный, что нет надобности его чем-либо обосновывать. Гений Свифта придал им правдоподобность, но вряд ли найдется много читателей, способных испытывать к ним что-либо, кроме неприязни. И вызвано это чувство совсем не уязвленным самолюбием человека, которому предпочли лошадь; ведь гуигнгнмы гораздо больше напоминают людей, чем йэху, и есть некая абсурдная нелогичность в том, что Гулливер, испытывая ужас перед йэху, в то

---

же время видит в них существа одной с ним породы. Ужас этот охватывает его при первом же взгляде на йэху. «...Я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало к себе такое отвращение». Отвращение — но по сравнению с кем? Во всяком случае, не с гуингнмом, потому что ни одного гуингнма он пока еще не встретил. Значит, по сравнению с самим собой, то есть с человеком. Однако в дальнейшем нам сообщается, что йэху — это и есть человек, и человеческое общество делается невыносимым для Гулливера именно потому, что все люди — это йэху. Но в таком случае, почему он еще раньше не возымел отвращения к роду человеческому? И вот, в попытке свести концы с концами, Свифт говорит, что йэху самым фантастическим образом отличаются от людей, являясь в то же время людьми. Свифт явно захлебывается в собственной ненависти, когда кричит своим соплеменникам: «Вы еще грязнее, чем кажетесь!». Но, конечно, испытывать симпатию к йэху нельзя, и непривлекательность гуингнмов объясняется вовсе не тем, что они господствуют над йэху. Непривлекательны они тем, что «Разум», который правит их жизнью, оказывается, по сути, тяготением к смерти. Не ведают они любви и дружбы, любознательности, страха, печали, не ведают гнева и ненависти — если не считать их отношения к йэху, которые в этом обществе занимают примерно то же место, что евреи в нацистской Германии. «Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом». «Дружба и доброжелательство являются двумя главными добродетелями гуингнмов, и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу». Ценят они также беседы, но в беседах этих никогда не высказываются несходные мнения: «...говорилось только о деле, а речи выражались в очень немногих, но полновесных словах». У них строгий контроль над рождаемостью: каждая пара, произведя на свет двух отпрысков, прекращает половые отношения.

---

Браки между молодыми устраивают старшие, по евристическим принципам, и в языке их нет слов, обозначающих плотскую любовь. Когда кто-нибудь умирает, родные продолжают обычную жизнь, не испытывая ни малейшей скорби. Все это, вместе взятое, свидетельствует, что стремятся они как можно больше уподобиться трупу, сохраняя при этом физическое существование. Правда, кое-какие черты, им присущие, не укладываются в рамки «разумности» — в их понимании этого слова. Например, они придают особое значение не только физической выносливости, но и атлетике, к тому же любят поэзию. Но эти исключения, быть может, не столь непоследовательны, как кажется. Вероятно, Свифт подчеркивает атлетические свойства гуингнмов, дабы убедить читателей, что никогда благородные лошади не будут побеждены презренным родом человеческим; а склонность к поэзии присуща им потому, что поэзия представляется Свифту антитезой науки, самого бесполезного, на его взгляд, занятия на свете.

В части Третьей он называет «воображение, фантазию и изобретательность» тремя желательными качествами, которыми не обладают лапутянские математики (несмотря на свою любовь к музыке). Следует предположить, что, хотя Свифт великолепно владел жанром комической поэзии, вероятнее всего, наибольшее значение он придавал поэзии дидактической. О стихотворстве гуингнмов он говорит так: «...в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют теми и другими фигурами, и темой их являются либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или других телесных упражнениях».

Увы, даже гениальный дар Свифта не помог ему создать образчик творения, по которому можно было бы судить о поэтическом искусстве гуингнмов. Но можно представить себе, что это было нечто весьма напыщенное и холодное (по всей вероятности, рифмованные двусту-

---

шая в размере пятистопного ямба) и, в общем, не противоречащее принципам «Разума».

Как известно, состояние счастья с большим трудом поддается изображению, и потому картины справедливого, упорядоченного общества редко кажутся привлекательными или убедительными. И все же большинство создателей «положительных» утопий стараются показать, какой может стать наша жизнь, если мы сумеем пользоваться ею более полно. А Свифт проповедует попросту отказ от полноты жизни, обосновывая это требование тем, что «Разум» означает подавление естественных инстинктов. Поколение за поколением гуингнмы, эти лишённые своей истории существа, ведут осмотрительный и расчетливый образ жизни, поддерживая один и тот же объем населения, не ведая страстей, не зная болезней, с полным безразличием встречая смерть, воспитывая в таком же духе свою молодежь, — и во имя чего? Во имя того, чтобы процесс этот продолжался до бесконечности. У них начисто отсутствуют представления о ценности нашего сегодняшнего бытия на этой земле, либо о том, что можно изменить жизнь и придать ей большую ценность, либо — что надо пожертвовать жизнью ради грядущего блага. Свифт органически не мог сотворить иную утопию, чем унылый мир гуингнмов, раз он не верил в загробную жизнь и не был способен извлекать удовольствие из нормальных человеческих отношений определенного рода. Однако унылый этот мир сочинен автором не потому, что кажется ему столь уж привлекательным сам по себе, — он должен служить оправданием для новых выпадов против рода человеческого. Конечная цель Свифта — как всегда, унижение человека, для чего следует еще раз напомнить, что человек слаб, жалок и нелеп, а главное — вонюч. А подспудный мотив — надо полагать, какая-то зависть призрака к живущему, зависть человека, знающего, что счастье ему недоступно, к другим, тем, кто может быть, как он боится, чуть счастливее его. В политическом плане подобное мироощущение выражается либо в реакционности, либо в нигилизме, поскольку такая лич-

---

ность стремится помешать обществу развиваться, что могло бы раскрыть несостоятельность ее пессимизма. Помешать можно двумя способами: взорвать все к черту или стараться отвращать от социальных перемен. В конечном итоге Свифт избрал первый путь: он взорвал свой мир к черту, погрузившись в безумие, но при этом — что я и пытался доказать — политические цели его носили в целом реакционный характер.

Все сказанное может создать впечатление, что я против Свифта и цель моя — опровергнуть или даже принизить этого писателя. Да, в политическом и моральном аспектах я против того, за что он ратует, насколько позиция его доступна моему пониманию. Но, как ни удивительно, он принадлежит к числу писателей, вызывающих мое безграничное восхищение, а «Путешествия Гулливера» — книга, которой я просто не могу начитаться досыта. Впервые я прочел ее в восемь лет, точнее, за день до своего восьмилетия, потому что я стащил и тайком проглотил приготовленное к моему дню рождения издание «Путешествий», и с тех пор перечитывал их не менее шести раз. Очарование их неувыдаемо. Если бы мне пришлось составить список из шести книг, которые надо спасти от гибели, «Путешествия Гулливера», несомненно, оказались бы в этом списке. И потому возникает вопрос: как соотносится наша оценка взглядов писателя с наслаждением, которое доставляет нам его творчество?

Человек, способный проявить интеллектуальную беспристрастность, в состоянии распознать достоинства писателя, с которым глубоко расходится во взглядах, однако наслаждение его творчеством — совсем иное дело. Предположим, что существует такое явление, как искусство хорошее и плохое, — в таком случае и то, и другое качества должны быть заложены в самом произведении искусства, конечно, не в отрыве от воспринимающей личности, но независимо от ее расположения духа. Так что с этой точки зрения стихотворение не может казаться хорошим в понедельник и плохим — во вторник. Но если вы

---

судите эти стихи по тому душевному, эстетическому отклику, который они у вас вызывают, то такое допущение верно, ведь душевный отклик или эстетическое наслаждение — чисто субъективное состояние, которым нельзя управлять. Читатель, — даже с самым развитым эстетическим вкусом — далеко не в каждый момент своего бытия проявляет эстетическое чувство, и чувство это очень легко подавляется. Если вы напуганы или голодны, мучаетесь зубами или морской болезнью, то «Король Лир» кажется вам не лучше «Питера Пэна». Умом вы понимаете, что лучше, но пока что для вас это просто факт, запавший в память, и ощутить достоинства «Лира» вы сможете, только вернувшись в нормальное состояние. И столь же разрушительно, нет, еще более разрушительно — потому что причины этого не сразу осознаются — воздействует неприятие вами политической или моральной позиции автора. Если книга вызывает у вас гнев, если она звучит оскорбительно или внушает тревогу, то, каковы бы ни были ее литературные достоинства, удовольствия она вам не доставит. А если она представляется вам по-настоящему вредным произведением, которое может скверно влиять на читателей, не исключено, что вы постараетесь выработать соответствующую эстетическую установку, позволяющую опровергнуть и художественные ее достоинства. Большая часть нашей современной литературной критики сводится к такому непрестанному лавированию между двумя разными критериями. И все же вполне возможен и противоположный результат: читательское удовольствие побеждает внутреннее сопротивление, притом, что вы лично сознаете свою враждебность идеям автора, книга которого вас так увлекает. Отличный пример — Свифт, писатель со столь неприемлемым для большинства людей взглядом на мир и, в то же время, столь популярный. Как же это получается: мы терпим, когда нас именуют йэху, будучи твердо уверенными, что никакие мы не йэху?

Недостаточно ответить, что Свифт, конечно, заблуждался, он был сумасшедшим, но он был «хорошим писате-

---

лем». Верно, что в какой-то незначительной мере литературные достоинства произведения отделимы от его содержания. Есть люди, обладающие врожденным даром слова, подобно тому, как есть люди «с точным глазом», который помогает им в играх. Дело здесь заключено, главным образом, в инстинктивном умении расставлять акценты — в нужный момент и нужной силы. Вот первый пришедший на ум пример: прочтите уже цитированный мною пассаж, начинающийся словами: «В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден...» Особую силу придает ему финальная фраза: «Это и есть анаграмматический метод». Фраза, строго говоря, ненужная, ибо «анаграмматический метод» только что был подробно описан. Но именно издательская торжественность повтора, когда нам словно слышен голос самого Свифта, изрекающего эти слова, вбивает в сознание всю идиотичность происходящего — последний удар молотка, вогнавшего гвоздь по самую шляпку. Однако же ничто — ни мощная простота свифтовской прозы, ни напор его воображения, благодаря которому картины совершенно невероятных миров оказываются убедительнее и правдоподобнее, чем большая часть исторических исследований, — не позволило бы нам наслаждаться чтением Свифта, будь его взгляд на мир истинно отталкивающим и оскорбительным. Миллионы читателей во многих странах увлекались «Путешествиями Гулливера», в большей или меньшей степени ощущая антигуманистический подтекст книги. И даже до ребенка, читающего Первую и Вторую части просто как приключенческую историю, доходит абсурдность шестидюймовых человечков, претендующих на звание людей. Объяснение, очевидно, кроется в том, что взгляд Свифта на мир не воспринимается как полностью ложный, или, точнее, не всегда воспринимается как ложный.

Свифт — неизлечимо больной писатель. Он постоянно пребывает в депрессии — состоянии, которое большинство людей испытывает лишь периодически; представим себе, что человеку, страдающему разлитием желчи или еще

---

не оправившемуся от тяжелого гриппа, хватает энергии, чтобы писать книги. Всем знакомо это состояние, и какая-то струнка в нас отзывается, когда мы встречаем его в литературном произведении. Возьмем, например, одно из характерных стихотворений Свифта «Туалетная комната дамы» или в том же духе написанное «На отход ко сну прелестной юной нимфы». Что истинней: точка зрения Свифта, выраженная в этих стихах, или видение Блейка, запечатленное в строке «Божественно ее нагое тело»? Блейк, бесспорно, ближе к правде, но кому не доставит удовольствия зрелище развенчанной подделки — фальшивой женской утонченности? Свифт искажает реальность в своих картинах мира, потому что отказывается видеть в нем что-либо, кроме грязи, глупости и пороков, но ведь часть, извлекаемая им из целого, действительно существует, и все мы это знаем, предпочитая, однако, не касаться подобных тем. Частью своего разума, у нормального человека преобладающей, мы верим в то, что человек — благородное животное, и жить на этой земле стоит, но есть в каждом из нас некое внутреннее «я», и порой оно в ужасе отшатывается от кошмара существования. Радости и отвращение сплетаются воедино непостижимейшим образом. Тело человеческое прекрасно, но оно может быть уродливым и смешным, — в чем легко убедиться в любом плавательном бассейне. Половые органы служат предметом вождления, но и омерзения; ведь недаром почти во всех языках названия их звучат как непристойные ругательства. Мясо необыкновенно вкусно, но в лавке мясника нас тошнит, да и все, чем мы питаемся, в конечном счете — производное от навоза и мертвечины, двух самых отвратительных для нас вещей на свете. Вышедший из младенческого возраста, но еще сохраняющий свежий взгляд на окружающее, ребенок постоянно испытывает не только удивление, но и чувство пугливого отвращения: к соплям и плевкам, к собачьему дерьму на тротуаре, к издыхающей жабе, в которой шевелятся черви, к запаху потных тел взрослых, к безобразию стариков с их голыми черепами и шишковатыми носами.

---

Бесконечно толкуя о всевозможных болезнях, грязи и уродствах, Свифт, по существу, не открывает нам ничего нового, он просто говорит не обо всем. Правдиво описывает он также и поведение человека, особенно в сфере политики, хотя и здесь существуют другие, более важные факторы, которых он признавать не желает. По нашему разумению, и ужас, и боль необходимы для продолжения жизни на этой планете, что дает основания пессимистам, подобным Свифту, задаваться вопросом: «Если ужас и боль неотъемлемы от нашего бытия, как можно надеяться сделать жизнь лучше?». В основе своей это христианская доктрина минус посулы «мира иного», — который, вероятно, меньше владеет душами верующих, чем убежденность, что земная жизнь — удел слез, а могила — место успокоения. Я убежден в ошибочности такого взгляда и в том, что он может самым вредным образом влиять на человеческие поступки, но что-то в нас отзывается на него, как отзывается на мрачное звучание зауспокойной службы сладковатый запах мертвого тела в деревенской церкви.

Зачастую высказывается мнение — во всяком случае, теми, кто придает особую важность содержательности литературы, — что книга не может быть «хорошей», отражая заведомо ложный взгляд на жизнь. Нам внушают, что применительно к современности каждое произведение, обладающее подлинными литературными достоинствами, должно быть более или менее «прогрессивным» по своим тенденциям. При этом упускается из виду, что на протяжении всей человеческой истории бушевали такие же войны между прогрессивными и реакционными силами, а лучшие книги в каждую эпоху всегда выражали самые различные позиции, в том числе заведомо ложные.

В той мере, в какой писатель является пропагандистом, самое большее, что можно требовать от него: пусть он искренне верит в то, что высказывает, и пусть не говорит явных глупостей. В наши дни, например, вполне можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, быть

---

может, либералом старого толка или обычным консерватором; но нельзя вообразить, что хорошую книгу напишет спирит, букманит или куклуксклановец. Взгляды писателя должны быть совместимы со здравомыслием — в медицинском смысле этого слова — и с энергией действенной мысли; кроме этого, мы ждем от него только таланта, под которым, вероятно, подразумевается убежденность.

Свифту не была дана обычная житейская мудрость, но дана была грозная интенсивность видения, способного извлечь, увеличить и тем самым исказить какую-то одну потаенную истину. Долговечность «Путешествий Гулливера» доказывает, что мировоззрение, подкрепленное силой убежденности, даже если оно на грани безумия, способно породить великое произведение искусства.

*сентябрь-октябрь 1946 г.*

---

## Лир, Толстой и шут

Статьи Толстого — наименее известная часть его творчества, и его критический очерк о Шекспире\* даже трудно достать, по крайней мере, в английском переводе. Поэтому, наверное, стоит кратко изложить его, прежде чем обсуждать.

Толстой начинает с того, что всю жизнь Шекспир вызывал у него «неотразимое отвращение» и «скуку». Сознавая, что мнение цивилизованного мира — против него, он снова и снова брался за Шекспира, читал и перечитывал его, и по-русски, и по-английски, и по-немецки; но «безошибочно испытывал все то же: отвращение, скуку и недоумение». Теперь, в 75-летнем возрасте, он вновь перечел всего Шекспира, включая исторические драмы, и «с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого, гениального писателя, которой пользуется Шекспир, и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда».

---

\* «О Шекспире и о драме». Статья была написана в 1903–1904 годах, впервые опубликована в ноябре 1906-го. В 1907 году вышла на английском языке вместе со статьей Эрнеста Кросби «Шекспир и рабочий класс».

Шекспира, добавляет Толстой, нельзя признать не только гением, но даже «посредственным сочинителем», и в доказательство берется разобрать «Короля Лира», восторженно восхваляемого критиками, что подтверждается цитатами из Хэзлитта, Брандеса<sup>1</sup> и других, и могущего послужить примером лучших шекспировских драм.

Затем Толстой излагает содержание «Короля Лира», на каждом шагу находя пьесу глупой, многословной, неестественной, невнятной, высокопарной, пошлой, скучной и полной невероятных событий, «бессвязных речей», «несмешных шуток», неуместностей, анахронизмов, отживших театральных условностей и других изъянов, моральных и эстетических. При этом «Лир» — переделка старой и несравненно лучшей пьесы неизвестного автора «Король Лир», которую Шекспир переписал и испортил. Чтобы продемонстрировать, как действует Толстой, приведу типичный абзац. Вторая сцена третьего акта (Лир, Кент и шут в степи, буря) излагается так:

«Лир ходит по степи и говорит слова, которые должны выражать его отчаяние: он желает, чтобы ветры дули так, чтобы у них (у ветров) лопнули щеки, чтобы дождь залил всё, а молнии спалили его седую голову, и чтобы гром расплющил землю и истребил все семена, которые создают неблагодарного человека. Шут подговаривает при этом еще более бессмысленные слова. Приходит Кент. Лир говорит, что почему-то в эту бурю найдут всех преступников и обличат их. Кент, всё не узнаваемый Лиром, уговаривает Лира укрыться в хижину. Шут говорит при этом совершенно неподходящее к положению пророчество, и они все уходят».

Окончательный приговор Толстого «Лиру» таков, что у всякого человека, если он не находится под внушением и прочел драму до конца, она не может вызвать ни-

<sup>1</sup> Уильям Хэзлитт (1778–1830) — английский критик, теоретик романтизма. Георг Брандес (1842–1927) — датский литературовед и критик. Его книга «Шекспир, его жизнь и произведения» вышла в России в 1901 году.

чего, кроме «отвращения и скуки». То же самое относится ко «всем другим восхваляемым драмам Шекспира, не говоря уже о нелепых драматизированных сказках, вроде «Перикла», «Двенадцатой ночи», «Бури», «Цимбелина», «Троила и Крессиды».

Покончив с «Лиром», Толстой предъявляет Шекспиру более общее обвинение. Он находит, что Шекспиру присуще определенное техническое умение, отчасти объясняющееся тем, что он был актером, но больше никаких достоинств за ним не признает. Шекспир не способен изображать характеры, а слова и действия у него не вытекают естественно из положений; речи действующих лиц напыщены и нелепы, собственные случайные мысли он то и дело вкладывает в уста первому подвернувшемуся персонажу; он обнаруживает «полное отсутствие эстетического чувства», и его сочинения «совершенно ничего не имеют общего с искусством и поэзией». «Что бы ни говорили о Шекспире, — заключает Толстой, — он не был художником». Кроме того, его мнения не оригинальны и не интересны, и его мирозерцание — «самое низменное и пошлое». Любопытно, что последнее суждение Толстой основывает не на словах самого Шекспира, а на утверждениях двух критиков — Гервинуса<sup>2</sup> и Брандеса. Согласно Гервинусу (по крайней мере, в толстовском прочтении Гервинуса), «Шекспир учил... что можно слишком много делать добра», а согласно Брандесу, «основной принцип Шекспира состоит в том, что *цель оправдывает средства*». От себя Толстой добавляет, что Шекспир был отъявленным шовинистом, но кроме этого, считает он, Гервинус и Брандес правильно и полно охарактеризовали его мировоззрение.

Затем Толстой в нескольких абзацах очерчивает свою теорию искусства, подробно изложенную в другой статье. Вкратце, она требует значительности содержания, технического мастерства и искренности. Великое произ-

<sup>2</sup> Георг Готфрид Гервинус — немецкий шекспировед, автор капитального труда «Шекспир» (1849–1850).

---

ведение искусства должно говорить о предмете «важном для жизни людской», выражать то, что живо чувствует сам автор и использовать технические приемы, которые обеспечат желаемый эффект. Поскольку мировоззрение у Шекспира низменно, исполнение неряшливо, а искренности нет и в помине, он приговорен.

Но тут возникает трудный вопрос. Если Шекспир таков, каким его представил Толстой, почему им так восхищаются? Очевидно, объяснить это можно только каким-то массовым гипнозом — «эпидемическим внушением». Весь цивилизованный мир был введен в заблуждение, будто Шекспир хороший писатель, и даже самое очевидное доказательство обратного ничего не может изменить, потому что мы имеем дело не с обоснованным мнением, а с чем-то вроде религиозной веры. На протяжении всей истории, говорит Толстой, было бесконечное множество таких «эпидемических внушений», например, крестовые походы, поиски философского камня, помешательство на тюльпанах, некогда охватившее всю Голландию, и т. д. и т. п. В качестве недавнего примера он приводит, — что весьма характерно, — дело Дрейфуса, без достаточных на то оснований переполошившее весь мир. Такими же внезапными кратковременными наваждениями могут стать новые политические и философские теории или тот или иной писатель, художник, ученый — например, Дарвин, который (в 1903 году) уже «начинает забываться». А в некоторых случаях совершенно никчемный идол может сохранять популярность веками, ибо «такие наваждения, возникнув вследствие особенных, случайно выгодных для их утверждения причин, до такой степени соответствуют распространенному в обществе и, особенно, в литературных кругах мировоззрению, что держатся чрезвычайно долго». Пьесами Шекспира восхищаются так долго потому, «что они соответствовали арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира».

Что до того, как возникла слава Шекспира, Толстой объясняет, что раздули ее немецкие профессора в конце

---

XVIII века. «Слава его началась в Германии и оттуда уже перешла в Англию». Немцы вознесли его потому, что в самой Германии не было драмы, сколько-нибудь заслуживающей внимания, французская псевдоклассическая драма казалась уже холодной и фальшивой, а Шекспир увлек их своим «мастерством ведения сцен», и к тому же они нашли в нем выражение своих взглядов на жизнь. Гёте провозгласил Шекспира великим поэтом, после чего все остальные критики стали вторить ему, как попугаи, и всеобщее слепое увлечение им длится до сих пор. Результатом был дальнейший упадок драмы — осуждая современную драму, Толстой добросовестно включает сюда и свои пьесы — и дальнейшее падение нравственности. Отсюда следует, что «ложное восхваление Шекспира» — серьезное зло, и Толстой считает своим долгом с ним бороться.

Таково существо статьи Толстого. Первое впечатление от нее — что, характеризуя Шекспира как плохого писателя, он говорит очевидную неправду. Но дело не в этом. В действительности, нет такого аргумента и рассуждения, с помощью которого можно было бы показать, что Шекспир — или какой-либо другой писатель — «хорош». Точно так же нет способа неопровержимо доказать, что Уорик Дипинг, например, «плох»<sup>3</sup>. В конечном счете, единственное мерило достоинств литературного произведения — его способность сохраниться во времени, а она всего лишь указывает на мнение большинства. Теории искусства, такие как толстовская, совершенно бесполезны — потому, что они не только основываются на произвольных предположениях, но и оперируют расплывчатыми терминами («искреннее», «важное» и т. п.), которые можно толковать как угодно. Строго говоря, *опровергнуть* критику Толстого нельзя. Возникает интересный вопрос: что его на это подвигло? Но надо заметить, между прочим, что он выставляет много слабых и нечестных дово-

---

<sup>3</sup> В письме *Ричарду Русу* 4 февраля 1949 г. Оруэлл пишет: «Среди прочего, впервые прочел Дипинга — оказывается, не так плох, как я ожидал».

---

дов. На некоторых стоит остановиться — не потому, что они сводят на нет главное обвинение, а потому, что они, так сказать, свидетельствуют о злом умысле.

Начать с того, что его исследование «Короля Лира» не «беспристрастно», хотя он говорит об этом дважды. Напротив, он упорно прибегает к ложному истолкованию. Ясно, что если вы пересказываете «Короля Лира» тому, кто его не читал, то вы не беспристрастны, излагая важную речь (речь Лира с мертвой Корделией на руках) таким образом: «И начинается опять ужасный бред Лира, от которого становится стыдно, как от неудачных острот». Раз за разом Толстой слегка изменяет или окрашивает критикуемые пассажи — и всегда таким образом, чтобы сюжет казался чуть более сложным и невероятным или язык — более вычурным. Например, нам объясняют, что «Лиру нет никакой надобности и повода отречься от власти», хотя об этом (Лир стар и хочет отойти от управления государством) ясно сказано в первой сцене. Нетрудно видеть, что даже в пересказе, который я процитировал выше, Толстой намеренно не понял одну фразу и слегка изменил смысл другой, превратив в бессмыслицу слова, вполне осмысленные в контексте. Каждое такое искажение само по себе не так уж грубо, но совокупный эффект их — преувеличение психологической бессвязности пьесы. Опять-таки, Толстой не может объяснить, почему шекспировские пьесы по-прежнему печатались и ставились на сцене спустя двести лет после смерти автора (то есть до «эпидемического внушения»), и все его рассуждения о том, как зарождалась слава Шекспира, — это догадка, прослоенная явными передержками. К тому же многие его обвинения противоречат друг другу: например, Шекспир стремился лишь развлечь, он не серьезен, а, с другой стороны, он все время вкладывает в уста персонажей свои собственные мысли. В целом, не создается впечатления, что критика Толстого добросовестна. Во всяком случае, нельзя себе представить, чтобы он полностью верил в свой главный тезис, — что больше века весь цивилизованный мир находится в плену

---

колоссальной и очевидной лжи, которую он один сумел разгадать. Нелюбовь его к Шекспиру несомненна, но причины ее не такие или не совсем такие, как он говорит, — и этим-то его статья интересна.

Здесь нам придется гадать. Однако есть одна возможная разгадка, по крайней мере, вопрос, который может указать путь к разгадке. Вот он: почему из сорока без малого пьес Толстой выбрал мишенью «Короля Лира»? Действительно, «Лир» хорошо известен, удостоен многих похвал и потому может считаться образцом лучших шекспировских пьес. Однако для враждебной критики Толстой мог бы взять пьесу, которая ему больше всего не нравилась. Не может ли так быть, что особую враждебность к этой он испытывал потому, что сознательно или бессознательно ощущал сходство истории Лира со своей? Но лучше подойти к разгадке с другой стороны — а именно, приглядеться к самому «Лиру» и тем его особенностям, о которых умалчивает Толстой.

Среди того, что первым делом замечает в статье Толстого английский читатель, — в ней почти ничего не говорится о Шекспире как о поэте. Его разбирают как драматурга и постольку, поскольку его популярность неоспорима, объясняют ее умелыми сценическими приемами, которые дают возможность хорошим актерам проявить свои силы. Ну, что касается англоязычных стран, это не так. Некоторые пьесы, наиболее ценимые поклонниками Шекспира (например, «Тимон Афинский») ставятся редко или вообще не ставятся, тогда как наиболее играемые, вроде «Сна в летнюю ночь» вызывают меньше всего восхищения. Те, кто особенно любит Шекспира, ценят в нем прежде всего язык, «музыку слов», которую признает «неотразимой» даже Бернард Шоу — тоже враждебный критик. Толстой это игнорирует и, кажется, не понимает, что для людей, говорящих на том языке, на котором стихи написаны, они могут представлять собой особую ценность. Но если даже поставить себя на место Толстого и думать о Шекспире как об иностранном поэте, то и тогда будет яс-

---

но, что Толстой что-то упустил. Поэзия, по-видимому, — не только звуки и ассоциации, ничего не стоящие вне своего языка: иначе как же некоторые стихотворения, в том числе на мертвых языках, пересекают границы? Понятно, что такие стихи, как «Завтра Валентинов день»<sup>4</sup>, нельзя удовлетворительно перевести, но в главных произведениях Шекспира есть нечто такое, что заслуживает названия поэзии, но может быть отделено от слов. Толстой прав, говоря, что «Лир» не очень хорошая пьеса — как пьеса. Она слишком затянута, в ней слишком много действующих лиц и побочных сюжетов. Одной злой дочери вполне хватило бы, и Эдгар — лишний персонаж; вообще пьеса, наверное, была бы лучше, если убрать Глостера и обоих сыновей. Тем не менее, общий рисунок или, может быть, только атмосфера не разрушаются из-за усложненности и длиннот. «Лира» можно представить себе кукольным спектаклем, пантомимой, балетом, живописным циклом. Часть его поэзии — быть может, самая существенная часть — заключена в сюжете и не зависит ни от конкретно-го набора слов, ни от живого исполнения.

Закройте глаза и подумайте о «Короле Лире», не вспоминая, если удастся, диалогов. Что вы видите? Вот что, во всяком случае, вижу я: величественный старик в длинном черном одеянии с развевающимися седыми волосами и бородой — фигура из гравюр Блейка (и, что любопытно, напоминающая Толстого) — бредет сквозь бурю в обществе шута и безумца, проклиная небеса. Потом сцена меняется, и старик, по-прежнему с проклятиями, по-прежнему ничего не понимая, держит на руках мертвую дочь, а где-то позади болтается на виселице шут. Это — голый скелет пьесы, но даже тут Толстой хочет вырезать из него большую часть самого существенного. Он возражает против бури как излишества, против шута, который в его глазах — просто надоедливая помеха и повод для скверных шуток, и против убийства Корделии, на его взгляд, лишая-

---

<sup>4</sup> «Гамлет». Акт IV, сцена 5.

---

щего пьесу морали. Согласно Толстому, старая пьеса «Король Лир», которую Шекспир переделал, кончается «более натурально и более соответствует нравственному требованию зрителя, чем у Шекспира, а именно тем, что король французский побеждает мужей старших сестер, и Корделия не погибает, а возвращает Лира в прежнее состояние».

Другими словами, этой трагедии следовало быть комедией или же мелодрамой. Чувство трагедии едва ли совместимо с верой в Бога: во всяком случае, оно несовместимо с неверием в человеческое достоинство и с таким «нравственным требованием», которое считает себя обманутым, когда добродетели не удается восторжествовать. Трагическая ситуация существует именно тогда, когда добродетель не торжествует, но при этом ясно, что человек благороднее тех сил, которые его уничтожают. Еще показательнее, наверное, что ничем не оправдано, по мнению Толстого, присутствие в пьесе шута. Шут — неотъемлемая часть трагедии. Он не только выполняет функцию хора, проясняя центральную ситуацию и комментируя ее умнее, чем остальные лица, но и являет собою контраст неистовствам Лира. Его шутки, загадки, стишки, его бесконечные насмешки над безрассудным идеализмом Лира, иной раз откровенно презрительные, а иной — возвышающиеся до меланхолической поэзии. («All thy other titles thou hast given away; that thou wast born with»<sup>5</sup>) — как струйка здравомыслия пронизывают пьесу, напоминая о том, что, несмотря на творящиеся здесь жестокости, несправедливости, обманы, недоразумения, жизнь идет где-то своим чередом. В том, что Толстого раздражает шут, проглядывает его более глубокий спор с Шекспиром. Он возражает, и не без оснований, против неряшливости шекспировских пьес, неуместностей, неправдоподобных положений, напыщенного языка: но, по сути, больше всего ему противно в

---

<sup>5</sup> Остальные титулы ты роздал. А это [дурак] — природный. (Перевод Б. Пастернака.)

---

них буйное изобилие — не столько даже радость от жизни, сколько интерес ко всем ее реальным проявлениям. Ошибкой будет отмахнуться от Толстого как от моралиста, нападающего на художника. Он никогда не говорил, что искусство как таковое вредно или бессмысленно, не говорил и о том, что техническая виртуозность не имеет значения. Но главным его стремлением под конец жизни стало сузить диапазон человеческого сознания. Интересов человека, его привязанностей в физическом мире, его повседневных борений должно быть как можно меньше, а не больше. Литература должна состоять из притч, очищенных от подробностей и почти не зависящих от языка. Притчи — и в этом Толстой отличается от банального пуританина — сами должны быть произведениями искусства, но удовольствию и любопытству в них не место. Науку тоже надо освободить от любознательности. Дело науки, говорит он, — не интересоваться тем, что происходит, а учить человека тому, как следует жить. То же — с историей и политикой. Многие проблемы (например, дело Дрейфуса) просто не стоят того, чтобы ими заниматься, пусть себе висят. Да и вся его теория «наваждений» или «эпидемических внушений», где он валит в одну кучу крестовые походы и голландское помещительство на тюльпанах, говорит о желании рассматривать многие человеческие занятия как муравьиную суету, необъяснимую и неинтересную. Понятно, почему его выводит из терпения хаотичный, подробный, ораторствующий писатель Шекспир. Толстой относится к нему, как раздражительный старик к шумному надоедливому ребенку. «Что ты всё прыгаешь? Посиди спокойно, как я!» Старик по-своему прав, но в том беда, что ребенок чувствует живость в ногах, которую старик утратил. А если старик еще помнит о ней, то только сильнее раздражается: он и детей сделал бы дряхлыми, если б мог. Толстой, наверно, не знает, чего именно он не разглядел в Шекспире, но чувствует, что чего-то не разглядел, и желает, чтобы другие тоже этого не увидели. По натуре

---

он был человеком властным и эгоистом. Уже совсем взрослым он мог в гневе ударить слугу, а позже, по словам его английского биографа Деррика Лиона, «часто испытывал желание по малейшему поводу дать пощечину тем, кто был с ним не согласен». Подобный характер не обязательно исправляется в результате религиозного обращения; мало того: иллюзия рождения заново иногда способствует еще более пышному расцвету врожденных пороков, хотя, может быть, в более утонченной форме. Толстой сумел отвергнуть физическое насилие и понять, что из этого следует, но терпимость и смирение ему не свойственны, и, даже не зная других его произведений, по одной этой статье можно понять, насколько он склонен к духовной агрессии.

Но Толстой не просто пытается отнять у других удовольствие, которого лишен сам. Этим он тоже занят, но конфликт его с Шекспиром обширнее. Это конфликт между религиозным и гуманистическим отношением к жизни. Тут мы возвращаемся к главной теме «Короля Лира», о которой Толстой не упоминает, хотя сюжет пересказывает подробно.

«Лир» — одна из тех шекспировских пьес (а их меньшинство), которые определено *о чем-то*. Толстой справедливо сетует на то, что масса вздора написана о Шекспире, как о философе, психологе, как о «бесспорном этическом авторитете» и т. д. Шекспир не был систематическим мыслителем, самые серьезные его мысли высказаны не к месту или не прямо, и мы не знаем, насколько он руководствовался в письме «идеями», не знаем даже, сколько из приписываемых ему пьес он сочинил в самом деле. В сонетах он ни разу не говорит о занятиях драматургией, притом, что актерскую свою профессию не без стыда упоминает. Вполне возможно, что, по меньшей мере, половину своих пьес он считал обыкновенной поденщиной и вряд ли беспокоился об идее и правдоподобности, коль скоро мог слепить — чаще всего из ворованного материала — нечто более или менее пригодное для сцены. Однако

это отнюдь не весь Шекспир. Во-первых, как указывает сам Толстой, Шекспир имеет привычку вставлять не к месту общие рассуждения, вкладывая их в уста своих персонажей. Для драматурга это серьезный недостаток, но он не согласуется с толстовской характеристикой Шекспира как пошлого писаки, который лишен собственных мнений и озабочен только тем, чтобы произвести наибольший эффект с наименьшими трудами. Мало того: десяток его пьес, большей частью написанных после 1600 года, безусловно, несут идею и даже мораль. Они выстроены вокруг главной темы, которую иногда можно выразить одним словом. Например, «Макбет» — о честолюбии, «Отелло» — о ревности, а «Тимон Афинский» — о деньгах. Тема «Лира» — отречение, и только намеренная слепога помешает понять, о чем говорит Шекспир.

Лир отказывается от трона, но ожидает, что все по-прежнему будут относиться к нему как к королю. Он не понимает, что, если отдает власть, другие воспользуются его слабостью, что те, кто льстит ему всего бесстыднее, то есть Регана и Гонерилья, против него и восстанут. Уяснив, что люди больше не желают подчиняться ему как прежде, Лир приходит в гнев, по мнению Толстого, «странный и неестественный», а на самом деле вполне понятный. В своем безумии и отчаянии Лир проходит две стадии, опять-таки вполне естественные при его положении, хотя не исключено, что в одной из них он отчасти служит рупором Шекспиру. Первая — отвращение, когда Лир, так сказать, раскаивается, что был королем, и впервые осознает подлость формального правосудия и расхожей морали. Другая — бессильная ярость, когда он обрушивает воображаемые кары на тех, кто причинил ему зло.

To have a thousand with red burning spits  
Come hissing upon them!<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Пусть тысячи каленых вертелов  
С кипящими на них...  
(Перевод М. Кузмина.)

И:

It were a delicate stratagem to shoe  
A troop of horse with felt: I'll put't in proof  
And when I have stol'n upon these sons-in-law,  
Then kill, kill, kill, kill, kill!

Только под конец он понимает — рассудок вернулся к нему, — что власть, месть, победа не стоят трудов:

No, no, no, no! Come, let's away to prison...  
..... and we'll wear out,  
In a wall'd prison, packs and sects of great ones  
That ebb and flow by the moon<sup>8</sup>.

Но к тому времени, когда он сделает это открытие, будет уже поздно, ибо его смерть и смерть Корделии — дело решенное. Такова эта история и, несмотря на некоторую неуклюжесть изложения, это хорошая история.

Но не напоминает ли она удивительно историю самого Толстого? Есть общее сходство, которого трудно не заметить, потому что самым впечатляющим событием в жизни Толстого, как и Лира, был мощный и добровольный акт отречения. В старости он отказался от поместья, от титула и авторских прав и попытался — попытался всерьез, хотя и безуспешно — отказаться от привилегированного положения и жить жизнью крестьянина. Однако более глубокое сходство заключается в том, что Толстой подобно Лиру

<sup>7</sup> Уловка тонкая была б — копыта  
Закутать войлоком. Я попытаюсь.  
К зятьям своим тихонько я подкрадусь —  
И бей, бей, бей, бей, бей!  
(Перевод М. Кузмина.)

<sup>8</sup> Нет, нет!  
Пускай нас отведут скорей в темницу...  
Мы в каменной тюрьме переживем  
Все лжеученья, всех великих мира,  
Все смены их, прилив их и отлив.  
(Перевод Б. Пастернака.)

действовал из ложных побуждений и не достиг желаемых результатов. Согласно Толстому, цель всякого человека — счастье, а счастья можно достигнуть, только исполняя волю Божию. Но исполнить волю Божию — значит отвергнуть земные удовольствия и устремления и жить только для других. Следовательно, в конечном счете, Толстой отрекся от мира, предполагая, что это сделает его счастливым. Но если что и можно сказать с уверенностью о его последних годах, — счастлив он не был. Наоборот, его доводило почти до сумасшествия поведение окружающих, которые донимали его как раз из-за его отречения. Как и Лир, Толстой не обладал смирением и плохо разбирался в людях. Несмотря на крестьянскую рубаху, временами он был склонен вновь становиться в позицию аристократа и тоже имел двух детей, в которых верил и которые, в конце концов, обратились против него, — хотя, конечно, не столь драматическим образом, как Регана и Гонерилья. С Лиром его роднило и преувеличенное отвращение к сексуальности. Его слова, что брак — это «рабство», «пресыщение», «мерзость», и означает, что надо терпеть близость уродства, грязи, запаха, болячек, вторят известной вспышке Лира:

But to the girdle do the gods inherit,  
Beneath is all the fiends;  
There`s hell, there`s darkness, there`s sulphurous pit,  
Burning, scalding, stench consumption, etc. etc.<sup>9</sup>

И даже конец его жизни, — чего он не мог предвидеть, работая над статьей о «Лире», — внезапный, незапланированный уход из дома в сопровождении лишь преданной дочери, смерть на захолустной станции — будто призрачное напоминание о «Лире».

<sup>9</sup> Наполовину — как бы божьи твари,  
Наполовину же — потемки, ад.  
Кентавры, серный пламень преисподней,  
Ожоги, немощь, пагуба, конец!  
(Перевод Б. Пастернака.)

Что Толстой осознавал это сходство или признал бы его, скажи ему кто-нибудь об этом, предполагать, конечно, нельзя. Но на его отношение к пьесе тема ее, наверное, повлияла. Отречение от власти, отказ от владений — такой сюжет, вероятно, не мог не задеть его за живое. И следовательно, мораль, выведенная Шекспиром, должна была беспокоить и сердить его больше, чем мораль другой какой-нибудь пьесы — скажем, «Макбета» — менее близкой ему лично. Но какова же мораль «Лира»? Морали, очевидно, две: одна явная, другая подразумеваемая.

Шекспир начинает с того, что, лишив себя силы, ты тем самым навлекаешь на себя нападение. Это не значит, что на тебя ополчатся все (Кент и шут стоят за Лира с начала до конца), но охотник, скорее всего, найдется. Если ты бросил оружие, кто-то менее порядочный его подберет. Если подставишь другую щеку, по ней ударят сильнее, чем в первый раз. Это не всегда происходит, но этого следует ожидать, а коль произошло, не жалуйся. Второй удар, так сказать, вытекает из того, что другая щека подставлена. Таким образом, есть элементарная, здравым смыслом подсказанная мораль шута: «Не уступай власти, не отдавай владений». Но есть и другая. Шекспир нигде не высказывает ее прямо, и не так уж важно, сознавал ли он ее сам отчетливо. Она заключена в сюжете, который, в конце концов, сложил он или приспособил к своим целям. И она вот такая: «Отдай владения, если хочешь, но не жди, что это сделает тебя счастливым. Вероятно, не сделает. Если живешь для других, так для других и живи, а не для того, чтобы окольным путем на этом выгадать».

Ни тот, ни другой вывод, очевидно, не мог поправиться Толстому. В первом нашел выражение обыкновенный, земной эгоизм, от которого он искренне хотел избавиться. Второй противоречит его желанию и невинность соблюсти, и капитал приобрести, то есть убить в себе эгоизм и тем обрести жизнь вечную. «Лир», разумеется, не проповедь альтруизма. Он просто показывает, к чему приводит самоотречение из корысти. Шекспир был человек

---

достаточно земной, и если бы его вынудили взять чью-то сторону в его же пьесе, симпатии его были бы на стороне шута. По крайней мере, он видел ситуацию всесторонне и мог представить ее на уровне трагедии. Порок наказан, но добродетель не торжествует. Мораль поздних трагедий Шекспира — не религиозная в обычном смысле и уж точно не христианская. Лишь две из них, «Гамлет» и «Отелло», происходят в христианское время, и даже в них, если не считать выходок призрака в «Гамлете», нет никаких указаний на «потусторонний мир», где все будет правильно. Во всех этих трагедиях исходной является мысль, что жизнь, хоть и полна горестей, стоит того, чтобы жить; Толстой же в преклонные годы не разделял этого убеждения.

Толстой не был святым, но очень старался им стать, и критерии, которые он применял к литературе, были не от мира сего. Важно понять, что разница между обычным человеком и святым — не количественная, а качественная. Иначе говоря, одного нельзя рассматривать как несовершенную форму другого. Святой, — во всяком случае, святой в понимании Толстого — не стремится улучшить земную жизнь: он стремится покончить с ней и заменить ее чем-то другим. Очевидное свидетельство этого — его утверждение, что безбрачие «выше» брака. Если бы только мы перестали размножаться, сражаться, бороться и радоваться, фактически говорит Толстой, если бы смогли избавиться не просто от наших грехов, но и от всего, что привязывает нас к этой земле, включая любовь в обычном смысле, — когда одного человека любят больше, чем другого, — тогда бы весь этот мучительный процесс закончился, и наступило бы Царствие Небесное. Но нормальный человек не хочет Царствия Небесного, он хочет, чтобы продолжалась жизнь на земле. Не потому только, что он «слаб», «грешен» и жаждет «земных удовольствий». Большинство людей свою долю удовольствий в жизни получают, но в итоге жизнь — страдание, и только очень молодые или очень глупые думают иначе. И, в конечном счете, корыстна и гедонистична как раз христианская по-

---

зиция, поскольку цель всегда — уйти от мучительной борьбы в земной жизни и обрести вечный покой на небесах или в какой-нибудь нирване. Гуманистическая позиция состоит в том, что борьба должна продолжаться, и за жизнь платят смертью. «Men must endure / Their going hence, even as their coming hither: / Ripeness is all»<sup>10</sup>.

Это не христианское мироощущение. Между гуманистом и верующим часто бывает кажущееся перемирие, но в действительности их позиции непримиримы: надо выбирать между здешним миром и иным. И громадное большинство людей, если бы понимали дилемму, выбрали бы этот мир. Они и выбирают, коль скоро продолжают работать, размножаться и умирать вместо того, чтобы подавлять свои способности в надежде получить лицензию на существование еще где-то.

О религиозных убеждениях Шекспира мы знаем немного и, исходя из написанного им, доказать, что они у него были, трудно. Во всяком случае, он не был ни святым, ни кандидатом в святые: он был просто человеком, и в некоторых отношениях не очень хорошим. Ясно, например, что он искал расположения богатых и облеченных властью и мог льстить им самым холопским образом. Он отменно осторожен, если не сказать, труслив, в выражении непопулярных взглядов. Почти никогда не вкладывает он подрывную или скептическую реплику в уста персонажа, которого можно было бы отождествить с ним самим. Во всех его пьесах острые социальные критики, люди, подающиеся ходячим заблуждениям — это фигляры, злодеи, сумасшедшие или симулирующие сумасшествие, люди, впавшие в исступление. Особенно наглядна эта тенденция в «Лире». В пьесе много завуалированной социальной критики (чего не заметил Толстой), но выступает с ней либо шут, либо Эдгар, когда прикидывается безум-

---

<sup>10</sup> Должен каждый  
Терпеть, являясь в мир и удаляясь:  
На всё свой срок.

(Перевод М. Кузмина.)

---

ным, либо Лир в приступах безумия. В нормальном состоянии Лир едва ли хоть раз произносит что-то разумное. Но само то, что Шекспиру приходилось прибегать к подобным уверткам, показывает, насколько широк был охват его мыслей. Он не может удержаться от высказываний почти обо всем на свете, правда, надевая при этом разные маски. Если вы однажды внимательно прочли Шекспира, то редкий день не процитируете его, ибо мало на свете важных тем, о которых он не порассуждал или хотя бы не упомянул в том или ином сочинении — бессистемно, но пронизательно. Даже эти неуместности, которыми пересыпана каждая пьеса — каламбуры и загадки, перечни имен, обрывки репортажей, вроде разговора гонцов в «Генрихе IV», соленые шутки, отрывки забытых баллад, — все они происходят от избытка жизни. Шекспир не был ни философом, ни ученым, но был наделен любознательностью: он любил земное, любил процесс жизни, что, повторю, не тождественно любви к удовольствиям или желанию прожить как можно дольше. Но сохранился Шекспир, конечно, не потому, что он мыслитель, да и как драматурга его могли бы забыть — не будь он поэтом. Главная его притягательность для нас — в его языке. Насколько он сам был зачарован музыкой слов, можно судить, наверное, по речам Пистоля. Они по большей части бессмысленны, но, если взять каждую строку по отдельности, это великолепные риторические стихи. По-видимому, обрывки звучной бессмыслицы («Let floods o'erswell, and fiends for food howl on»<sup>11</sup> и т. п.) то и дело рождались сами собой в голове Шекспира, и чтобы использовать их, пришлось изобрести полубезумного персонажа. Английский не был родным языком Толстого, его нельзя упрекнуть за глухоту к стихам Шекспира и даже за нежелание верить, что Шекспир необыкновенно владел словом. Но он отверг бы и саму идею, что фактура

---

<sup>11</sup> Разлейтесь бурно, реки! Войте, черти!  
«Генрих V». (Перевод Е. Бируковой.)

---

стиха есть самостоятельная ценность, как род музыки. Если бы и можно было доказать ему, что его объяснение славы Шекспира ошибочно, что в англоязычных странах, по крайней мере, популярность Шекспира подлинна, что одно его умение соединять со слогом слог радовало англоязычных людей из поколения в поколение — всё это было бы сочтено не достоинством Шекспира, а наоборот. Это было бы просто еще одним доказательством арелигиозной и приземленной природы Шекспира и его почитателей. Толстой сказал бы, что о поэзии надо судить по ее смыслу, а соблазнительные звуки только помогают замаскировать ложный смысл. На каждом уровне дилемма одна и та же: здешний мир против иного, — а музыка, безусловно, принадлежит здешнему миру.

Относительно характера Толстого, так же как и характера Ганди, всегда существовало некое сомнение. Вопреки некоторым утверждениям, он не был вульгарным ханжой и мог бы, наверное, подвергнуть себя еще большим лишениям, если бы не препятствовали на каждом шагу окружающие, в особенности жена. Но, с другой стороны, смотреть на таких людей, как Толстой, глазами их учеников опасно. Не исключено, и даже вполне вероятно, что они всего лишь сменили одну форму эгоизма на другую. Толстой пренебрег богатством, славой, своим положением в обществе, отверг насилие в любой форме и готов был за это страдать; однако трудно поверить, что он отверг принцип принуждения или, по крайней мере, избавился от желания принуждать других. Есть семьи, где отец говорит ребенку: «Еще раз так сделаешь — надеру уши», а мать со слезами на глазах берет ребенка на руки и нежно шепчет: «Маленький, хорошо ли так огорчать мамочку?». И кто докажет, что во втором методе меньше тиранства, чем в первом? Различие, которое на самом деле важно — не между насилием и ненасилием, а между жаждой власти и ее отсутствием. Есть люди, убежденные в том, что армия и полиция — зло, и, однако же, настроенные более нетерпимо и инквизиторски, чем обыкновенный человек, который

---

считает, что в некоторых обстоятельствах насилие необходимо. Они не скажут человеку: «Делай то-то и то-то, иначе отправись в тюрьму», но влезут, если смогут, в его сознание и станут диктовать ему мысли самым дотошным образом. Такие идеологии, как пацифизм и анархизм, подразумевающие, на первый взгляд, полное отрицание силы или власти, как раз благоприятствуют развитию подобных наклонностей. Ибо, если вы избрали идеологию, которая как будто чужда обычной политической грязи, идеологию, не сулящую вам никаких материальных выгод, — ясно же, что за вами правда? И чем больше вы правы, тем естественнее затолкать эту правду во всех остальных.

Если верить тому, что говорит в своей статье Толстой, он никогда не мог увидеть никаких достоинств в Шекспире и всегда изумлялся, что его коллеги-писатели Тургенев, Фет и другие, думают иначе. Можно не сомневаться, что в свои нераскаянные годы он заключил бы так: «Вы любите Шекспира, а я — нет. И кончим на этом». Позже, когда представление о том, что человечество не стрижено под одну гребенку, Толстой утратил, он стал воспринимать произведения Шекспира как нечто опасное для себя. Чем больше удовольствия получают люди от Шекспира, тем меньше они будут слушать Толстого. А значит, никому не должно быть позволено наслаждаться Шекспиром, как не должно быть позволено пить спиртное и курить табак. Правда, мешать им силой Толстой не станет. Он не требует, чтобы полиция изъяла все экземпляры сочинений Шекспира. Но он Шекспира опорочит, если сможет. Он постарается внедриться в сознание каждого поклонника Шекспира и испортить ему удовольствие любым способом, какой только придет в голову, в том числе — как я показал, излагая его статью, — доводами, противоречащими друг другу и даже не вполне честными.

Но самое удивительное, в конечном счете, — насколько это всё неважно. Как я уже сказал, опровергнуть критику Толстого нельзя, во всяком случае, по главным пунктам. Нет аргумента, способного защитить стихотворе-

---

ние. Оно защищает себя тем, что продолжает жить; в противном случае оно беззащитно. И если это мерило верно, я думаю, что вердикт Шекспиру будет: «не виновен». Как и всякий другой писатель, Шекспир рано или поздно будет забыт, но вряд ли когда-нибудь ему предъявят более тяжелое обвинение. Толстой был, наверное, самым прославленным литератором своего времени, и, определенно, не самым слабым критиком. Он обрушил на Шекспира всю свою обличительную мощь, как дреднот, громыхнувший залпом из всех орудий. И каков результат? Сорок лет спустя Шекспир все еще с нами, несколько не поврежденный, а от попытки уничтожить его ничего не осталось, кроме пожелтевших страниц статьи, которая вряд ли кем прочитана и забылась бы совсем, не будь Толстой еще и автором «Войны и мира» и «Анны Карениной».

*март 1947 г.*

---

## Предисловие к украинскому изданию «Скотного двора»<sup>1</sup>

Меня попросили написать предисловие к украинскому переводу «Скотного двора». Я понимаю, что пишу для читателей, о которых ничего не знаю, да и они, по всей вероятности, ничего не слышали обо мне.

Скорее всего, они ожидают, что в предисловии я расскажу о том, как возник «Скотный двор», но прежде я хотел бы рассказать кое-что о себе и о том, как я пришел к моей теперешней политической позиции.

Я родился в 1903 году в Индии. Мой отец служил там в английской администрации, и семья моя была обычной семьей среднего класса, такой же, как другие семьи военных, священников, правительственных чиновников, учителей, адвокатов, врачей и т. д. Я учился в Итоне, самой дорогой и снобистской из английских закрытых частных школ. Но попал я туда только потому, что получил стипендию — иначе отцу было бы не по карману отправить меня в такую школу.

Вскоре после ее окончания (мне еще не исполнилось двадцати лет) я отправился в Бирму и поступил в Индийскую имперскую полицию. Это была военизированная полиция, род жандармерии, наподобие испанской *Guardia Civil* или *Garde Mobile* во Франции. Я прослужил в ней

---

пять лет. Служба мне не нравилась, и я возненавидел империализм, хотя в то время националистические настроения в Бирме не очень ощущались, и отношения между англичанами и бирманцами были не особенно плохими. В 1927 году, во время отпуска в Англии, я подал в отставку и решил стать писателем. Стал писать, но поначалу без особого успеха. В 1928–1929 годах я жил в Париже, писал рассказы и романы, которые никто не хотел печатать (потом я все их уничтожил). В последующие годы я едва сводил концы с концами и несколько раз голодал. Зарабатывать на жизнь своими писаниями я стал лишь с 1934 года. А до тех пор иногда месяцами жил среди бедной и полукриминальной публики, которая обитает в худших частях бедных районов или промышляет на улицах воровством и попрошайничеством. В то время я общался с ними вынужденно, из-за недостатка денег, но позже их образ жизни очень заинтересовал меня сам по себе. Много месяцев я провел за изучением (на этот раз систематическим) условий жизни шахтеров на севере Англии. До 1930 года я не считал себя социалистом. У меня не было четко определенных политических взглядов. Я стал склоняться к социализму скорее из отвращения к тому, как угнетают и игнорируют беднейшую часть промышленных рабочих, чем из теоретического восхищения плановым обществом.

В 1936 году я женился. Чуть ли не в ту же неделю началась гражданская война в Испании. Мы с женой оба хотели поехать в Испанию и воевать на стороне испанского правительства. Через шесть месяцев, как только я закончил книгу, мы туда отправились. В Испании на Арагонском фронте я провел почти полгода — пока фашистский снайпер в Уэске не прострелил мне горло.

На ранних этапах войны иностранцы, в общем, не знали о внутренних конфликтах между различными политическими партиями, поддерживающими правительство. Благодаря ряду случайностей, я вступил не в Интернациональную бригаду, как большинство иностранцев, а в ополчение POUM — то есть испанских троцкистов.

---

<sup>1</sup> Это предисловие написано для издания, которое распространялось украинской организацией перемещенных лиц в Мюнхене.

---

И вот, в середине 1937 года, когда коммунисты получили контроль (или частичный контроль) над испанским правительством и начали охоту на троцкистов, мы с женой оказались в числе ее жертв. Нам повезло: мы выбрались из Испании живыми и даже ни разу не были арестованы. Многих наших друзей расстреляли, другие по долгу просидели в тюрьмах или просто исчезли.

Эта охота за людьми в Испании проходила одновременно с большими чистками в СССР и была как бы их дополнением. В Испании и в России обвинения были одни и те же (а именно, сговор с фашистами), и, что касается Испании, у меня были все основания считать, что обвинения эти ложные. Это был наглядный урок: он показал мне, насколько легко тоталитарная пропаганда может управлять мнением просвещенных людей в демократических странах.

Мы с женой видели, как ни в чем не повинных людей бросают в тюрьму только потому, что подозревают их в неортодоксальности. Однако по возвращении в Англию мы обнаружили, что множество разумных и хорошо информированных наблюдателей верят в самые фантастические сообщения газетчиков о заговорах, изменах и вредительстве, якобы вскрывшихся на московских процессах.

И я понял яснее, чем когда бы то ни было, до какой степени плохо влияет советский миф на западное социалистическое движение.

Здесь я останавлиюсь, чтобы объяснить мое отношение к советскому режиму.

Я никогда не был в России, и все мои знания о ней ограничиваются тем, что я прочел в книгах и газетах. И будь у меня такая возможность, я все равно не захотел бы вмешиваться во внутренние советские дела: я не стал бы осуждать Сталина и его соратников только за их недемократические и варварские методы. Вполне возможно, что при том положении, в каком находится страна, они не могли вести себя иначе, даже имея самые лучшие намерения.

Но с другой стороны, для меня было крайне важно, чтобы люди в Западной Европе увидели советский режим

---

таким, каков он есть. С 1930 года я не видел почти никаких признаков того, что СССР движется к социализму в истинном смысле этого слова. Напротив, по всем приметам он превращался в иерархическое общество, где у правителей так же мало оснований отказаться от власти, как у любого другого правящего класса. Кроме того, рабочие и интеллигенция в такой стране, как Англия, не могут понять, что сегодняшний СССР сильно отличается от того, чем он был в 1917 году. Отчасти они и не хотят этого понимать (то есть хотят верить, что где-то действительно существует социалистическая страна), а отчасти, привыкнув к сравнительной свободе и умеренности в общественной жизни, просто не могут себе представить, что такое тоталитаризм.

Но надо помнить, что Англия не вполне демократическая страна. Это к тому же страна с большими классовыми привилегиями (и даже сейчас, после войны, которая несколько всех уравнивала, с огромным разрывом в доходах). Тем не менее, это страна, где люди несколько веков жили, не зная гражданской войны, где законы относительно справедливы, где официальным известиям и статистике почти всегда можно верить и, наконец, где меньшинство может иметь и выражать собственные взгляды, не подвергаясь смертельной опасности. В такой атмосфере обыватель не способен понять, что такое концентрационные лагеря, массовые депортации, аресты без суда, цензура и прочее. Все, что он читает о такой стране, как СССР, автоматически переводится в английские понятия, и он наивно принимает на веру выдумки тоталитарной пропаганды. До 1939 года и даже позже большинство английского народа не имело представления о подлинном характере нацистского режима в Германии, а теперь находится под властью таких же иллюзий насчет советского режима.

Это принесло большой вред социалистическому движению в Англии и серьезно повлияло на английскую внешнюю политику. По моему мнению, ничто так не иска-

---

зило первоначальную идею социализма, как вера в то, что Россия — социалистическая страна, и всем действиям ее властей надо, если не подражать, то находить оправдание.

Так за последние десять лет я убедился, что если мы хотим возродить социалистическое движение, то советский миф должен был разрушен.

Вернувшись из Испании, я решил разоблачить советский миф с помощью истории, которая может быть понятна почти каждому и легко переведена на другие языки. Однако конкретные детали истории мне не давались, пока однажды (я жил тогда в деревеньке) я не увидел мальчика лет десяти, который гнал по узкой тропинке громадную упряжную лошадь и хлестал ее всякий раз, когда она хотела свернуть. Мне пришло в голову, что если бы такие животные осознали свою силу, мы потеряли бы над ними власть, и что люди эксплуатируют животных примерно так же, как богатые эксплуатируют пролетариат. Я стал анализировать теорию Маркса с точки зрения животных. Им ясно, что представление о классовый борьбе между людьми — чистая иллюзия, ибо, когда надо эксплуатировать животных, все люди объединяются против них: подлинная борьба идет между людьми и животными. Отправляясь отсюда, уже нетрудно было сочинить историю. Я не садился ее писать до 1943 года, потому что все время был занят другой работой, не оставлявшей мне времени; а в конце концов включил некоторые события, например, Тегеранскую конференцию, которые происходили, когда я уже писал. Так что основные контуры повести я держал в голове шесть лет, прежде чем взялся за перо.

Комментировать повесть я не хочу; если она не говорит сама за себя, значит, она не удалась. Но хотел бы сделать два замечания: во-первых, притом, что многие эпизоды взяты из реальной истории русской революции, они представлены схематично, и хронологический порядок их изменен; этого требовала симметрия повествования. И второе, упущенное из виду большинством крити-

---

ков, возможно потому, что я недостаточно это выделил. Кое-кто из читателей может закрыть книгу с впечатлением, что заканчивается она полным миром между свиньями и людьми. Мой замысел был не таков; наоборот, я намеревался закончить на громкой ноте несогласия, потому что дописывал повесть сразу после Тегеранской конференции, закрепившей, как всем казалось, наилучшие отношения между СССР и Западом. Лично я не верил, что такие хорошие отношения сохранятся надолго, и, как показали события, не очень ошибся...

*март 1947 г.*

---

## Писатели и Левиафан

О положении писателя в эпоху, когда всё находится под контролем государства, уже немало сказано, хотя большая часть информации, относящаяся к этой теме, пока недоступна. Я не собираюсь высказываться за государственный патронаж над искусствами или против него, я только хочу определить, какие именно требования, исходящие от государственной машины, которым хотят нас подчинить, отчасти объяснимы атмосферой, иными словами, мнениями самих писателей и художников, степенью их готовности подчиниться или, напротив, сохранить Живым дух либерализма. Если лет через десять выяснится, как мы раболепствовали перед деятелями типа Жданова, значит, иного мы и не заслужили. Совершенно ясно, что уже и сейчас среди английских литераторов сильны тоталитаристские настроения. Впрочем, здесь речь идет не о каком-то организованном и сознательном движении вроде коммунистического, а только о последствиях, вызванных возникшей перед людьми доброй воли необходимостью думать о политике и выбирать ту или иную политическую позицию.

Мы живем в век политики. Война, фашизм, концлагеря, резиновые дубинки, атомные бомбы и прочее в том же роде — вот о чем мы размышляем день за днем, а значит, о том же главным образом пишем, даже если не каса-

емся всего этого напрямую. По-другому быть не может. Очутившись на пароходе, который тонет, думаешь только о кораблекрушении. Но тем самым мы не просто ограничиваем свой круг тем, мы и свое отношение к литературе окрашиваем пристрастиями, которые, как нам хотя бы порой становится ясно, лежат вне пределов литературы. Нередко мне начинает казаться, что даже в лучшие времена литературная критика — сплошной обман, поскольку нет никаких общепринятых критериев, реальность не дает никаких подтверждений оценкам, по которым вот эта книга «хорошая», а та «плохая», и выходит, что всякое суждение основано лишь на том или ином своде правил, призванных обосновать интуитивные пристрастия. Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится» или «не нравится», а все прочее — лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение, но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах в периодике с четкой политической линией. Да и вообще, работая в газете, чьи позиции разделяешь, грешешь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека, — тем, что умалчиваешь о собственных взглядах. Так или иначе, бесчисленные произведения, в которых твердо проводится определенная агитация — за Советскую Россию или против, за сионизм или против, за католическую церковь или против и т. д., — оказываются оценены еще до того, как их прочтут, собственно, до того, как напишут. Можно уверенно предсказать, какие отклики будут в этой газете, а какие в другой. И при всей бесчестности, которую уже едва осознают,

---

поддерживается претензия, будто о книгах судят по литературным меркам.

Понятно, что вторжение политики в литературу было неотвратимым. Даже не возникни особый феномен тоталитаризма, оно бы все равно свершилось, потому что в отличие от своих дедов мы прониклись угрызениями совести из-за того, что в мире так много кричащих несправедливостей и жестокостей, и это чувство вины, побуждая нас ее искупить, делает невозможным чисто эстетическое отношение к жизни. В наше время никто не смог бы так самозабвенно отдаться литературе, как Джойс или Генри Джеймс. Но беда в том, что, признав свою политическую ответственность, мы отдаем себя во власть ортодоксальных доктрин и «партийных подходов», хотя из-за этого приходится трусливо молчать и поступаться истиной. По сравнению с писателями викторианской эпохи нам выпало несчастье жить среди жестко сформулированных политических идеологий, чаще всего заранее зная, какие идеи представляют собой ересь. Современный писатель постоянно снедаем страхом — в сущности, не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам. Хорошо хоть, что таких групп, как правило, несколько, и есть выбор. Однако всегда есть и доминирующая ортодоксия, посягательство на которую требует очень крепких нервов и нередко готовности сократить свои расходы вполтину, причем на много предстоящих лет. Всем известно, что последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться, — «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не дай бог, и к тебе могут прилипнуть эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны» или хотят, чтобы о них так думали. Мне неизвестно ни одного случая, когда бы человек го-

---

ворил о себе, что он «буржуазен», точно так же как люди, достаточно грамотные, чтобы понять, о чем речь, ни за что не признают за собой антисемитизма. Все мы славные демократы, антифашисты, антиимпериалисты, все презираем классовые разделения, возмущаемся расовыми предрассудками и т. д. Никто всерьез не сомневается, что нынешняя «левая» ортодоксия предпочтительнее довольно снобистской и ханжеской консервативной ортодоксии, которая доминировала двадцать лет назад, когда самыми влиятельными журналами были «Крайтирион» и (куда менее притязательный) «Лондон Меркьюри». Ведь, что ни говори, провозглашенной целью «левых» является жизнеспособное общество, которого и вправду хотят массы людей. Но у «левых» есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признается, некоторые проблемы становятся просто невозможным по-настоящему обсуждать.

Вся левая идеология — и научная, и утопическая — разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией экстремистской, подчеркнуто не считавшейся с царями, правительствами, законами, тюрьмами, полицейскими, генералами, знаменами, границами, с патристическими чувствами, религией, моралью — словом, со всем наличествующим порядком вещей. Еще на нашей памяти левые силы во всех странах сражались против тирании, казавшейся неузвжимой, и легко было предполагать, что, если бы только вот эта конкретная тирания — капитализм — была свергнута, социализм немедленно бы воцарился вместо нее. Кроме того, от либералов левые переняли несколько весьма сомнительных верований — например, во всепобеждающую силу правды, в то, что подавлять — значит губить самих себя, и что по природе своей человек добр, и что злым его делают исключительно окружающие условия. Эта перфекционистская доктрина глубоко укоренена почти во всех нас, и, движимые верой в нее, мы протестуем, когда, например, правительство лейбористов предоставляет крупные суммы дочерям мо-

---

нарха или не решается национализировать сталелитейную промышленность. Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями, не желая в этом признаться.

Первым таким столкновением с реальностью оказалась русская революция. В силу довольно сложных причин едва ли не все английские левые должны были принять установленную ею систему как «социалистическую», понимая при этом, что и принципы ее, и практика совершенно чужды всему, что подразумевается под «социализмом» у нас самих. А в результате выработалось какое-то перевернутое мышление, допускающее, что такие слова, как «демократия», обладают двумя взаимоисключающими значениями, а такие акции, как массовые аресты или насильственные выселения, оказываются в одно и то же время как правильными, так и недопустимыми. Следующий удар по левой идеологии нанес своими успехами фашизм, который сокрушил свойственные левым пацифистские и интернационалистские устремления, что, однако, не привело к решительному пересмотру самой доктрины. Фашистская оккупация заставила европейские народы убедиться в том, что давно было известно из собственного опыта народам колоний: классовые антагонизмы не так уж сверхважны, и существует такое понятие, как интересы всей нации. С появлением Гитлера трудно стало всерьез рассуждать о «внутреннем враге» и что национальная независимость не имеет никакого значения. Но хотя все мы об этом знаем и, когда необходимо, действуем, исходя из этого знания, по-прежнему господствует чувство, что сказать об этом прямо означало бы совершить предательство. Наконец — и здесь возникают самые большие сложности, — левые теперь у власти, так что они обязаны взять на себя ответственность, принимая справедливые решения.

Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников, поскольку даже и в тех случаях, когда удается достичь обещанного ими процветания, обязатель-

---

но приходится пережить трудный переходный период, о котором, до того как взять власть, едва упоминалось. Вот и мы сейчас видим, как наше правительство, отчаянно борясь с экономическими трудностями, вынуждено преодолевать последствия своей же пропаганды, которая велась в предшествующие годы. Переживаемый нами кризис не какое-то неожиданное бедствие вроде землетрясения, и вызван он не войной — она его только стимулировала. Можно было десятки лет назад предвидеть, что произойдет нечто подобное. Еще с девятнадцатого века крайне проблематичным оставалось стабильное увеличение национального дохода, зависящего частью от инвестиций за рубежом, частью от надежных рынков и дешевого сырья из колоний. Было ясно, что рано или поздно что-то нарушится, и мы окажемся вынужденными уравнивать экспорт импортом; а если это случится, уровень жизни в Англии, включая уровень жизни рабочего класса, неизбежно упадет — по крайней мере, на время. Однако левые партии, сколь ни громогласно выступали они против империализма, никогда не касались таких материй. Иной раз они готовы были признать, что британские рабочие до некоторой степени живут за счет грабежа Азии и Африки, но при этом дело непременно изображалось так, словно, отказавшись от таких доходов, мы каким-то образом все равно умудримся сохранить процветание. А рабочих главным образом и обращали в социалистическую веру, говоря им: вот видите, вас эксплуатируют, — тогда как грубая истина, если исходить из положения вещей в мире, сводилась к другому: они сами эксплуатировали. Сегодня, судя по всему, мы пришли к тому, что уровень жизни рабочего класса не может быть сохранен на достигнутом уровне, уж не говоря о росте. Даже в том случае, если богатых заставили бы уйти, народным массам, тем не менее, пришлось бы или меньше потреблять, или больше производить. Не преувеличиваю ли я серьезность ситуации? Может быть, и преувеличиваю; был бы рад ошибиться. Но веду я вот к чему: среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта про-

---

блема не может обсуждаться с откровенностью. Снижение зарплаты, увеличение продолжительности рабочего дня — такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога, как бы ни складывались дела в экономике. Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, рискуешь тут же удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так страшимся. Куда безопаснее избегать подобных тем, сделав вид, будто возможно поправить дело перераспределением существующего национального дохода.

Тот, кто принимает ту или иную ортодоксию, неизбежно принимает вместе с нею противоречия, которые ждут своего решения. Например, каждому разумному человеку отвратительна индустриализация с ее последствиями, однако ясна необходимость не препятствовать ей, а, наоборот, способствовать, потому что этого требуют борьба с бедностью и освобождение рабочего класса. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не избрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Подобные примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободен от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому: вопрос, на который так и не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей противоречивостью их смысла. Не придется рыться в ворохах периодики, чтобы обнаружить последствия такого способа мышления.

Я, конечно, не хочу сказать, что духовная бесчестность свойственна одним социалистам и левым или свойственна им более, нежели другим. Речь идет только о том, что приверженность любой политической доктрине с ее дисциплинирующим воздействием, видимо, противоречит сути писательского служения. Это относится и к таким доктринам, как пацифизм или индивидуализм, хотя

---

они притязают находиться вне каждодневной политической борьбы. Право же, все слова, кончающиеся на «-изм», приносят с собой душок пропаганды. Верность знамени необходима, однако для литературы она губительна, пока литературу создают личности. Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности.

Ну, и что же из этого следует? Должны ли мы заключить, что обязанность каждого писателя — «держаться в стороне от политики»? Безусловно, нет! Ведь я уже сказал, что ни один разумный человек просто не может чураться политики, да и не чурается в такое время, как наше. Я не предлагаю ничего иного, кроме более четкого, нежели теперь, разграничения между политическими и литературными обязанностями, а также понимания, что готовность совершать поступки неприятные, однако необходимые, вовсе не требует готовности бездумно соглашаться с заблуждениями, которые им обычно сопутствуют. Вступая в сферу политики, писатели должны осознавать себя там просто гражданами, просто людьми, но не писателями. Не считаю, что ввиду утонченности восприятия, им свойственной, они вправе уклониться от будничной, грязной работы на ниве политики. Как все прочие, они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн, когда это нужно. Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач. Им надлежит твердо сказать, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения, им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергнуть, когда это требуется, официальную идеологию. Ни при каких условиях нельзя им отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам, и опасаться, что неортодоксальность распознают,

---

как, скорее всего, и случится. Может быть, для писателя даже скверный знак, когда его сегодня не подозревают в заигрывании с реакцией, точно так же, как двадцать лет назад плохо было дело, если его не обличали в приверженности к коммунизму.

Означает ли все сказанное, что писателю следует не только противиться диктату политических боссов, а лучше и вообще не касаться политики в своих книгах? И снова — безусловно, нет! Не существует причин, по которым нежелательно самым прямым образом затрагивать политику, если ему так хочется. Только пусть он говорит о ней как частное лицо, которое остается вне партии, или на крайний случай действует в качестве партизана на фланге регулярной армии, вовсе в нем не нуждающейся. Подобная позиция вполне совместима с обычной и полезной политической активностью. Скажем, когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах. Если это честный писатель, может случиться, что его творчество окажется в противоречии с его политическими акциями. Иногда этого в силу очевидных причин хотелось бы избежать; в таких случаях выход не в том, чтобы насиловать собственное вдохновение, а в том, чтобы промолчать.

Кому-то покажется пораженческим или двусмысленным мой совет писателю, когда накаляются конфликты, разделить свою деятельность на две не сообщающиеся сферы; но я просто не вижу, как практически он может поступить иначе. Замыкаться в башне из слоновой кости немислимо и нежелательно. Подчинять свою личность не только партийной машине, но даже идеологии, которую исповедует какая-то группа, значило бы покончить с собой как с писателем. Мы чувствуем болезненность этой дилеммы так отчетливо, потому что осознали необходимость вторжения в политику, но вместе с тем поняли, насколько это — грязное и унижительное дело. А в большинстве своем мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже любой

---

политический выбор, всегда лежит между добром и злом, как и в то, что все необходимое — тем самым справедливо. Думаю, пора нам расстаться с этими взглядами, уместными лишь в младенчестве. В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. Например, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует собой ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь обязанность во всем этом участвовать — а, на мой взгляд, ее должен чувствовать каждый за вычетом закрывшихся броней старческой немощи, глупости или лицемерия, — нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным. Для большинства людей эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена. По-настоящему они живут лишь в часы, свободные от службы, и ничто не связывает их политическую деятельность с деловой. Да, в общем-то, от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии. А от художника, особенно, от писателя, именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики. Если писатель отвергает такие требования, не следует думать, что он обрек себя на пассивность. В любой из двух своих ипостасей, каждая из которых в каком-то смысле есть его целое, он может, если нужно, действовать не менее решительно и напористо, чем все остальные. Но творчество, если оно обладает хоть какой-то ценностью, всегда будет результатом усилий того более разумного существа, которое остается в стороне, свидетельствует о происходящем, держась истины, признает необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий.

*март 1948 г.*

---

## Размышления о Ганди

Святых всегда надо считать виновными, пока не доказана их невиновность, но критерии, применяемые к ним, конечно, не могут быть во всех случаях одинаковыми. В случае Ганди хочется задать такой вопрос: в какой степени Ганди был движим тщеславием — представлением о себе как о смиренном голом старике, который сидит на молитвенном коврике и потрясает империю чисто духовной силой, — и до какой степени он компрометирует свои принципы, занимаясь политикой, которая по природе своей неотделима от принуждения и обмана? Чтобы дать исчерпывающий ответ, надо исследовать дела и писания Ганди в подробностях, ибо вся его жизнь была своего рода паломничеством, в которой каждый поступок значим. Но эта частичная автобиография, заканчивающаяся 1920-ми годами\* — веское свидетельство в его пользу, тем более, что она охватывает часть жизни, которую он назвал бы нераскаянной, и напоминает нам, что в этом святом или почти святом сидел очень пронизательный практичный человек, который мог бы при желании блестяще преуспеть на юридическом, административном, а то и на коммерческом поприще.

---

\* *M. K. Gandhi*. The Story of my Experiments with Truth. Translated from the Gujarati by Mahadev Desai.

---

Когда автобиография только появилась, я, помню, читал ее первые главы на скверно напечатанных страницах какой-то индийской газеты. Они произвели на меня хорошее впечатление, которого сам Ганди тогда не производил. То, что ассоциировалось с ним, — домотканая одежда, «силы души» и вегетарианство, — было непривлекательно, а его средневековая программа явно непригодна для отсталой, голодающей, перенаселенной страны. Ясно было также, что британцы его используют или думают, что используют. Строго говоря, как националист он был врагом. Но поскольку при каждом кризисе он всячески старался предотвратить насилие — а с британской точки зрения это означало предотвратить какие бы то ни было эффективные действия, — его можно было считать «нашим человеком». В частном порядке это цинично признавали иногда. Так же относились к нему и миллионеры-индийцы. Ганди призвал их покаяться, и, естественно, они предпочитали его социалистам и коммунистам, которые, будь у них возможность, на самом деле отобрали бы деньги. Насколько оправданны такие расчеты в долгой перспективе — сомнительно; как говорит сам Ганди, «в итоге обманщики обманывают только себя»; но, во всяком случае, почти неизменная мягкость в обращении с ним отчасти объяснялась тем, что его считали полезным. Британские консерваторы всерьез рассердились на него только в 1942 году, когда он фактически противопоставил свое «ненасилие» другому завоевателю.

Но я уже тогда видел, что британские чиновники, в чьих разговорах о нем веселая насмешка мешалась с неодобрением, на самом деле любят его и на свой лад им восхищаются. Никому не пришло бы в голову сказать, что он продажен или честолюбив в вульгарном смысле слова, или что его поступки продиктованы страхом или злобой. Оценивая такого человека, как Ганди, инстинктивно применяешь высокие мерки, так что некоторые его достоинства остались почти незамеченными. Даже из его автобиографии явствует, например, что он от природы был наделен выдающейся физической храбростью — и сама его

---

смерть подтверждает это: общественный деятель, сколько-нибудь ценящий свою жизнь, имел бы более чем достаточную охрану. Опять же, он, по-видимому, был совершенно свободен от маниакальной подозрительности, которую Э. М. Форстер справедливо называет в «Пути в Индию» извечным индийским пороком, подобно тому, как лицемерие — британский порок. Ему, без сомнения, хватало проницательности, чтобы распознать нечестность, и, однако, всегда, когда можно, он был склонен верить, что люди действуют из добрых побуждений, и у каждого есть хорошая сторона, с которой к нему можно подступить. Хотя происходил он из небогатого среднего сословия, жизнь его начиналась не слишком благополучно и внешне, он, вероятно, не производил большого впечатления. Его не мучила зависть и чувство неполноценности. Хотя Ганди, фактически, вел расовую войну, о людях он не думал в категориях расы или статуса. Губернатор провинции, миллионер-текстильщик, полуголодный дравид-кули, британский рядовой — все в равной степени люди, и подходить к ним надо одинаково. Характерно, что даже в самых худших обстоятельствах, как в Южной Африке, где он боролся за права индийцев и вызывал большое недовольство, у него не было недостатка в друзьях-европейцах.

Писавшая короткими кусками для публикации в газете, эта автобиография — не литературный шедевр, но впечатление от нее усиливается именно благодаря обыденности большей части материала. Стоит напомнить, что вначале устремления Ганди были вполне обычными для молодого индийского студента, и радикализм его убеждений нарастал постепенно, иногда даже против его желания. С интересом узнаешь, что было время, когда он носил цилиндр, брал уроки танцев, изучал французский язык и латынь, поднимался на Эйфелеву башню и даже пытался учиться игре на скрипке — всё это с целью как можно полнее усвоить европейскую культуру. Он не из тех святых, которые с детства отличались необыкновен-

---

ной набожностью, и не из тех, кто отрекался от мира после юношеских беспутств. Он исповедуется во всех проступках своей молодости, но исповедоваться там почти не в чем. На фронтисписе книги есть фотография имущества Ганди перед смертью. Добра там наберется фунтов на пять, и грехов у Ганди, по крайней мере, плотских грехов, если сложить их в одну кучу, будет примерно столько же. Несколько сигарет, несколько кусочков мяса, несколько монет, в детстве украденных у служанки, два посещения борделя (в обоих случаях он ушел, «ничего не сделав»), одна едва не случившаяся интрижка с домовладелицей в Плимуте, одна вспышка раздражения — вот, примерно, и весь список. Чуть ли не с детства он был глубоко серьезен, причем в этическом отношении, а не религиозном, но лет до тридцати какой-то особой цели жизнь свою не подчинял. Впервые он заявил о себе на публичном поприще — если это можно так назвать, — вегетарианством. Из-под его необыкновенных качеств все время проглядывает основательный бизнесмен среднего достатка — то, что он унаследовал от предков. Чувствуется, что если бы он оставил избранную стезю, то стал бы, наверно, находчивым, энергичным адвокатом и расчетливым политическим организатором, экономным в расходах, ловко управляющимся с разными комиссиями, неутомимым в сборе пожертвований. В характере его смешалось исключительно много разнородных черт, но вряд ли какую-нибудь можно было определенно назвать плохой, и, думаю, что даже злейшие враги Ганди признали бы, что он интересный и необыкновенный человек, обогативший мир одним тем, что он жил на свете. Вызывал ли он в людях любовь, и высоко ли ценили его учение те, кто не разделял религиозных взглядов, лежавших в его основании, — в этом я никогда не был вполне уверен.

В последние годы стало модно говорить о Ганди так, как будто он не только симпатизировал западному левому движению, но и прямо принадлежал к нему. Анархисты и пацифисты, в частности, считали его своим, замечая толь-

---

ко, что он был противником централизма и государственного насилия, но игнорируя то, что было антигуманистическим, не от мира сего в его доктринах. Учение Ганди — важно иметь это в виду — несовместимо с убеждением, что человек есть мера всех вещей, и что наша задача — сделать жизнь достойной на этой земле, поскольку другой у нас нет. Оно имеет смысл только в предположении, что Бог существует, а мир вещей — иллюзия, от которой надо избавиться. Стоит вспомнить о лишениях, которым подвергал себя Ганди (хотя, может быть, и не требовал, чтобы все его последователи поступали в точности так же), считая их обязательными, если ты хочешь служить Богу или человечеству. Прежде всего, не есть мяса и, если возможно, вообще никакой животной пищи. (Сам Ганди из соображений здоровья вынужден был позволить себе молоко, но, кажется, считал это отступничеством). Никакого алкоголя и табака, никаких специй и приправ, даже растительных, ибо пищу надо принимать не ради нее самой, а только чтобы сохранить силы. Во-вторых, по возможности, никаких половых сношений. Если же в них приходится вступать, — то только с целью зачатия и как можно реже. Сам Ганди на четвертом десятке принял обет *брахмачарьи*, который предполагает не только целомудрие, но и подавление половых импульсов. Такого состояния, по-видимому, трудно достичь без особой диеты и частых постов. Употребление молока опасно, в частности, тем, что возбуждает половое желание. И, наконец, — это кардинальный вопрос — ищущий добродетели не должен иметь близких друзей и любить кого-то в особенности.

Близкая дружба, говорит Ганди, опасна, потому что «друзья реагируют друг на друга», а преданность другу может довести до прегрешения. Это, безусловно, так. Больше того, если ты должен любить Бога или любить человечество в целом, то не можешь отдавать предпочтение отдельным людям. Это тоже верно, и как раз тут гуманистическая и религиозная позиции становятся несовместимыми. Для обыкновенного человека любовь ничего не оз-

---

начает, если не означает, что одних людей он любит больше, чем других. Из автобиографии нельзя понять, относился ли Ганди невнимательно к жене и детям, но, по крайней мере, ясно, что в трех случаях он предпочел бы, чтобы жена или ребенок умерли, но не приняли животной пищи, прописанной врачом. Правда, никто тогда все-таки не умер, и правда, что Ганди, хотя и оказывал, судя по всему, сильное моральное давление, всегда предоставлял пациенту право решать, согласен ли он остаться в живых ценой греха; однако, если бы право решать оставалось исключительно за ним, он запретил бы животную пищу, с каким бы риском это ни было сопряжено. Должен быть предел, говорит он, тому, на что мы пойдем ради сохранения своей жизни, и предел этот — по сю сторону куриного бульона. Позиция его, возможно, и благородна, но бесчеловечна, если понимать это слово так, как, наверное, понимает большинство людей. Суть человечности не в том, чтобы искать совершенства, а в том, что человек иногда желает совершить грех ради верности, что он не доводит аскетизм до такой степени, когда невозможны дружеские отношения, что он, в конце концов, готов потерпеть жизненный крах, который есть неизбежная плата за то, что ты сосредоточил свою любовь на других людях. Без сомнения, алкоголь, табак и тому подобное — вещи, которых должен избегать святой, но и святость — то, чего должен избегать человек. На это есть очевидное возражение, но прежде, чем выдвинуть его, надо лишний раз подумать. В наш зараженный йогой век слишком легко склоняются к мнению, что «неучастие» лучше полного притяния земной жизни, и что избегает этого пути обыкновенный человек только из-за его трудности; другими словами, что рядовой человек — это несостоявшийся святой. Вывод сомнительный. Многие люди искренне не хотят быть святыми, и, возможно, некоторые из тех, кто достиг святости или стремится к ней, никогда не испытывали сильного искушения быть людьми. Если можно было бы добраться до психологических корней, то обнаружилось бы, полагаю,

---

что главный мотив «неучастия» — желание уберечься от страданий жизни и, прежде всего, от любви, ибо любовь — тяжелый труд, неважно, половая она или не половая. Но нет надобности рассуждать здесь, какой идеал «выше» — неотмирный или гуманистический. Важно то, что они несовместимы. Приходится выбирать между Богом и человеком, и все «радикалы» и «прогрессисты», от умереннейшего либерала до крайнего анархиста, на самом деле выбрали Человека.

Однако пацифизм Ганди можно до некоторой степени отделить от других его учений. Побудительной силой его пацифизма была религиозность, но Ганди утверждал также, что это — определенный метод, позволяющий добиваться желательных политических результатов. Позиция Ганди была не такая, как у большинства западных пацифистов. Движение *Сатьяграха*, вызревшее в Южной Африке, было своего рода ненасильственной войной, способом победить врага, не причинив ему вреда, не испытывая и не вызывая ненависти. Инструментами его были гражданское неповиновение и забастовки; люди ложились на рельсы перед поездами, выдерживали атаки полиции, не убегая, но и не оказывая сопротивления, и т. д. Ганди возражал против того, чтобы *Сатьяграха* переводилось как «пассивное сопротивление»: на гуджарати это слово означает что-то вроде «твердости в правде». В молодые годы на англо-бурской войне Ганди был санитаром-носильщиком в британских войсках и готов был делать то же самое на войне 1914–1918 годов. Даже после того, как он полностью отказался от насилия, у него доставало честности понять, что во время войны обычно приходится быть на той или другой стороне. Он не принял — да и не мог принять, поскольку вся его политическая жизнь сосредоточилась на борьбе за национальную независимость, — бесплодную и нечестную тактику притворства: не делал вид, будто в каждой войне обе стороны одинаково плохи, и неважно, кто победит. Не увиливал он и от неудобных вопросов, не в пример большинству за-

---

падных пацифистов. В последней войне каждый пацифист обязан был ясно ответить на такой вопрос: «Как быть с евреями? Ты готов примириться с их истреблением? А если нет, то как предполагаешь спасти их, не прибегая к войне?». Должен сказать, я никогда не слышал от западных пацифистов честного ответа на этот вопрос, хотя слышал множество уклончивых, чаще всего — типа «и вы о том же». Но вот Ганди задали похожий вопрос в 1938 году, и ответ его зафиксирован в книге мистера Луиса Фишера «Ганди и Сталин». Согласно мистеру Фишеру, Ганди считал, что немецким евреям следовало совершить коллективное самоубийство, которое «открыло бы миру и немецкому народу глаза на жестокость Гитлера». После войны он оправдался: евреев все равно убили, а так они могли хотя бы умереть со смыслом. Создается впечатление, что эта позиция ошеломила даже такого горячего поклонника, как мистер Фишер, но Ганди всего лишь ответил честно. Если ты не готов отнять чужую жизнь, то зачастую должен быть готов к тому, что жизни будут отняты как-то иначе. В 1942 году, когда Ганди призывал к ненасильственному сопротивлению японским захватчикам, он был готов признать, что это может стоить нескольких миллионов жизней.

В то же время, есть основания думать, что Ганди, родившийся как-никак в 1869 году, не понимал природы тоталитаризма и смотрел на всё с точки зрения своей борьбы против британского правительства. Важно здесь не столько то, что британцы обращались с ним терпеливо, сколько то, что он всегда мог донести до людей свои взгляды. Как видно из процитированной фразы, он верил в то, что можно «открыть миру глаза», — а это возможно только тогда, когда мир имеет возможность услышать, что ты делаешь. Трудно представить себе, каким образом методы Ганди можно использовать в стране, где противники режима исчезают среди ночи и уходят в небытие. Без свободы прессы и свободы собраний не только нельзя обратиться к мировому мнению — нельзя вызвать к жизни массовое дви-

---

жение и даже объяснить свои намерения противнику. Есть ли сейчас в России свой Ганди? И если есть, то чего он достиг? Русские люди могут прибегнуть к гражданскому неповиновению, если только эта идея придет им в голову всем одновременно, и даже тогда — судя по истории украинского голода — это ничего не изменит. Но допустим, ненасильственное сопротивление может воздействовать на собственное правительство или на оккупантов, — но как осуществить его на практике в международном масштабе? Противоречивые заявления Ганди по поводу последней войны показывают, что этот вопрос представлял для него трудность. В применении к внешней политике пацифизм либо перестает быть миролюбивым, либо превращается в умиротворение. Кроме того, предположение Ганди, так помогавшее ему в общении с отдельными людьми, — что к каждому можно найти подход, и человек откликнется на великодушный жест, — предположение это весьма сомнительно. Оно, например, не обязательно оправдывается, когда имеешь дело с сумасшедшими. И тут возникает вопрос: кто нормален? Гитлер был нормален? И не может ли целая культура быть безумной, по меркам другой культуры? И, судя по чувствам целых народов, есть ли очевидная связь между благородным деянием и дружественным откликом? Является ли благодарность фактором в международной политике?

Эти и подобные вопросы нуждаются в обсуждении, и обсудить их надо срочно, в ближайшие годы, пока кто-то не нажал на кнопку, и не полетели ракеты. Сомнительно, чтобы цивилизация выдержала еще одну большую войну. И уж совсем трудно представить себе, чтобы выход можно было найти через ненасилие. Достоинство Ганди в том, что он готов был бы честно рассмотреть подобные вопросы, и, полагаю, он, так или иначе, обсуждал их в своих бесчисленных газетных статьях. Чувствуется, что многого он не понимал, но не было такого, о чем он побоялся бы говорить или думать. Я никогда не мог вполне расположиться к Ганди, но не могу сказать с уверенностью, что он

---

был не прав в главном как политический мыслитель — и не верю, что он потерпел неудачу. Любопытно: когда его убили, многие его поклонники восклицали с грустью, что он успел еще при жизни увидеть крушение всех своих трудов, поскольку в Индии шла гражданская война — вполне ожидаемый побочный результат смены власти. Но Ганди положил жизнь не на то, чтобы погасить соперничество между индустриями и мусульманами. Его главная политическая цель — мирное окончание британского владычества — в конце концов, была достигнута. Как всегда, сопутствующие факторы переплетаются самым сложным образом. С одной стороны, британцы, действительно, ушли из Индии без боя — событие, которое еще за год до этого мало кто из наблюдателей мог предвидеть. С другой стороны, это случилось при лейбористском правительстве, а консервативное правительство, в особенности, возглавляемое Черчиллем, наверняка повело бы себя иначе. Но если к 1945 году значительная часть британского общества доброжелательно относилась к независимости Индии, какова в этом личная заслуга Ганди? И если, что вполне возможно, между Индией и Британией, наконец, установятся вполне приличные и дружественные отношения, не будет ли это отчасти следствием того, что Ганди, борясь упрямо и без ненависти, дезинфицировал политическую атмосферу? Одно то, что в голову приходят такие вопросы, говорит о калибре этого человека. Можно ощущать, как я ощущаю, некую эстетическую неприязнь к Ганди, можно не соглашаться с теми, кто пытается записать его в святые (сам он, между прочим, никогда на это не претендовал), можно отвергать и сам идеал святости и потому считать исходные пункты его учения антигуманными и реакционными; но если рассматривать его просто как политика и сравнивать с другими ведущими политическими фигурами нашего времени, какой чистый запах оставил он после себя!

*январь 1949 г.*

---

## Рецензия на книгу Уинстона Черчилля «Их самый славный час»

Государственному деятелю, у которого еще есть политическое будущее, трудно обнародовать всё, что он знает; а в профессии, где в пятьдесят лет ты младенец и в семьдесят пять — человек средних лет, естественно, что всякий, кто явно не опозорен, должен думать, что у него еще есть будущее. Книга, подобная дневникам Чиано<sup>1</sup>, например, не была бы опубликована, если бы к ее автору относились с уважением. Но надо отдать должное Уинстону Черчиллю: политические мемуары, которые он время от времени публиковал, всегда были много выше среднего уровня, как по откровенности, так и по литературным достоинствам. Черчилль, среди прочего, журналист, — с подлинным, хотя и не выдающимся литературным чутьем; кроме того, у него беспокойный пылкий ум, он интересуется и конкретными фактами, и анализом мотивов, в том числе, и своих собственных. Вообще, о его произведениях можно сказать, что они написаны, скорее, просто человеком, чем государственным лицом. В этой его книге, конечно, есть куски, как будто залетевшие из предвыборных речей, но, вместе с тем, видна и готовность признать свои ошибки.

---

<sup>1</sup> *Галеацио Чиано* — министр иностранных дел Италии (1936–1943). В 1944 году казнен по приговору фашистского суда как изменник. Его дневники были опубликованы в США в 1945 году.

---

Этот том мемуаров, второй по счету, охватывает период от начала немецкого наступления на Францию и до конца 1940 года, поэтому главные события в нем — падение Франции, немецкие воздушные налеты на Британию, постепенное вовлечение в войну Соединенных Штатов, расширение подводной войны и начало долгой схватки за Северную Африку. Книга обильно документирована, с отрывками речей и донесений на каждом этапе; это приводит к многочисленным повторам, но позволяет сравнить то, что говорилось и думалось, с тем, что на самом деле происходило. По его собственному признанию, Черчилль недооценил важность недавних перемен в методах войны, но в 1940 году, когда разразилась гроза, отреагировал быстро. К великой чести его он понял еще во время Дюнкерка, что Франция побеждена, а Британия, несмотря на все внешние признаки, — нет, и этот последний вывод продиктован был не просто природной драчливостью, а трезвой оценкой ситуации.

Быстро победить в войне немцы могли только одним способом — захватив Британские острова, а чтобы захватить Британские острова, им надо было туда попасть, а для этого — получить господство в Ла-Манше. Поэтому Черчилль упорно отказывался бросить всю авиацию метрополии в битву за Францию. Это было суровое решение, естественно, встреченное с горечью, и возможно, ослабившее позиции Рейно в его противостоянии с пораженцами во французском правительстве; но оно было стратегически верным. Двадцать пять эскадрилий истребителей, считавшиеся необходимыми, оставались в Британии, и угроза вторжения миновала. Задолго до конца года опасность его уменьшилась настолько, что артиллерия, танки и пехота были переброшены из Британии на египетский фронт. Немцы еще могли задушить Британию с помощью подводных лодок или воздушных налетов, но это отняло бы несколько лет, а тем временем в войну наверняка вступили бы другие страны.

Черчилль знал, конечно, что Соединенные Штаты рано или поздно вступят в войну; но на этом этапе, по-ви-

---

димому, не ожидал, что в Европу когда-то придут миллионы американских солдат. Еще в 1940 году он предвидел, что немцы могут напасть на Россию, и правильно рассчитал, что Франко, несмотря на все свои обещания, не вступит в войну на стороне Оси. Он понял, как важно вооружить палестинских евреев и подтолкнуть к восстанию Абиссинию. Если проницательность отказывала ему, то потому, главным образом, что он не делал никаких различий в своей ненависти к «большевизму». Показательно в этом смысле его признание, что, отправляя послом в Москву сэра Стаффорда Криппса, он не понимал, что коммунисты ненавидят социалистов больше, чем консерваторов. До прихода к власти лейбористов в 1945 году этого простого факта не понимал, кажется, никто из британских консерваторов, чем объясняется отчасти и ошибочная политика Британии во время испанской гражданской войны. Отношение Черчилля к Муссолини, хотя оно, вероятно, не повлияло на ход событий в 1940 году, тоже основывалось на неверной оценке. В прошлом он приветствовал Муссолини как «борца против большевизма» и принадлежал к числу тех, кто верил в возможность оторвать Италию от Оси с помощью подкупа. Он откровенно говорил, что никогда не поссорился бы с Муссолини из-за такого дела, как война с Абиссинией. Когда Италия вступила в мировую войну, Черчилль с ней, конечно, не церемонился, но общая ситуация была бы лучше, если бы британские тори за десять лет до этого поняли, что итальянский фашизм не какая-то разновидность консерватизма, а сила, по природе враждебная Британии.

Одна из самых интересных глав в «Их самом славном часе» посвящена обмену баз в британской Вест-Индии на американские эсминцы. Переписка Черчилля с Рузвельтом — своего рода комментарий к демократической политике. Рузвельт понимал, что дать Британии эсминцы — в американских интересах, а Черчилль понимал, что для Британии будут не потерей, а подспорьем американские базы в Вест-Индии. Тем не менее, помимо юриди-

---

ческих и конституционных трудностей, невозможно было просто отдать корабли, без препирательств. Впереди у Рузвельта были выборы, и, имея в виду изоляционистов, он вынужден был создать видимость упорной торговли. Он вынужден был, кроме того, потребовать гарантий, что если даже Британия проиграет войну, ее флот ни при каких обстоятельствах не будет передан немцам. Условие это было, конечно, бессмысленным. Ясно было, что Черчилль ни в коем случае не отдаст флота; но, с другой стороны, если бы немцам удалось оккупировать Британию, они поставили бы марионеточное правительство, за действия которого Черчилль отвечать не мог. Поэтому он не мог дать и требуемых гарантий, и торговля затянулась. Проще всего было бы заручиться обещанием всего британского народа, включая экипажи кораблей. Но Черчилль, как ни странно, не захотел обнародовать факты. Было бы опасно, говорит он, признаться в том, как близка Британия к поражению, — и это, возможно, единственный случай за весь описываемый период, когда он недооценил моральный дух народа.

Книга заканчивается темной зимой 1940 года, когда неожиданные победы в пустыне, с громадным количеством итальянских пленных, заслонены были бомбардировками Лондона и увеличившимися потерями флота. Во время чтения то и дело возникает в голове неизбежный вопрос: «Насколько свободно позволяет себе говорить Черчилль?». Ибо самое интересное в мемуарах Черчилля придет позже, когда он расскажет нам (если решит рассказать), что на самом деле случилось в Тегеране и Ялте, и была ли им одобрена выработанная там политика или ее навязал ему Рузвельт. Но в любом случае, тон этой и предыдущей книги позволяет думать, что когда наступит время, он откроет нам больше правды, чем открыл до сих пор.

Если и был 1940-й год чьим-то самым славным часом, то уж точно Черчилля. С ним можно сколько угодно не соглашаться и сколько угодно быть благодарным ему

---

за то, что его партия не победила на выборах 1945 года, но он заслуживает восхищения не только своей храбростью, но и определенным великодушием и веселостью, которые сквозят даже в этих официальных мемуарах, гораздо менее личных, чем книга «Мои ранние годы». Британцы, в общем, отвергли его политику, но он им всегда нравился, как можно судить по тону историй, сопровождавших его почти всю жизнь. Многие из них, конечно, апокрифы, иногда и непечатные, но знаменателен сам факт их хождения. Например, во время эвакуации Дюнкерка, когда Черчилль произнес свою часто цитируемую боевую речь, ходили слухи, что на самом деле, записывая ее для радио, он сказал: «Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на улицах... мы будем бросать бутылки в этих сук, кроме бутылок, у нас мало чего осталось», — но студийный цензор на Би-би-си вовремя нажал на клавишу. Можно думать, что эта история вымышленная, но в то время казалось, что она должна быть правдой. Это была заслуженная дань простых людей крутому и веселому старому человеку, которого они не приняли как руководителя в мирное время, но в час катастрофы видели в нем своего представителя.

*май 1949 г.*

---

## Именной указатель

- Аккланд, Ричард 159  
Андерсон, Джон 137  
Антонеску, Йон 245  
Апворд, Эдуард 73, 88, 90
- Байрон, Джордж Гордон 34, 109, 301  
Бальфур, Артур 322  
Барри, Джеймс 85, 201, 263  
Батлер, Сэмюэл 34  
Бевин, Эрнест 133  
Беллок, Хиллар 35, 133, 296, 298, 365  
Беннет, Арнольд 66, 200—202  
Бёрнем, Джеймс 362—388  
Бернсфадер, Брюс 133  
Бивербрук, Уильям 309  
Бирбом, Макс 328  
Биркетт, Норман 21  
Бичер-Стоу, Гарриет 194  
Болдуин, Стэнли 113
- Боркенау, Франц 38—40, 76, 174, 273  
Боттомли, Горацио 91, 144  
Брандес, Георг 416, 417  
Браун, Алек 73  
Браун, Джордж 51  
Брет Гарт, Фрэнсис 194  
Брук, Руперт 62, 200, 201  
Букман, Фрэнк 245  
Бухарин, Н. И. 281, 282
- Ванситтарт, Роберт 321**  
Во, Ивлин 78, 90, 272, 297, 315  
Войт, Фредерик 36, 315, 365  
Вольтер, Мари Франсуа 34, 251, 253  
Вольф, Чарльз 194  
Вулф, Вирджиния 74
- Галифакс, Эдуард 113, 135, 160, 230

Ганди, Мохандас 247, 433, 452–461  
Гарвин, Дж. Л. 12  
Гарди, Томас 68, 190, 201, 202  
Герберт, Алан 215, 393  
Гервинус, Георг Готфрид 417  
Гиббон, Эдуард 34, 209  
Гиббс, Филип 67  
Гиссинг, Джордж 190  
Гитлер, Адольф 12, 17, 27, 30, 31, 35, 38–40, 45, 46, 57, 70, 77, 78, 80, 96, 99, 103, 110, 116, 117, 126, 129, 131–141, 147, 159–164, 171–174, 176, 178, 209, 245, 286, 290, 292, 294, 296, 300, 309, 312, 318, 323, 328, 339, 381, 388, 446, 459, 460  
Голсуорси, Джон 200, 201, 205–208  
Гордон, Чарльз 119  
Грейвс, Роберт 59  
Грин, Джулиан 89  
Грэм, Гарри 264  
Гуд, Томас 194

Дали, Сальвадор 255–266  
Дансейни, Эдуард 263  
Даррелл, Лоуренс 94  
Де Валера, Имон 309  
Дей-Льюис, Сесил 73  
Делл, Флойд 85  
Джеймс, Генри 201, 273, 444  
Джеффрис, Ричард 62  
Джойс, Джеймс 34, 51, 55, 66–

69, 73, 75, 200, 202, 205–209, 260, 273, 316, 338, 444  
Дизраэли, Бенджамин 309  
Диккенс, Чарльз 34, 68, 174, 194, 201, 268, 296  
Дипинг, Уорик 85, 419  
Дос Пассос, Джон 48  
Достоевский, Ф. М. 69  
Доубелл, Сидней 194  
Дракер, Питер 304, 365  
Дрейк, Фрэнсис 311  
Дрейфус, Альфред 352, 418, 424  
Дуглас, Норман 66

**Ж**данов, А. А. 442

**З**амятин, Е. И. 365  
Золя, Эмиль 34, 190

**И**бсен, Генрик 34  
Иден, Энтони 107, 113  
Йейтс, Уильям Батлер 66, 72, 73, 273, 316  
Ишервуд, Кристофер 73

**К**атейн, Джек 94  
Кей-Смит, Шейла 63  
Кеннеди, Джон 160  
Кёстлер, Артур 174, 234, 273, 275–280, 282–288  
Кингсли, Чарльз 329  
Кингсмилл, Хью 315  
Киплинг, Редьярд 74, 118, 178–197, 305

Клайв, Роберт 118, 119  
Клаузевиц, Карл 220, 222  
Клаф, Артур 195  
Коглин, Чарльз 245, 321  
Кокто, Жан 245  
Колдер-Маршалл, Артур 73  
Конолли, Сирил 81  
Конрад, Джозеф 66, 201, 206, 273  
Корнфорд, Руперт Джон 46  
Криппс, сэр Стаффорд 464  
Кросби, Эрнест 415  
Кук, Стюарт 326  
Кэйбелл, Джеймс Бранч 263

**Л**айонс, Юджин 20, 22, 23  
Ланн, Арнольд 245, 297  
Ласки, Гарольд 274, 287, 342, 350  
Леманн, Джон 73  
Ленин, В. И. 69, 245, 282, 365, 367, 371–373  
Ли, Дж. 217  
Лиддел Гарт, Безил 219–222, 305  
Ллойд Джордж, Дэвид 144, 322  
Лондон, Джек 365  
Лоу, Дэвид 118  
Лоуренс, Дэвид Герберт 66–69, 72, 74, 75, 200, 202–205, 208, 260  
Лоуренс, Томас Эдуард 120  
Льюис, Уиндем 12, 49, 66, 67, 70, 93, 200, 202, 315

**М**аггеридж, Малькольм 33–36, 315  
Макартни, Уилфред 105  
Макдайармид, Хью 316  
Макиавелли, Никколо 209, 363, 364, 383, 384  
Макнис, Луис 72, 73, 91  
Макоули, Роза 71  
Мальро, Андре 273  
Мамфорд, Льюис 7–10  
Маринетти, Ф. Т. 245  
Маркс, Карл 37, 120, 285, 367, 440  
Марриат, Фредерик 271  
Марч, Хуан 245  
Мейсфилд, Джон 63  
Мелвилл, Герман 7–10, 87  
Мередит, Джордж 61, 271  
Миллер, Генри 48–60, 84–87, 92–95, 336–340  
Миллс, Клиффорд 263  
Мильгон, Джон 342  
Михельс, Роберт 363  
Молоотов, В. М. 45  
Мор, Томас 398  
Моррис, Уильям (виконт Наффилд) 21, 107  
Моррис, Уильям 367  
Моррисон, Герберт 148  
Моруа, Андре 133  
Моска, Гаэтано 363  
Мосли, Освальд 138, 139, 144, 293  
Моэм, Уильям Сомерсет 66–68, 72

Мур, Джордж 66  
Мур, Джордж Огастес 190  
Муссолини, Бенито 12, 96, 116, 161, 222, 307, 464  
Мэллок, У. Г. 393

**Наполеон Бонапарт** 175, 265, 309, 372  
Наполеон III 164  
Негрин, Хуан 241  
Нельсон, Горацио 118, 165  
Никольсон, Джон 119  
Нин, Анаис 86, 87  
Норман, Монтегио 107, 245  
Ньюболт, Генри 47, 74

**О`Генри, Уильям** 52  
О`Кейси, Шон 316  
Оден, Уистен Хью 66, 72–75, 79, 80, 82  
Олкотт, Луиза 56

**Павелич, Анте** 245  
Парето, Вильфредо 363, 364  
Паунд, Эзра 48, 66, 69, 70, 202, 210, 245, 273, 321  
Петен, Филипп 372  
Плаумен, Макс 59  
По, Эдгар Алан 89, 90  
Пристли, Джон Бойнтон 141, 148  
Пруст, Марсель 49, 260, 338  
Пуанкаре, Раймон 309  
Пэйн, Барри 201

**Рассел, Бертран** 74  
Раушнинг, Герман 174  
Риббентроп, Иоахим 45  
Рид, Герберт 48  
Рис, Ричард 419  
Розенберг, Аргур 174  
Рузвельт, Франклин Делано 464, 465  
Руссо, Жан Жак 34  
Рэкам, Артур 263

**Саймон, Джон** 117  
Сальвемини, Гаэтано 273  
Сассун, Зигфрид 59  
Свифт, Джонатан 389–414  
Селин, Луи 55, 56, 90  
Серж, Виктор 273  
Серн, Лавкадио 309  
Сёртис, Роберт 271  
Силоне, Игнасио 174, 273  
Скуайр, Дж. К. 215  
Смоллетт, Тобайас 267–272, 296  
Сократ 398  
Сорель, Жорж 363  
Спендер, Стивен 66, 72, 73, 75, 82  
Сталин, И. В. 23, 38, 39, 57, 76, 79, 173, 178, 243, 282, 309, 310, 320, 322, 371–373, 388, 438, 459  
Стендаль, Анри 34  
Стивенсон, Роберт Льюис 328  
Стрейт, Кларенс 28–31

Стрейчи, Джон 38, 39  
Стрейчи, Литтон 66–68  
Суинберн, Алджерон 61

**Тамерлан** 209  
Твен, Марк 249–254  
Теккерей, Уильям 192, 296  
Теннисон, Альфред 189, 192, 194  
Тиссен, Фриц 38, 245  
Толстой, Л. Н. 69, 191, 396, 405, 415–435  
Тремельян, Джордж Маколей 390  
Троцкий, Л.Д. 174, 313, 371, 372

**Уайльд, Оскар** 109, 196  
Уилсон, Генри 221  
Уилсон, Эдмунд 190  
Уитмен, Уолт 56–58, 95, 251  
Уолпол, Хорас 67  
Уэллс, Герберт Джордж 23, 66, 85, 171–178, 200–205, 208, 296, 309, 365

**Фелан, Джим** 105  
Фишер, Луис 459  
Флобер, Гюстав 34, 201, 277  
Форстер, Эдуард Морган 66, 74, 90–92, 184, 214, 454  
Франко, Франсиско 12, 13, 15–18, 26, 44, 116, 134, 235, 236, 239, 241–243, 308, 464

Франс, Анатолий 251, 263  
Фрейд, Зигмунд 45, 192  
Френкел, Майкл 94, 337  
Фуллер, Рой 305

**Хадсон, Уильям** 62  
Хаксли, Олдос 37, 48, 66, 67, 70, 86, 200, 202, 208, 272, 296, 365  
Хант, Ли 194  
Харди, Кейр 367  
Хармсворт, Гарольд (виконт Ротермир) 21, 131  
Харрис, Фрэнк 255  
Хаусмен, Альфред 60–67, 201, 202  
Хаустон, леди 321  
Хей, Иэн 91, 133, 271  
Хемингуэй, Эрнест 81  
Хендерсон, Филип 73  
Херст, Уильям Рэндолф 245  
Химанс, Фелиция 194  
Хокбен, Ланселот 342, 350  
Холлис, Морис Кристофер 78  
Хопкинс, Джерард Мэнли 194  
Хорнунг, Эрнест 51  
Хоур, Сэмюэл 117  
Хоуэлс, Уильям 253, 254  
Хэзлитт, Уильям 416

**Чан Кайши** 312  
Чейз, Стюарт 356  
Чемберлен, Невилл 21, 45, 110, 117, 135, 137, 164

Чемберлен, Хаустон 309  
 Черчилль, Уинстон 20, 28, 77,  
 155, 175, 195, 308, 462–466  
 Честертон, Гилберт Кит 57,  
 296, 298, 306, 307, 310, 365  
 Чиано, Галеаццо 462  
 Чингисхан 209

**Шекспир**, Уильям 8, 88, 109,  
 112, 164, 194, 195, 199, 202,  
 261, 296, 415–426, 429–435  
 Шелли, Перси Биши 34, 342  
 Шид, Ф. Дж. 24–26  
 Шоу, Джордж Бернард 34, 85,

197, 201, 202, 205, 206, 209,  
 273, 287, 296, 302, 380, 421  
 Шпенглер, Освальд 245

**Э**лиот, Томас Стернз 48, 66–  
 70, 72, 73, 75, 79, 90–92, 120,  
 179, 185, 193, 195, 199, 200,  
 202, 208, 209, 211–218, 260,  
 273, 296, 315  
 Элтон, Годфри 260, 314, 321, 393  
 Эль Греко, Доменико 86

**Я**нг, Джордж Малколм 314,  
 393

## Содержание

- 5 . . . . .От редакции
- 7 . . . . .Рецензия на книгу «Герман Мелвилл»  
 Льюиса Мамфорда  
 Перевод *В. Гольшева*
- 11 . . . . .Кое-что из испанских секретов  
 Перевод *В. Гольшева*
- 20 . . . . .Рецензия на книгу Юджина Лайонса  
 «Командировка в утопию»  
 Перевод *В. Гольшева*
- 24 . . . . .Рецензия на книгу Ф. Дж. Шида  
 «Коммунизм и человек»  
 Перевод *В. Гольшева*
- 27 . . . . .Не считая черных  
 Перевод *В. Гольшева*
- 33 . . . . .Мысли в пути  
 Перевод *А. Зверева*
- 38 . . . . .Рецензия на книгу Франца Боркенау  
 «Тоталитарный враг»  
 Перевод *В. Гольшева*
- 41 . . . . .Моя страна, правая она или левая  
 Перевод *В. Гольшева*
- 48 . . . . .Во чреве кита  
 Перевод *А. Кабалкина*

- 
- 96 ... Лев и Единорог: социализм и английский гений  
Перевод *В. Гольшева*
- 166 ... Литература и тоталитаризм  
Перевод *А. Зверева*
- 171 ... Уэллс, Гитлер и всемирное государство  
Перевод *А. Зверева*
- 179 ... Редьярд Киплинг  
Перевод *В. Гольшева*
- 198 ... Новое открытие Европы  
Перевод *В. Гольшева*
- 211 ... Рецензия на «Бёрнт Нортон», «Ист Коукер»  
и «Драй Селвейджс» Т. С. Элиота  
Перевод *В. Гольшева*
- 219 ... Рецензия на книгу Б. Г. Лиддел Гарта  
«Британский метод войны»  
Перевод *В. Гольшева*
- 224 ... Вспоминая войну в Испании  
Перевод *А. Зверева*
- 249 ... Присяжный забавник  
Перевод *Г. Злобина*
- 255 ... Привилегия священнослужителей:  
заметки о Сальвадоре Дали  
Перевод *В. Гольшева*
- 267 ... Тобайас Смоллетт, лучший шотландский романист  
Перевод *В. Гольшева*
- 273 ... Артур Кёстлер  
Перевод *А. Зверева*
- 289 ... Антисемитизм в Британии  
Перевод *В. Гольшева*
- 301 ... Заметки о национализме  
Перевод *В. Гольшева*
- 326 ... Что такое наука?  
Перевод *В. Гольшева*
- 331 ... Спортивный дух  
Перевод *В. Гольшева*
- 336 ... Рецензия на «Космологический глаз»  
Генри Миллера  
Перевод *В. Гольшева*
- 341 ... Политика и английский язык  
Перевод *В. Гольшева*
- 357 ... Признания рецензента  
Перевод *Г. Злобина*
- 362 ... Джеймс Бёрнем и революция менеджеров.  
Перевод *В. Гольшева*
- 389 ... Политика против литературы.  
Взгляд на «Путешествия Гулливера»  
Перевод *И. Левидовой*
- 415 ... Лир, Толстой и шут  
Перевод *В. Гольшева*
- 436 ... Предисловие к украинскому изданию  
«Скотного двора»  
Перевод *В. Гольшева*
- 442 ... Писатели и Левиафан  
Перевод *А. Зверева*
- 452 ... Размышления о Ганди  
Перевод *В. Гольшева*
- 462 ... Рецензия на книгу Уинстона Черчилля  
«Их самый славный час»  
Перевод *В. Гольшева*
- 467 ... Именной указатель

**Оруэлл Джордж**  
**ЛЕВ И ЕДИНОРОГ**  
**Эссе, статьи, рецензии**

*Серия «Культура политика философия»*

Художественное оформление серии *Ф. Домогацкого*

Ответственный за выпуск *О. Карпова*  
Редактор *О. Скрипалёва*  
Компьютерная верстка *О. Козак*

ЛР № 00972 от 14.02.2000 г.  
Подписано в печать 30.06.2003. Формат 84x108/32.  
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.  
Печ. л. 15. Тираж 1500 экз. Заказ №

Московская школа политических исследований.  
121854, ГСП-2, Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22.  
e-mail: [mmps@co.ru](mailto:mmps@co.ru)  
<http://www.mmps.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 6  
Комитета Российской Федерации по печати  
109008, Ж-88, Южнопортовая ул. 24

ISBN 5-93895-045-7



9 795938 950459